

1. 1. 1. 1. 1.

Annotation

"Нума Руместан" носил предварительное название "Север и Юг", в романе Доде хотел показать французский "Юг помпезный, классический, театральный, обожающий зрелища, костюмы, подмости, пышные султаны, фанфары и знамена, плещущиеся по ветру... Юг вкрадчивый и льстивый с его красноречием, самозабвенным и ослепляющим, но бесцветным, потому что цвет, краски — удел Севера, — с его короткими и страшными вспышками гнева, которые сопровождаются топанием онога и всегда неестественными ужимками... А главное, с его воображением — оно является самой характерной чертой тамошней породы людей..." Доде хотел противопоставить свой родной Юг Северу с его уравновешенностью, здравомыслием и хладнокровием, воплощение которых представляют собой в книге отец и дочь Ле Кенуа, тогда как душевные свойства южанина воплощены в Руместане и Бомпаре.

- [Альфонс Доде](#)
 - [I. НА АРЕНУ!](#)
 - [II. ИЗНАНКА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА](#)
 - [III. ИЗНАНКА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА \(ПРОДОЛЖЕНИЕ\)](#)
 - [IV. ТЕТУШКА С ЮГА ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА](#)
 - [V. ВАЛЬМАЖУР](#)
 - [VI. МИНИСТР!](#)
 - [VII. В ПАССАЖЕ СОМОН](#)
 - [VIII. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ](#)
 - [IX. ВЕЧЕР В МИНИСТЕРСТВЕ](#)
 - [X. СЕВЕР И ЮГ](#)
 - [XI. НА ВОДАХ](#)
 - [XII. НА ВОДАХ \(ПРОДОЛЖЕНИЕ\)](#)
 - [XIII. ШАМБЕРИЙСКАЯ РЕЧЬ](#)
 - [XIV. ЖЕРТВЫ](#)
 - [XV. СКЕТИНГ](#)
 - [XVI. ПРОДУКТЫ ЮГА](#)
 - [XVII. ДЕТСКОЕ ПРИДАНОЕ](#)
 - [XVIII. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА](#)
 - [XIX. ОРТАНС ЛЕ КЕНУА](#)
 - [XX. КРЕСТИНЫ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Альфонс Доде

Нума Руместан

I. НА АРЕНУ!

В это воскресенье, добела раскаленное июльское воскресенье, в городе Апсе, в Провансе» состоялось по случаю сельскохозяйственной выставки и спортивных состязаний большое дневное празднество в городском амфитеатре. Тут был весь город: ткачи с Новой Дороги, аристократия из квартала Калад и даже пришлые из Бокера.

«По меньшей мере пятьдесят тысяч человек!» — писала на следующий день хроника «Форума». Впрочем, здесь не обошлось без свойственного южанам преувеличения.

В сообщении все же была правда, ибо по всем ярусам старинного амфитеатра, на всех его разогретых солнцем каменных ступенях теснилась, как в блаженные времена Антонинов,^[1] огромная толпа народа, и надо сказать, что вся эта масса людей стеклась сюда отнюдь не ради местного празднества. Для того, чтобы два часа простоять на пылающих плитах, под ослепляющим, убийственным солнцем, дышать жаром и пахнувшей порохом пылью, сознавать, что вам грозит воспаление глаз, солнечный удар, злокачественная лихорадка, подвергаться всем опасностям, всем мукам того, что именуется на Юге дневным празднеством, — для всего этого отнюдь не достаточно было бега на ходулях, борьбы мужчин и подростков, игр в «души кота» и «прыг на бурдюк», соревнований флейтистов и тамбуринщиков — словом, всех местных зрелищ, *обветшавших еще* больше, чем стертый рыжеватый камень амфитеатра.

Больше всего привлекало зрителей присутствие Нумы Руместана.

Да, изречение «Нет пророка...» вполне справедливо, если говорить о людях искусства, поэтах, ибо земляки всегда последними признают их превосходство, которое утверждается в сфере, так сказать, идеальной и не производящей броского впечатления. Но изречение это никак нельзя отнести к государственным людям, знаменитым политикам или промышленникам, ибо их громкая слава приносит доход, превращаясь в звонкую монету всевозможных милостей, оказываемых этими влиятельными людьми, и отражается во всяких благах для их родного города и его жителей.

Вот уже десять лет Нума, великий Нума, депутат и лидер всех правых группировок, является пророком в земле Прованса, вот уже десять лет город АПС расточает своему знаменитому сыну нежность матери, матери — южанки, выражающуюся во всяческих шумных проявлениях, кликах и

бурных объятиях. Не успеет он появиться летом, после того как Палату распускают на каникулы, не успеет он показаться на вокзале, как сразу начинаются орации. Тут как тут хоровые кружки, чьи вышитые знамена раздуваются от их героических напевов. Носильщики, сидя на ступеньках, поджидают, чтобы старая семейная карета, приехавшая за лидером, проехала каких-нибудь три шага между развесистыми платанами авеню Бершер, — тогда они сами впрягаются в нее и под крики «ура!» между двумя рядами приподнятых для приветствия шляп влекут великого человека до дома Порталей, где он всегда останавливается. Этот энтузиазм стал уже настолько привычным, так прочно вошел в церемониал встречи, что лошади сами останавливаются, словно у почтовой станции, на углу той улицы, где носильщики их обычно выпрягают, и если бы их вздумали стегать и погонять, они все равно не сделали бы больше ни шагу. С первого же дня АПС меняет обличье: это уже не унылый городишко, где обывателя, убаюканные пронзительным звоном цикад на выжженных деревьях бульвара, предаются бесконечному послеобеденному отдыху. Даже в самые жаркие часы дня улицы и главная площадь кишат снующими взад и вперед людьми в парадных цилиндрах и черных суконных сюртуках — они резко выделяются при ярком солнечном свете, и на белых стенах судорожно пляшут их смятенные тени. Под колесами карет епископа и председателя городского суда дрожит мостовая. А затем, вытянувшись во всю ширину бульвара, начинают толпами проходить делегации предместья, где Руместана обожают за его роялистские убеждения, — делегации ткачих, гордо поднимающих головы, увенчанные арльскими бантами. Гостиницы переполнены деревенским людом, фермерами Камарги и Кро, маленькие площади и улицы бедных кварталов загромождены их распряженными тележками, словно в базарный день. Переполненные кафе открыты допоздна, освещенные в неурочное время стекла Клуба Белых дрожат от раската господнего гласа.

Не пророк в своем отечестве! Да вы бы только взглянули на амфитеатр в это лазурное июльское воскресенье 1875 года, убедились бы в полном равнодушии публики ко всему происходящему на арене, увидели бы все эти к лица, повернутые в одну сторону, огонь всех этих взглядов, бьющий в одну точку — в эстраду, где среди разукрашенных орденами фраков, среди шелковой пестроты раскрытых парадных зонтиков восседал Руместан. Вы бы только послушали разговоры, восторженные клики, громкие простодушные рассуждения славного апсского простонародья — то на провансальском наречии, то на исковерканном французском языке, но с неизменным запахом чеснока, с беспощадным акцентом, которым чеканит

каждый слог и не пропускает ни одной точки над «и».

— Господи! Красавец-то какой!

— С прошлого года он немного пополнел.

— Зато вид у него более внушительный.

— Нечего толкаться. Всем видно.

— Смотри, малыш: это наш Нума. Вырастешь, по крайней мере сможешь сказать, что видел его, а?

— Узнаю его бурбонский нос... А зубы-то все на месте.

— Ни одного седого волоса.

— Э, черт побери!.. Не так уж он стар... Родился в тридцать втором, как раз в тот год, когда Луи-Филипп повалил кресты миссии, чтоб его!

— Да, Филипп был ворюга.

— Ему и не дашь сорока трех лет.

— Ясное дело — не дашь... Ах ты, солнышко наше!..

И высокая девица с пламенным взором послала ему издали нарочито дерзким жестом воздушный поцелуй — звонкий, словно крик птицы.

— Ты бы, Зетт, полегче. Не ровен час, заметит тебя его дама.

— Вон та, в синем, и есть его дама?

Нет, в синем была его свояченица, мадемуазель Ортанс, хорошенькая барышня, которая только что вышла из монастырского пансиона, но уже умела ездить верхом не хуже драгуна. Г-жа Руместан казалась куда степеннее, сдержаннее, но вид у нее был гораздо более гордый. Эти парижские дамы много о себе воображают. И вот все стоящие кругом женщины, заслонив ладонью глаза, затараторили на своем живописном, не стесняющемся в выражениях полулатинском наречии, обсуждая обеих парижанок, их дорожные шляпки, обтянутые платья, отсутствие каких бы то ни было драгоценностей, что было полной противоположностью местным нарядам: золотым цепочкам, красным и зеленым юбкам с огромными округлыми турнюрами. Мужчины перечисляли услуги, оказанные Нумой правому делу, его письмо к императору, его речь в защиту белого знамени. Ах, если бы в Палате заседала хотя бы дюжина таких молодцов, как он, Генрих V давно уже занимал бы французский престол!

Славный Нума, опьяненный всем этим шумом, возбужденный восторженным приемом, не мог усидеть на месте. Он то откидывался в просторном кресле, полузакрыв глаза и сияя улыбкой, то покачивался, то вскакивал, широким шагом прохаживался вдоль трибуны, на миг склонялся к арене, снова возвращался на место и, источая благодушие, распустив галстук, упирался коленями в пружинное сиденье кресла, подпрыгивал и,

повернувшись к толпе спиной и подметками, разговаривал с парижанками, сидевшими за ним и над ним, старался заразить их своей веселостью.

Г-жа Руместан скучала. Это было заметно по отчужденному, безразличному выражению ее лица с правильными чертами, холодноватыми и надменными в те мгновения, когда их не оживляли острый блеск серых глаз, подобных жемчужинам, настоящих глаз парижанки, и улыбка полуоткрытых ярко-алых губ.

Южная жизнерадостность. суматошная и фамильярная, говорливый люд, у которого все на поверхности, снаружи, в противоположность ее серьезности, глубине и затаенности чувств, — все это корбило ее, может быть, даже безотчетно, потому что в этом народе она распознавала в размноженном и упрощенном виде человека, бок о бок с которым прожила десять лет и в котором благодаря своему горькому опыту уже хорошо разбиралась. Небо тоже не восхищало ее — слишком яркое, оно изливало на землю слишком много зноя. Как могли дышать все эти люди? Как им хватало дыхания на то, чтобы так орать? И она принималась вслух мечтать о милом парижском небе, сероватом, мутноватом, о прохладном апрельском ливне на лоснящихся тротуарах.

— Розали! Что ты говоришь!..

Сестра и муж возмущались. Особенно сестра, высокая девушка, излучавшая жизнь и здоровье и еще выпрямившаяся, чтобы лучше все видеть. Она впервые попала в Прованс, а между тем казалось, что все эти крики, вся эта суматоха под ярким итальянским солнцем пробуждали в ней скрытую жилку, дремавший инстинкт, южную кровь, о которой говорили длинные сросшиеся брови над очами гурии и матовость лица, не красневшего от летнего загара.

— Послушай, милая Розали, — говорил Руместан, стараясь во что бы то ни стало убедить жену, — встань и погляди хорошенько... Могла бы ты увидеть в Париже что-нибудь подобное?

В широком эллипсе огромного амфитеатра, отрезавшего от неба кусок его могучей лазури, на поднимавшихся ярусами ступенях теснилось множество людей, остро сверкали взгляды, многоцветно переливалась яркость праздничных женских нарядов и живописных национальных одежд. Оттуда, как из гигантского чана, поднимались восторженные взвизги, громкие восклицания и звуки фанфар, испарявшиеся, если можно так выразиться, от ослепительного света и зноя.

Особенно отчетливо доносились крики продавцов молочных булочек, которые перетаскивали с яруса на ярус прикрытые белыми полотенцами корзины:

— *Li pan on la, li pen ou lal.*

Резкие голоса разносчиц холодной воды, раскачивавших кувшины с зеленой поливой, невольно возбуждали жажду:

— *L'aigo e\$ fresco... Quau vou beure?* (Вода холодная... Кто хочет пить?)

А на самом верху, у гребня амфитеатра, уже в птичьем царстве, рядом с пронесившимися взад и вперед стрижами бегали и играли ребятишки, и их звонкие голоса казались переливчатым венцом над смутным гулом нижних ярусов. И какая надо всем этим была изумительная игра света, усиливавшаяся по мере того, как время шло и солнце медленно поворачивалось вдоль широкой окружности амфитеатра, как на диске солнечных часов, оттесняя толпу, сгущая ее в затененной зоне и оголяя места, где было уж чересчур жарко, оголяя порыжевшие плиты, разделенные пучками сухой травы и черными следами давнишних пожаров.

Иногда на верхних ярусах под напором толпы от древнего строения отделялся камень и перекатывался с этажа на этаж, вызывая крики ужаса и давку, словно весь цирк рушился. И тогда на ступенях амфитеатра возникало движение, подобное бурному прибою, бьющему о береговые утесы, ибо у этого впечатлительного люда действие весьма мало связано со своей причиной: оно всегда преувеличено воображением, какими-то несоразмерными представлениями.

Так развалины амфитеатра, загроможденные шумной толпой, словно оживали, утрачивая облик древнего памятника, по которому гида полагается водить туристов. Их вид порождал то же чувство, какое может вызвать строфа Пиндара, прочитанная афинянином наших дней, то есть впечатление мертвого языка, который вдруг ожил, сбросив с себя холодное схоластическое обличье.

Безоблачное небо, распыленное серебро солнечного света, латинские интонации, сохранившиеся в провансальском наречии, человеческие фигуры на площадках под сводом, застывшие позы, которые от вибрации воздуха вдруг обретают античный, почти скульптурный характер, да и сам местный тип, сами лица, словно выбитые на медалях, с недлинным, но горбатым носом, широкие бритые щеки и крутой подбородок Руместана — все это способствовало иллюзии, будто здесь происходит зрелище римских времен, все вплоть до мычания скота, доносившегося из подземелий, откуда в древности выпускались львы и боевые слоны. И потому, когда на пустой, желтой от песка арене открывалась решетка подиума, можно было ожидать, что из огромной зияющей дыры появится не мирная сельская

процессия — животные и люди, премированные на конкурсе, а выскочат дикие звери.

Сейчас наступила очередь мулов в парадном уборе. Их вели под уздцы, и они, накрытые роскошными провансальскими спартри,^[2] выступали, запрокинув маленькие четкие головы, разубранные серебряными бубенцами, помпонами, бантами и кисточками, не пугаясь хлопанья бичей на арене, резкого, звонкого, словно взрывы ракет фейерверка. На мулах ехали, стоя, их владельцы, и жители каждой деревни, находившиеся в толпе зрителей, узнавали своих лауреатов и громко называли имена:

— Вот Кавайон... Вот Моссан...

Блистательное шествие длинной змеей огибало арену, наполняя ее бряцающим блеском, сияющим звоном, задерживалось у ложи Руместана, приветствовало его согласованным на миг звяканьем металла, хлопаньем бичей, а затем продолжало круговой обход под главенством видного из себя всадника в светлом, плотно облегавшем его тело кителе и высоких сапогах, одного из членов местного Клуба; организатор праздника, он, сам того не ведая, все портил: он вносил в Прованс провинциальный дух и придавал любопытному народному зрелищу неярко выраженное сходство с кавалькадой из цирка Франкони. Впрочем, никто, кроме некоторых крестьян, на шествие не смотрел. Все глаза устремлялись на эстраду, которую сейчас заполняла толпа людей, явившихся приветствовать Нуму: то были друзья, клиенты, бывшие школьные товарищи, гордые своей близостью к великому человеку и возможностью продемонстрировать эту близость отсюда, с подмостков, перед всем честным народом.

Посетители двигались непрерывным потоком. Тут были и стар и млад, сельские дворяне во всем сером — от гетр до шапчонки, цеховые мастера, надевшие ради праздника сюртуки, на которых еще виднелись неразглаженные складки, домохозяева, фермеры из апсского предместья в пиджаках с закругленными полами, лоцман из Пор-Сен-Луи, теребивший в руках шапку каторжанина. На всех лицах лежала печать Юга, — заросли ли эти лица до самых глаз бородами цвета черного дерева, которые кажутся еще чернее от матовой бледности, свойственной людям Востока, выбриты ли они начисто, как полагалось в старой Франции. У всех были короткие шеи, все лоснились, словно кувшины из обожженной глины, у всех сверкали черные глаза навывкате, все фамильярно жестикулировали и говорили друг другу «ты».

И как встречал их Руместан! Он не придавал значения состоянию или происхождению, его неиссякаемая сердечность распространялась на всех.

— Э! Мосье д'Эспальон! Как живешь, маркиз?..

— Эге-ге! Старина Кабанту! Ну как твоя лоцманская служба?

— Сердечный привет господину председателю Бедарриду!

И начинались рукопожатия, объятия, похлопывания по плечу, которыми подкрепляются слова, всегда слишком холодные с точки зрения южан, когда они преисполнены к кому-либо симпатии. Но разговор никогда не затягивался. Лидер слушал собеседника одним ухом, взор его блуждал, и во время разговора он махал рукой вновь подошедшим. Но никто не обижался на то, что он торопился распрощаться с собеседником.

— Ладно, ладно!.. Я похлопочу... Напишите прошение... Я возьму его с собой.

Обещал он похлопотать насчет табачного ларька, насчет должности податного инспектора. Если с прямой просьбой к нему не обращались, он старался угадать нужду, подбадривал робких честолубцев, вызывал их на откровенность. Подумать только: у старины Кабанту двадцать случаев спасения на водах, и ни одной медали!

— Пришлите мне документы... В морском ведомстве меня обожают!.. Мы восстановим справедливость.

Он произносил слова твердо, отдельно, и звучали они горячим металлическим звоном, словно по столу катились только что вычеканенные червонцы. И все отходили, радуясь этим блестящим монеткам, спускались с эстрады сияющие, как школьники, уносящие полученные награды. Самым замечательным в этом чертяке была его изумительная способность перенимать повадку и тон тех людей, с кем он говорил, и притом непосредственно, бессознательно. Разговаривая с председателем суда Бедарридом, он обретал елейный вид, плавные жесты, умильную улыбочку и при этом торжественно вытягивал руку, словно потрясал своей тогой в зале суда. Когда он беседовал с полковником де Рошмором, у него появлялась выправка военного, и он лихо заламывал шляпу, а перед Кабанту стоял, засунув руки в карманы, согнув ноги дугой, сутулясь, как старый морской волк. Время от времени, в перерыве между двумя дружескими объятиями, он возвращался к своим парижанкам и с блаженным видом отирал покрытый испариной лоб.

— Милый мой Нума! — с веселым смешком говорила ему Ортанс. — Где же ты раздобудешь эти табачные ларьки, которые ты всем обещаешь?

Руместан склонял свою крупную курчавую голову, уже слегка лысеющую на макушке.

— Обещать, сестричка, еще не значит дать, — отвечал он и, угадывая молчаливый упрек жены, добавлял — Не забудьте, что мы на Юге, среди

земляков, говорящих на одном языке... Все эти славные ребята знают, чего стоит обещание, и их расчет на получение табачного ларька не более тверд, чем мое стремление обеспечить их таковым. Но они о нем толкуют, это их развлекает, воображение работает. Зачем лишать их такого удовольствия?.. К тому же, видите ли, когда южане разговаривают друг с другом, слова имеют для них относительный смысл... Тут все дело в степени уточнения...

Эта фраза понравилась ему, и он несколько раз повторил ее, подчеркивая последние слова:

— ...в степени уточнения... в степени уточнения...

— Мне нравятся эти люди... — сказала Ортанс; ее занимало зрелище, открывавшееся ее глазам.

Но Розали не убедили доводы Ну мы.

— Слова все же имеют определенный смысл, — прошептала она, словно отвечая своим тайным мыслям.

— Это уж зависит от географической широты, дорогая.

И как бы в подтверждение своего парадокса, как бы в подмогу ему Руместан дернул плечом движением корабейника, укрепляющего на спине ремень. Великий оратор правых сохранял характерные привычные жесты — он не мог от них избавиться, и в другой партии на него из-за этих жестов смотрели бы как на простолюдина. Но на тех аристократических высотах, где он заседал рядом с князем Ангальтским и герцогом де ла Ронггайяд, это расценивалось как признак силы и яркой оригинальности; Сен-Жерменское предместье было просто без ума от его мощного движенья плечом, от этого рывка широкой крутой спины, словно подпиравшей надежды французской монархии. Но если г-жа Руместан и разделяла некогда иллюзии Сен-Жерменского предместья, то сейчас они у нее безнадежно рассеялись, судя по ее разочарованному взгляду, по легкой улыбке, все сильнее кривившей ее губы, пока говорил лидер, — бледной улыбке, не столько презрительной, сколько печальной. Впрочем, муж скоро отошел от нее, привлеченный звуками странной музыки, доносившейся с арены вместе с кликами толпы, которая, стоя, восторженно вопила:

— Вальмажур! Вальмажур!

Победитель состоявшегося накануне конкурса, первый тамбуринщик Прованса, знаменитый Вальмажур приветствовал Нуму исполнением лучших своих песенок. Красивое зрелище являл собой этот Вальмажур; он стоял посреди арены в накинутаой на плечи желтой куртке, с ярко-красным поясом вокруг талии, резко выделявшимся на крахмальной белизне рубахи.

Длинный легкий тамбурин свисал у него с левой руки на тонком ремешке, пальцы той же руки подносили к губам дудочку, а правой рукой он бил в тамбурин, залихватски выставив одну ногу вперед. Его дудочка завладевала всем пространством, словно целый хор цикад: она казалась нарочно приспособленной для прозрачной хрустальной атмосферы, где все вибрирует, а густой, низкий голос тамбурина создавал фон для ее фиоритур.

Звуки этой резковатой, дикой музыки вызывали перед Руместаном сильнее, чем все, показанное ему сегодня, образы его детства — детства мальчишки-провансальца, который бегаёт на все деревенские праздники, пляшет под развесистыми платанами площадей, в белой пыли больших дорог, топчя лаванду на выжженных солнцем холмах. От сладостного волнения ему стало щипать глаза, ибо, несмотря на свои сорок с лишним лет и на иссушающую душу политическую деятельность, он ещё обладал по милости природы силой воображения и той поверхностной чувствительностью, которая может ввести в заблуждение насчет подлинной сущности человеческого характера.

Притом Вальмажур был не обычный тамбуринщик, не один из тех деревенских скрипачей, которые подхватывают на ярмарках и танцульках мотивы кадрили, припевы кафешантанных песенок и опошляют свой инструмент, стараясь настраивать его на современный вкус. Сын и внук тамбуринщиков, он играл только национальные песни — такие, которые на посиделках напевают дребезжащими голосами старые бабки. И он знал их очень много, он был просто неистощим. После ноэлей Саболи,^[3] выдержанных в ритме менуэта или ригодона, он начинал играть «Королевский марш»,^[4] под звуки которого в век Людовика XIV Тюрей завоевывал и сжигал Пфальц.

Вдоль ступеней амфитеатра, где пчелиным роем проносились легкие трели, возбужденная толпа отбивала такт, махая руками, качая головами, подчиняясь могучему ритму, который порывом мистраля оведал притихший цирк, нарушаемый лишь неистовым свистом ласточек, метавшихся взад и вперед там, высоко, в уже слегка зеленеющей лазури, беспокойных и восхищенных ласточек, которые словно искали в небе невидимую птицу, испускавшую эти острые, пронзительные звуки.

Когда Вальмажур кончил, раздался исступленный восторженный рев. В воздухе замелькали шляпы и носовые платки. Руместан вызвал музыканта на эстраду и бросился ему на шею:

— Молодец! Меня даже слеза прошибла!

И он показал на свои глаза, большие, золотисто — карие, влажные от слез.

Вальмажур, гордый тем, что находится среди шитых золотом мундиров и шпаг с перламутровыми рукоятками, без особого смущения принимал поздравления и объятия. Это был красивый парень, с правильными чертами загорелого лица, высоким лбом, лоснящейся черной бородкой и усами, один из гордых крестьян Ронской долины, у которых нет ничего от смиренной хитрецы деревенских жителей центрального района. Ортанс сразу же заметила тонкость его руки под перчаткой загара. Она осмотрела тамбурин, палочку с наконечником слоновой кости, подивилась легкости инструмента, уже двести лет принадлежавшего семье Вальмажуров, — его ореховый корпус, покрытый тонкой резьбой, гулкой, отполированный и истонченный, приобрел от времени мягкость. Особенно восхитила ее дудочка, наивная флейта древних тамбуринщиков, флейта с тремя отверстиями, к которой Вальмажур вернулся из уважения к традиции, употребив всю свою ловкость и терпение на то, чтобы научиться должному обращению с ней. Трогателен был его короткий рассказ о том, как он старался и как добился успеха.

— Меня осенило, когда я ночью соловья слушал, — говорил он на странном французском языке. — Думаю себе: как же так, Вальмажур? Птице божьей ее малой глотки на все рулады хватает, у нее-то ведь одна дырочка, а ты не справишься, когда на твоей свирельке целых три?

Говорил он, растягивая слова, мягко и уверенно, нисколько не боясь показаться смешным. Впрочем, никто не посмел бы усмехнуться, — таким восторгом был преисполнен Нума, размахивавший руками и топтавшийся на месте так, что едва не продавил трибуну.

— Какой красавец!.. И какой артист!.. А за ним и мер, и генерал, и председатель Бедаррид, и г-н Румавен, богатый бокерский пивовар и вице-консул Перу, затянутый в расшитый серебром маскарадный костюм, и другие, подчиняясь авторитету лидера, убежденно повторяли:

— Какой артист!

Ортанс вполне разделяла это чувство и выражала его со свойственной ей экспансивностью:

— Да, да, великий артист!..

А г-жа Руместан между тем шептала:

— Да вы же с ума сведете бедного парня!

Однако, судя по тому, как спокоен был Вальмажур, ему это отнюдь не угрожало. Он не смутился даже, когда Нума сказал ему:

— Приезжай в Париж, парень, успех тебе обеспечен.

— Сестра ни за что на свете меня не отпустит!

У него не было матери. Он жил с отцом и сестрой на принадлежавшей им ферме в трех милях от Апса, на горе Корду. Руместан побожился, что навестит его до отъезда, поговорит с родичами и добьется их согласия.

— Я вам помогу, Нума, — произнес за его спиной тонкий голосок.

Вальмажур молча поклонился, повернулся на каблуках и с инструментом под мышкой, высоко подняв голову и слегка раскачиваясь, танцующей походкой провансальцев спустился вниз по устилавшему эстраду широкому ковру. Внизу его ждали товарищи, всем хотелось пожать ему руку. Но вот раздался возглас:

— Фарандолу!

Этот мощный крик прокатился под сводами, по коридорам, откуда, казалось, наплывали теперь прохлада и тень, постепенно заполняя арену, и сузил ее освещенную солнцем часть. В тот же миг цирк оказался переполненным до того, что стены его грозили обвалом; его наполняла деревенская толпа — мешанина белых косынок, пестрых юбок, бархатных бантов, плещущих под кружевными чепцами, расшитых позументом блуз, фланелевых курток.

Прокатился гром тамбурина, и толпа выстроилась, разделилась на отряды — рука в руке, нога к ноге. Дудочка испустила трель, вслед за тем весь цирк дрогнул, и фарандола во главе с парнем из Барбантана, прославленным танцором, медленно двинулась вперед, змеясь по арене, вприпрыжку, сперва почти что на одном месте, и огромный зев воимотория, куда постепенно уходил хоровод, наполнялся шорохом одежд и смутным шумом человеческого дыхания. Вальмажур следовал за фарандолой ровным, степенным шагом, на ходу подталкивая коленом свой тамбурин, и играл все громче по мере того, как плотно свернутое кольцо людей на арене, уже наполовину засыпанной лиловым пеплом сумерек, разматывалось, словно катушка золотых и шелковых ниток.

— Взгляните наверх! — сказал Руместан.

Это «голова» хоровода появилась из-под сводов первого яруса, в то время как тамбуринщик и «хвост» фарандолы еще топтались на арене. По дороге в шествие вливались все, кого увлекло наваждение ритма. Но кто из провансальцев мог бы устоять против волшебной флейты Вальмажура? Мерные удары тамбурина подталкивали, гнали вперед ее звуки, теперь они слышны были уже на всех ярусах, они проходили сквозь решетки, сквозь отдушины, они заглушали восклицания толпы. И фарандола поднималась, поднималась, достигла уже верхних галерей, еще окаймленных рыжеватым солнечным светом. И тогда на фоне арочных проемов самого верхнего

яруса, в знойном трепете последних лучей июльского вечера торжественно пляшущий хоровод обрисовался тонкой цепочкой силуэтов, и казалось, что это на античных камнях оживает один из тех барельефов, которые тянутся по обветшалым фронтонам храмов.

Внизу, на пустеющей эстраде — ибо все уже расходились и хоровод представлялся еще величественнее над обезлюдевшими ступенями цирка, — добрый Нума обратился к жене, набрасывая ей на плечи в защиту от вечерней прохлады легкую кружевную шаль:

— Ну что, красиво?.. Правда, красиво?

— Очень, — ответила парижанка: теперь ее артистическая натура была затронута по-настоящему.

Этим одобрением прославленный гражданин Апса, видимо, больше гордился, чем шумными приветствиями, которыми его оглушали битых два часа.

II. ИЗНАНКА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

Нуме Руместану было двадцать два года, когда он приехал в Париж заканчивать юридическое образование, начатое в Эксе. В то время это был славный малый, веселый, шумный, румяный, с красивыми золотящимися глазами навывате и черной курчавой гривой волос, которая, словно меховая шапка, накрывала всю верхнюю часть его лба. Под этой мощной копной не было решительно никаких идей, никаких честолюбивых помыслов. Настоящий эксский студент, сильный игрок в бильярд и в мисти, не имеющий себе равного, когда речь шла о том, чтобы осушить бутылку шампанского на дружеской пирушке или до трех часов утра гоняться за кошками при свете факелов по широким улицам старого города, где селилась аристократия, а в старину заседал парламент. Но при этом он ничем решительно не интересовался, никогда не открывал книги, не разворачивал газеты, — он увяз в провинциальной ограниченности, которая на все пожимает плечами и гордо именуется свое невежество здравым смыслом.

Латинский квартал встряхнул его, — собственно, неизвестно почему. Как все его товарищи, Нума по приезду в Париж стал завсегдатаем кафе Мальмюса, этого высокого и шумного барака, который громоздит три этажа широких, как в магазине новинок, окон на углу улицы Фур-Сен-Жермен, оглушая ее стуком бильярдных шаров и криками клиентов, прожорливых, словно каннибалы.

Там, переливаясь всеми цветами радуги, пышно расцветал Юг Франции. Южане гасконские, провансальские, южане из Бордо, Тулузы, Марселя, южане из Перигора, Оверни, Арьежа, Ардеша, пиренейских департаментов, с фамилиями на ас, юс, ак, сверкающими, рокошущими, варварскими — Этчеверри, Термнариас, Бентабулеш, Лабульбен — фамилиями, которые словно вылетали из жерла старинной пиццали или взрывались, как мина, яростно акцентируя гласные. А как громко звучали там голоса, даже если всего-навсего требовалось подать на столик полчашки кофе, какой гремел хохот, словно опрокидывалась груженная камнем телега, какие красовались бороды — широченные, непомерно жесткие, непомерно черные, с синим отливом, бороды, от которых вмиг тупились бритвы, которые доходили до самых глаз, сливались с бровями, вылезали жесткими завитками из широких лошадиных ноздрей и ушей, но не могли скрыть юности и невинности славных, простодушных лиц,

прятавшихся за всем этой растительностью!

Студенты-южане аккуратно посещали лекции, но все остальное время проводили у Мальмюса, собираясь компаниями земляков за издавна закрепленными за ними столиками. Мрамор этих столиков, казалось, впитывал вместе с пятнами вина отзвуки местных наречий, и они оставались на нем, как на школьных партах остаются вырезанные перочинным ножиком имена учеников. v.

Женщин в этой орде бывало немного. На каждом этаже можно было встретить двух-трех несчастных девиц, которых смущенно приводили сюда любовники и которые проводили вечер рядом с ними за кружкой пива, склонившись над подшивкой иллюстрированных газет, молчаливые и отчужденные среди этих молодых южан, воспитанных в презрении к бабью. Э, черт побери, они знали, где брать любовницу на ночь, с оплатой по часам, но брали их всегда ненадолго. Их не привлекали балы Бюлье, дешевые кафешантаны, ужины в ночных харчевнях. Они предпочитали сидеть у Мальмюса, болтать на своем наречии, замкнувшись в тесном мирке кафе, аудиторий и табльдота. Если они и бывали на том берегу Сены, то лишь во Французском театре, на спектакле классического репертуара, ибо у этого племени классицизм в крови. В театр они ходили шумными компаниями, громко кричали на улице, чтобы скрыть свою застенчивость, и возвращались в кафе примолкшие, словно ошалелые от трагической пыли, попавшей им в глаза, возвращались, чтобы сыграть еще одну партию в полутемном зале, за закрытыми ставнями. Время от времени, по случаю выдержанного экзамена, в кафе происходили импровизированные кутежи, и тогда его наполнял запах мясного рагу с чесноком и зловонных горных сыров на посиневшей бумаге. А затем окончивший студент, получив диплом и сняв с полочки свою трубку с инициалами, отбывал на должность, нотариуса или товарища прокурора в какую-нибудь дыру за Луарой и там рассказывал провинции про Париж — про Париж, который, как ему казалось, он хорошо знал, но куда, в сущности, даже не заглядывал.

В этой заскорузлой среде Нуме нетрудно было прослыть орлом. Прежде всего он кричал громче всех. Затем ему дала известное превосходство или, во всяком случае, придала оригинальности его любовь к музыке. Раза два в неделю он разорялся на билет в партер Оперы или Итальянского театра и потом без конца напевал речитативы или целые арии довольно приятным горловым голосом, но без всякого умения. Когда, зайдя в кафе к Мальмюсу и театрально шагая между столиками, он заканчивал руладой какую-нибудь итальянскую арию, радостные вопли встречали его на всех трех этажах, ему кричали: «Э! Артист!» — и здесь, как и в любой

другой буржуазной среде, от этого слова загорались ласковым любопытством взгляды женщин и складывались в завистливо-ироническую усмешку губы мужчин. Слава любителя искусств впоследствии помогла ему в политической карьере и в делах. Да и сейчас еще, если в Палате назначают какую-нибудь художественную комиссию, рассматривается проект народного оперного театра или реформ в выставочном деле, прежде всего называют имя Руместана. И связано это с вечерами, которые он в молодости проводил в музыкальных театрах. Оттуда он позаимствовал апломб, актерскую повадку, манеру становиться вполоборота, разговаривая с дамочкой за стойкой, манеру, вызывавшую восторженное восклицание товарищей: «Ну и хват же этот Нума!»

В университете он держал себя столь же непринужденно. Ленивый, не любивший сидеть в одиночестве и работать, он не очень усидчиво готовился к экзаменам, но все же не без блеска выдерживал их благодаря своей смелости и свойственной южанам изворотливости, которая всегда умела нащупать у профессорского тщеславия слабую струнку. А еще Нуме помогала его наружность — открытое, приветливое лицо, и эта счастливая звезда освещала ему путь.

Как только он получил звание адвоката, родители вызвали его домой: слишком больших лишений стоило им его скромное содержание в Париже. Но перспектива застрять в Апсе, мертвом городе, рассыпавшемся прахом на своих античных руинах, перспектива жизни, сведенной к обходу одних и тех же городских улиц да к защите дел по размежеванию земельных владений, отнюдь не привлекала его еще неясного ему самому честолюбия, которое провансалец угадывал в своей любви к парижской жизни, полной движения и духовных запросов.

С большим трудом отвоевал он у родителей еще два года для подготовки к ученой степени, а по прошествии этих двух лет, когда он получил уже категорический приказ возвращаться на родину, ему посчастливилось встретиться на одном из музыкальных вечеров герцогини Сан-Доннино, куда ему открывали доступ красивый голос и связи в артистическом мире, с Санье, великим Санье, адвокатом-легитимистом, братом герцогини и ярким меломаном, и он покорила его своим темпераментом, столь ярким на фоне светской скуки, и своим восторженным отношением к Моцарту. Санье предложил ему у себя место четвертого секретаря. Жалованья он ему не положил почти никакого, но зато Нума становился сотрудником первой адвокатской конторы Парижа со связями в Сен-Жерменском предместье и в Палате. К несчастью, Руместан-отец упорствовал в своей угрозе лишить его содержания, стараясь

призраком голода заставить вернуться домой единственного сына, двадцатипятилетнего адвоката, находящегося в том возрасте, когда пора начать зарабатывать. И вот тут-то вмешался владелец кафе Мальмюс.

Своеобразный тип был этот Мальмюс, астматичный, бледный толстяк, который из простого официанта стал благодаря кредиту и ростовщичеству владельцем одного из крупнейших парижских кафе. Начал он с того, что давал студентам займы под их получку из дому, взимая с них втрое, когда деньги приходили. Он читал по складам, совсем не умел писать и отмечал данные займы гроши зарубками на кусках дерева, как делали в Лионе, его родном городе, приказчики в булочных, но в счетах у него всегда были полный порядок и ясность, а главное — он никогда не помещал своих денег неудачно. Впоследствии, разбогатев и став во главе предприятия, где он пятнадцать лет носил фартук официанта, Мальмюс усовершенствовал свои операции и пел дело в кредит. Из-за этого к концу каждого дня все три кассы кафе бывали пусты, но зато в книгах, которые велись совершенно фантастическим образом, выстраивались бесконечные столбцы пивных кружек, чашек кофе, стаканчиков вина, вписанные туда пресловутыми перьями о пяти остриях, которые так любили парижские коммерсанты.

Расчет у этого человека был простой: он оставлял студенту его карманные деньги, все его содержание, кормил и поил в кредит, а привилегированным давал даже комнату у себя в доме. Пока длилось учение, он не требовал ни гроша — таким образом нарастали проценты на весьма значительные суммы. Но при этом он действовал отнюдь не легкомысленно и не безоглядно. Два месяца в году, во время летних каникул, Мальмюс разъезжал по провинции — удостоверяться в добром здравии родителей, в финансовом положении семей. Астма душила его, когда он карабкался на севенские высоты или спускался в лангедокские балки. Молчаливый подагрический путник, бросавший по сторонам подозрительные взгляды из-под тяжелых век — характерные взгляды бывшего с ночного» официанта, — он блуждал по всяким глухим углам, задерживался там на день-другой, посещал нотариуса и судебного пристава, заглядывал за стену, окружавшую имение или завод клиента, потом исчезал неведомо куда.

Разузнав в Апсе все, что ему было нужно, он проникся полным доверием к Руместану. Отца бывшего владельца прядильной мастерской разорили мечты о богатстве и неудачные изобретения, и теперь он скромно жил на жалованье страхового агента. Но сестра его, г-жа Порталь, бездетная вдова богатого местного деятеля, все свое состояние должна

была оставить племяннику. Вот почему Мальмюсу хотелось удержать его в Париже: «Поступайте к Санье... Я вам помогу». Секретарь столь видного человека не мог жить в студенческих меблирашках, и Мальмюс обставил для него холостяцкую квартиру на набережной Вольтера, окнами во двор, взял на себя и оплату помещения и расходы на жизнь. Так будущий лидер начал свою карьеру внешне человеком вполне обеспеченным, в сущности же, глубоко стесненным: ему не хватало ни балласта, ни карманных денег. Благосклонность Санье дала ему возможность завести ценнейшие знакомства. Он был *принят* в аристократическом предместье. Но вот беда: успехи в обществе, приглашения в парижские особняки, а летом — в имения обязывали его к тому, чтобы всегда быть хорошо одетым, всегда быть подтянутым, и, следовательно, увеличивали его расходы. Неоднократно обращался он к тетушке Порталь, и она изредка оказывала ему помощь, но осмотрительно, скуповато, денежные переводы от нее сопровождалась длинными комичными нравоучениями и проклятиями в библейском стиле разорительному Парижу. Положение было просто невыносимое.

Через год Нума стал подыскивать себе что-нибудь другое. К тому же и Санье нужны были труженики, работяги, Нума ему не подходил. Южанин был безнадежно ленив и особое отвращение испытывал именно к кабинетной работе, требующей прилежания и порядка. Внимательность, умение глубоко входить в дело были ему решительно несвойственны. Он отличался слишком живым воображением, в голове у него все время теснились разные идеи, ум его был до того подвижен, что это отражалось даже на его почерке, который все время менялся. Это была натура поверхностная: у него были и голос и жесты тенора.

«Если я не говорю, то, значит, и не думаю», — признавался он с величайшим простодушием. И это была истинная правда. Не мысль у Нумы подталкивала слово — напротив, слово опережало ее, — мысль как бы пробуждалась от его чисто механического звучания.

Нума сам изумлялся и забавлялся тем, как сталкиваются у него затерявшиеся в закоулках памяти понятия и мысли, когда произнесенное слово обнаруживает их, собирает, превращает в целые связки доводов. Когда он говорил, то обретал в себе чувствительность, дотоле ему самому неведомую, возбуждался от звука своего голоса, от интонаций, которые хватили его за сердце, от которых на глаза у него навертывались слезы. То были свойства прирожденного оратора, но он этого не сознавал, ибо у Санье ему не представлялось возможности применить их.

И, однако, годовой стаж у крупного адвоката — легитимиста оказался

важнейшим периодом его жизни. Там он приобрел убеждения, партию, вкус к политике, стремление к богатству и славе. Первой улыбнулась ему слава.

Через несколько месяцев после того как он ушел от патрона, авание секретаря Санье, которое он носил на манер актеров, именующих себя «актерами французской комедии», даже если они выступали там раза два, доставило ему защиту в суде «Хорька» — легитимистской газетки, весьма распространенной в высшем обществе. Он провел защиту с большим успехом, на редкость удачно. Явившись в суд без всякой подготовки, засунув руки в карманы, он говорил два часа подряд с заманчивой горячностью и до того весело, что судьи дослушали его до конца. Его акцент, ужасающая картавость, от которой он по лености своей так и не избавился, придали его иронии особую остроту. Сила, настоящая сила была в ритме этого подлинно южного красноречия, театрального и вместе с тем непринужденного, но прежде всего отличающегося ясностью суждения, той широкой ясностью, которую находишь в творчестве людей Юга, так же как в беспредельной прозрачности их далей.

Газета, конечно, была осуждена, ей пришлось заплатить и штрафом и тюремным заключением ответственного редактора за блестящий успех адвоката. Так при провале пьес, разоряющих автора и антрепренера, кто-нибудь из актеров завоевывает себе прочную репутацию. Старик Санье пришел послушать своего ученика и при всех расцеловал его.

— Не мешайте судьбе делать из вас великого человека, дорогой Нума, — сказал он, сам немного дивясь тому, что высидел такого сокола.

Однако больше всех изумлялся сам Руместан. Когда, ошеломленный успехом, он спускался по широкой без перил лестнице Дворца Правосудия, ему казалось, что он пробудился от какого-то странного сна, а в ушах у него все еще гудело эхо его же собственных слов.

После такого успеха, после дождя хвалебных писем, после завистливых улыбок коллег адвокат решил, что начало положено, и стал терпеливо ждать клиентов и предложений в своем кабинете окнами во двор, перед камином, в котором горело несколько принесенных дворником полешек. Но дождался он только дополнительных приглашений на обед да подарка от редакции «Хорька» — красивой бронзовой статуэтки ив лавки Барбедьена. Перед новой внаменитостью стояли все те же трудности, она по-прежнему была не уверена в будущем. Людям так навываемых свободных профессий, когда у них нет возможности приманивать и завывать клиентов, нелегко начинать карьеру и дожидаться, пока в маленькой приемной с приобретенной в рассрочку плохо набитой мягкой

мебелью и аллегорической фигурой на каминных часах между двумя развинченными канделябрами рассядется наконец очередь серьезных и платежеспособных посетителей. Руместан был вынужден давать уроки правоведения людям легитимистского и католического круга, но он считал, что эта работа недостойна его репутации, его успехов на собраниях адвокатов и восхвалений, без которых не обходилось упоминание его имени в газетах роялистской партии.

Но особенно сильную грусть и острое ощущение своей нищеты вызывали у него обеды у Мальмюса, куда он ходил в те дни, когда не было приглашений или когда пустота в кармане не позволяла ему пойти в один из модных ресторанов. Та же особа за стойкой торчала между теми же чашками для пунша, та же фаянсовая печурка ворчала подле той же полочки для трубок, как всегда, там стоял крик и гам и чернели бороды южан. Но его поколение схлынуло, а на молодежь он смотрел с предубеждением зрелого, но еще ничего не достигшего человека к двадцатилетним юнцам, которые словно отпихивают его назад. Как мог он жить среди таких дураков?

Впрочем, тогда студенты были, наверно, поумнее. Его раздражало даже их восхищение, даже то, что перед ним, знаменитостью, эти славные собачки так простодушно виляли хвостами. Пока он ел, хозяин кафе, гордившийся своим клиентом, подсаживался к нему на потертый плюшевый диванчик, дрожавший от приступов его астматического кашля, а за соседним столом располагалась высокая худая девица — единственная фигура былых времен, костлявая особа без определенного возраста, известная в этом квартале под кличкой «Старожилки для всех»: видимо, какой-то добряк-студент, который вернулся на родину и там женился, перед отъездом открыл ей счет у Мальмюса. Привыкши в течение стольких лет щипать траву вокруг одного и того же колышка, это несчастное создание понятия не имело о том, что творится на свете, не знало об успехах Руместана и заговаривало с ним сочувственным тоном, как с неудачником, как с отсталым однокашником.

— Ну как, старина, поживаешь?.. А знаешь. Помпон-то женился!.. Лабульбена перевели — теперь он прокурор в Кане.

Руместан еле отвечал ей; он запихивал в рот огромные куски, чтобы поскорее от нее уйти. И когда он шел по прилегающим улицам, где народ шумел у харчевен и фруктовых киосков, он особенно остро ощущал горечь своей неудавшейся жизни; его давило сознание, что все для него кончено.

Так прошло несколько лет. Его имя стало широко известно, репутация его упрочилась, но это не приносило ему ничего, кроме картинок и

статуэток от Барбедьена. Затем его пригласили защищать одного авиньонского торговца — тот заказал на продажу «подстрекательские» шелковые платки, на которых изображен был граф Шамборский в окружении какой-то депутации: тиснение было плохое, разобрать фигуры было довольно трудно, однако все весьма неосторожно подчеркивалось вензелем Н. V. на фоне гербового щита. Руместан разыграл целую комедию, негодуя по поводу того, что тут можно было усмотреть политический намек: Н. V, — но ведь это же *Horace Verncet* — Орас Верне, [5] председатель одного из отделений Французской академии!

Эта выходка в тарасконском духе имела на Юге большой успех и сделала для его будущего гораздо больше, чем вся парижская шумиха, а главное — завоевала ему деятельную симпатию тетушки Порталь. Симпатия эта выразилась прежде всего в присылке оливкового масла и белых дынь, за коими последовала куча других продуктов: инжир, сушеный перец, сушеные молоки мартигского голавля, ююба, ягоды боярышника, сладкие рожки — лакомство для мальчишек, которые обожала почтенная дама и которые гнили в буфете у адвоката. А через некоторое время пришло письмо, написанное гусиным пером. Крупный почерк тетки точно передавал резкость ее речей, ее забавные выражения, заодно выдавая путаницу, царившую у нее в голове и проявлявшуюся в полном отсутствии знаков препинания и внезапных скачках от одной мысли к другой.

Нума, однако, догадался, что тетка, по-видимому, не прочь женить его на дочери советника парижского апелляционного суда, г-на Ле Кенуа, супруга которого — урожденная Сустель из Апса — воспитывалась вместе с нею в монастыре Калад... Крупное состояние — Девица хорошенькая, славная, на вид холодновата, но ничего: замужество ее расшевелит. Если этот брак совершится, что даст тетя Порталь своему Нуме? Сто тысяч франков звонкой монетой в день свадьбы!

За провинциальными оборотами речи скрывалось все же серьезное предложение. Настолько серьезное, что еще через день Нума получил приглашение на обед к Ле Кенуа.

Он отправился туда не без волнения. Советник — с ним он часто встречался в суде — принадлежал к числу людей, которые ему больше всего импонировали. Высокий, тонкий, с надменным, болезненно бледным лицом, острым, пронзительным взглядом и словно запечатанным ртом, старый судейский, уроженец Валансьена, производил впечатление, будто и его укрепил и окружил казематами Вобан. Руместана смущала холодность северянина. Ле Кенуа занимал прекрасное положение, которым обязан был своим основательным трудам по уголовному праву, своему богатству и

строгости своей жизни, и положение это было бы еще значительнее, если бы не независимость его взглядов и не мрачная нелюдимость, в которую он впал после смерти своего двадцатилетнего сына. Все эти обстоятельства проходили перед мысленным взором южанина, пока он поднимался по широкой каменной лестнице с резными перилами в особняке Ле Кенуа, одном из самых старинных на Королевской площади.

Его ввели в большую гостиную. Двери, казавшиеся особенно высокими, так как легкая роспись в простенках над ними сливалась с парадно разрисованным потолком, тканые обои в рыжеватую и розовую полосы, которыми окаймлены были открытые на старинный балкон окна, внушительный вид на площадь с розоватыми кирпичными стенами зданий — все это могло только усилить смущение Нумы. Но прием, оказанный ему г-жой Ле Кенуа, вскоре ободрил его. Эта маленькая женщина с доброй и грустной улыбкой, тепло укутанная и с трудом передвигавшаяся из-за ревматизма, который одолевал ее с тех пор, как она поселилась в Париже, сохраняла выговор и все повадки своего милого Юга и любила все, что напоминало ей о нем. Она усадила Руместана поближе к себе и, ласково глядя на него в полусвете гостиной, сказала:

— Да ведь вы же вылитая Эвелина!

Имя тетушки Порталь, от которого Нума уже совсем отвык, тронуло его как воспоминание детства. Г-же Ле Кенуа давно уже хотелось познакомиться с племянником подруги, но в их доме царила печаль, траур по сыну отдалил их от света, от жизни. Теперь они решили, что пора кое-кого принимать: не потому, чтобы их скорбь притупилась, а из-за дочерей, особенно из-за старшей, которой скоро исполнится двадцать лет. Повернувшись к балкону, откуда доносился звонкий юный смех, она позвала:

— Розали!.. Ортанс!.. Идите же скорей!.. Пришел господин Руместан.

Через десять лет после этого вечера он вспоминал, как в обрамлении высокого окна, в легком закатном свете перед ним возникла эта прелестная девушка: она приглаживала волосы, растрепанные шалуньей сестрой, и шла к нему с ясным, прямым взглядом, без притворного смущения, без кокетства.

Он сразу ощутил к ней доверие и симпатию.

Впрочем, раза два за обедом среди общего разговора Нуме показалось, что в красивом гладком личике сидевшей рядом с ним девушки сквозит надменность — наверно, та самая «холодноватость», о которой писала тетя Порталь и которой Розали была обязана своему сходству с отцом. Но легкая гримаска полуоткрытых губ и голубой холод взгляда вскоре смягчались,

сменяясь доброжелательным вниманием, приятным удивлением, которого от него даже не старались скрыть. Родившись и получив воспитание в Париже, мадемуазель Ле Кенуа всегда испытывала легкое отвращение к Югу: его говор, нравы, природа, все, с чем она знакомилась во время летних поездок, было ей в равной мере антипатично. Тут уже, видимо, говорила кровь, и на этот счет между матерью и дочерью все время происходили дружеские споры.

— Никогда я не выйду ва южанина, — смеясь, говорила Розали.

В ее представлении южанин — это был тип человека говорливого, грубоватого и пустого, что-то вроде оперного тенора или посредника по продаже бордоских вин, с правильными, но слишком резкими чертами лица. Руместан, правда, до известной степени подходил под этот образ, созданный проницательным воображением маленькой насмешливой парижанки. Но в этот вечер его горячая музыкальная речь обрела в доброжелательстве окружающих завлекательную силу, придала его лицу вдохновенность и утонченность. После того как близкие соседи по столу вполголоса обменялись замечаниями о том, о сем — это вместе с икрой и маринадом как бы закуска застольной беседы, — завязался общий разговор о последних празднествах в Компьене, об охотах в маскарадных костюмах, в которых гости изображали кавалеров и дам эпохи Людовика XV. Нума знал о либеральных взглядах старика Ле Кенуа и, пустившись в блестящую импровизацию, почти пророчески изобразил этот двор как цирковое представление с наездницами и конюхами, гарцующими под грозовым небом, травящими оленя при блеске зарниц и отдаленных раскатах грома; затем начинается ливень, смолкает переключка охотничьих рогов, и весь этот монархический карнавал завершается беспорядочным топтаньем в окровавленной грязи!..

Может быть, это была и не совсем импровизация, может быть, Руместан уже репетировал ее на адвокатских конференциях, но никогда и нигде его взволнованная речь, звучавшая благородным возмущением, не вызывала такого восторженного отклика, какой он уловил в обращенном к нему прозрачном глубоком взгляде, в то время как кроткое лицо г-жи Ле Кенуа озаряла лукавая улыбка, которой она как бы спрашивала у дочери: «Ну что, как ты находишь этого южанина?»

Розали была покорена. Этот мощный голос, эти благородные мысли находили отклик в ее душе, способной к глубоким чувствам, по-юному великодушной, страстно влюбленной в свободу и справедливость. Как большинство женщин, для которых в театре личность певца сливается с его арией, личность актера с его ролью, она забыла, что в речах Нумы многое

надо отнести за счет виртуозности исполнителя. Если бы она знала, какая пустота была за всем этим адвокатским красноречием, как мало волновали его, по существу, эти компьенские празднества, если бы она догадывалась, что достаточно было одного приглашения, в котором звучали бы нотки императорской милости, чтобы Нума охотно принял участие в подобной кавалькаде, где было чем потешить его тщеславие, его инстинкты гуляки и комедианта! Но она была зачарована. Ей казалось, что обеденный стол словно вырос, что преобразились усталые, сонливые лица гостей: председателя окружного суда, врача, практикующего в их квартале. А когда все перешли в гостиную, люстра, зажженная впервые после смерти брата, жарко ослепила ее, словно настоящее солнце. Солнцем же был Руместан. Это он оживил их торжественное жилье, смел траур, мрак, сгущавшийся во всех углах, пылинки грусти, витающие в старых домах, зажег грани на больших зеркалах и вернул блеск прелестной росписи простенков, поблекшей за сто лет.

— Вы любите живопись, господин Руместан?

— Люблю ли я живопись? Ну еще бы!

По правде говоря, он в ней решительно ничего не смыслил. Но на этот счет, как и на счет чего угодно, у него имелся целый склад готовых идей и фраз, и, пока расставлялись карточные столы, живопись оказалась отличным предлогом для того, чтобы уединиться с девушкой и поговорить с ней, разглядывая старинную роспись потолка и несколько картин кисти знаменитых мастеров, висевших на прекрасно сохранившихся панелях эпохи Людовика XIII. Из них двоих подлинно художественным вкусом отличалась Розали. Она выросла в среде культурной, с хорошим вкусом, и какая-нибудь прекрасная картина, редкое произведение скульптуры вызывали в ней особое трепетное чувство, которого она и выразить не могла как следует из-за своей природной сдержанности и отвращения к нарочитым восторгам светских господ и дам, только мешающим проявиться подлинному восхищению. Но при взгляде со стороны на беседу Розали и Нумы, при виде красноречивой самоуверенности, с которой разглагольствовал адвокат, его широких профессиональных жестов и сосредоточенно-внимательного личика Розали можно было подумать, что это специалист и знаток поучает робкую ученицу.

— Мама! Можно зайти в твою комнату?.. Я хочу показать господину Руместану панно с изображением охоты.

За столом, где играли в вист, мать бросила исподтишка вопросительный взгляд на того, с кем она всегда говорила тоном покорной преданности и к кому обращалась «господин Ле Кенуа». После того как

советник слегка кивнул в знак того, что считает это вполне приличным, она тоже дала согласие. Розали и Руместан прошли по коридору, уставленному с обеих сторон книжными шкафами, и очутились в спальне родителей, не менее старинной и величественной, чем гостиная. Над маленькой дверью, покрытой тонкой резьбой, находилось панно с изображением охоты.

— Ничего не видно, — сказала девушка.

Она ваяла с одного из карточных столов канделябр с двумя свечами и, вытянув руку, отчего высоко поднялась ее грудь, осветила панно, на котором написана была Диана с полумесяцем во лбу, окруженная нимфами — охотницами среди райского пейзажа. Но этот жест канефоры,^[6] двойным пламенем озарявший ее гладко причесанную головку и ясные глаза, ее надменная улыбка, застывший порыв стройной девичьей фигуры делали Розали больше Дианой, чем сама богиня., Руместан смотрел на нее и, весь во власти этой целомудренной прелести, этой подлинно юной чистоты, забывал, кто она, что он тут делает, забывал свои тщеславные и корыстные мечты. Его охватило безумное желание сжать в объятиях эту гибкую талию, поцеловать легкие пряди волос, одурманивавших его своим тонким благоуханием, унести эту прелестную девушку-ребенка, чтобы она стала очарованием и счастьем всей его жизни. И чутье подсказывало Нуме, что, решишь он на это, она поддалась бы, что она уже принадлежит, всецело принадлежит ему, побежденная, завоеванная в первый же день. Огненный ветер Юга! Перед тобой не устоит ничто.

III. ИЗНАНКА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Если были когда-нибудь два человеческих существа, не созданных для совместной жизни, так это они. Во всем решительно являлись они полной противоположностью друг другу: по своим склонностям, по воспитанию, по темпераменту, по крови. Это были воплощения Юга и Севера без малейшей надежды на какое бы то ни было слияние. Взаимная страсть живет подобными контрастами, подсмеивается, если на них обращают ее внимание, ибо считает, что ей все нипочем. Но когда входит в свои права повседневность, когда наступает однообразная смена дней и ночей под одной крышей, чад влюбленного опьянения рассеивается, молодожены узнают и начинают судить друг друга.

В этой новой семье пробуждение произошло не сразу, по крайней мере для Розали. Обычно она разбиралась во всем проникательно и разумно, по отношению же к Нуме долгое время была слепа, не понимая, насколько она выше его. Бурные порывы южан проходят быстро именно вследствие своей бурности. Кроме того, южанин настолько убежден в более низком уровне женщины, что, женившись и будучи уверен в своем семейном благополучии, он свыкается с ним, как господин, как паша, принимает любовь как выражение должной преданности и считает, что с его стороны вполне достаточно, если он позволяет любить себя: по правде говоря, любовь отнимает время, а Нума был теперь очень занят из-за нового образа жизни, на который вынуждали его женитьба, богатство и видное положение в судебном ведомстве его тестя Ле Кенуа.

Сто тысяч франков, полученные от тетушки Порталь, пошли на уплату долга Мальмюсу, на обстановку, на возможность покончить с унылым, беспросветным существованием холостяка. Сладостным показался Нуме переход от потертого бархата диванчика, где он рядом со «старожилкой для всех» уписывал свой скромный завтрак, к столовой на улице Скриба, где он, как хозяин дома, сидел напротив своей элегантной парижаночки за роскошными зваными обедами, которые он давал видным людям из судейского и артистического мира. Провансалец любил широкую жизнь, вкусную и дорогую еду, но особенно любил он наслаждаться ею у себя, с комфортом, с той мерой беззастенчивости, которая разрешает курить сигары и рассказывать соленые истории. Розали на все согласилась,

применилась к жизни открытым домом, к тому, что каждый вечер у них за столом собиралось человек десять — пятнадцать гостей и притом мужчин: среди черных фраков светлым пятном выделялся ее наряд до того момента, когда подавался кофе, открывались коробки с гаванскими сигарами и она удалялась, предоставив мужчинам по-холостяцки закончить трапезу политическими спорами и густым хохотом, покрывавшим иные весьма скромные речи.

Одни домашние ховяйки знают, что значит ставить каждый день такую декорацию, какие возникают сложности и трудности за кулисами. Розали, не жалуясь, выпутывалась, как могла, старалась все упорядочить: великий человек вовлекал ее в свой суматошный водоворот и время от времени среди громовых раскатов улыбался своей женушке. Она жалела только о том, что он не принадлежит ей одной. Даже за завтраком, за ранним завтраком адвоката, торопящегося в суд, с ними за столом всегда сидел приятель, без которого не мог обойтись общительный южанин: ему нужно было, чтобы рядом с ним всегда находился собеседник, чьи реплики выбивали из него целый фонтан мыслей, на чью руку он мог с удобством опереться, кому он поручал донести до вала суда свой тяжелый портфель.

С каким удовольствием провожала бы она его на тот берег Сены, какое счастье для нее было бы в дождливые дни приезжать за ним в их карете, ждать, пока он выйдет из суда, и возвращаться домой вдвоем, крепко прижавшись друг к другу за запотевшими радужными стеклами дверец! Но она не решалась попросить его об этом; она была уверена, что у него всегда наготове благовидный предлог, чтобы отказать ей, — какое-нибудь заранее условленное свидание в вестибюле суда с одним из трехсот друзей-приятелей, о которых сын Юга говорил с умилением:

«Он меня обожает... Пойдет за меня в огонь и в воду...» Это было его понимание дружбы. Впрочем, он не был особенно разборчив. По легкости своей натуры, готовой поддаться любому капризу, он бросался на шею первому встречному и так же быстро забывал его. Каждую неделю — новое увлечение, новое имя, не сходящее с его уст, которое Розали старательно выписывала перед каждым званым обедом на разрисованной карточке меню. Потом внезапно оно исчезало, словно личность этого господина была столь же непрочна и так же легко воспламенялась, как пестрый рисунок на обеденной карточке.

Среди этих скоропреходящих друзей один стоял непоколебимо, но это был не столько друг, сколько привычка, укоренившаяся с детства, ибо Руместан и Бомпар родились на одной и той же улице. Он втерся к ним на правах члена семьи, и молодой женщине в первые же дни брачной жизни

пришлось мириться с тем, что у них в доме на самом почетном месте, как старинное кресло или шкаф, оказался этот тощий субъект с внешностью паликара, с большим орлиным носом, с глазами, словно агатовые бусы, со светло-коричневой кожей, похожей на тисненую кожу кордовской выделки, в маленьких морщинках, какие бывают у балаганных актеров и клоунов, вынужденных вечно корчить гримасы. Но Бомпар никогда не играл на сцене. Очень недолго он пел в хоре итальянской оперы, там-то Нума его и подцепил. Кроме этой детали, ничего определенного о его жизни сказать было невозможно: все в ней было зыбко и расплывчато. Чего только он не изведаль, чем только не занимался, где только не побывал! Стоило упомянуть при нем о каком-нибудь знаменитом человеке, о всем известном событии, как он тотчас же заявлял: «Мы с ним приятели», — или: «Это при мне и было... Я только что оттуда». И тут же о доказательство этих слов рассказывалась какая-нибудь история.

Однако, сопоставляя его рассказы, можно было обнаружить поразительные вещи: в одном и том же году Бомпар командовал ротой польских и черкесских дезертиров при осаде Севастополя, дирижировал хоровой капеллой голландского короля и состоял в близких отношениях с королевской сестрой, за что полгода отсидел в гаагской крепости, что не мешало ему одновременно путешествовать по Сахаре и, в частности, проехать от Лагуата до Гадамеса...^[7] Обо всем этом повествовалось с сильнейшим провансальским акцентом, но на торжественный лад, почти без жестов, однако с обилием каких — то механических гримас, которые так же утомляли зрение, как мелькание стекляшек в калейдоскопе.

Настоящее Бомпара было столь же неясно и таинственно, как и прошлое. Где он жил? На что? Он то разглагольствовал о крупных делах, связанных с асфальтированием части Парижа новым экономическим способом, то с увлечением переходил на открытое им новое и безошибочное средство против филлоксеры: он дожидается только письма из министерства, чтобы получить премию в сто тысяч франков и рассчитаться наконец в молочной, где он питался и где почти свел с ума хозяев, развертывая перед ними экстравагантные миражи своих надежд.

Руместан носился с этим неистовым южанином, как с любимой игрушкой. Он всюду таскал его за собой, на потеху себе и другим, пришпоривал, подогревал его, нарочно вызывал на всевозможные дурашливые выходки. Когда Нума останавливался на бульваре поговорить с кем-нибудь, Бомпар размеренным шагом отходил в сторону, словно для того, чтобы раскурить потухшую сигару. Его можно было встретить на всех похоронах, на всех театральных премьерах, где он с видом очень занятого

человека спрашивал всех и каждого: «Вы не видели Руместана?» В конце концов он стал не менее заметной фигурой, чем его приятель. В Париже довольно часто встречаются такие обязательные спутники знаменитостей, каждая знаменитость таскает за собой какого-нибудь Бомпара, который ходит за нею, как тень, и даже приобретает нечто вроде своей собственной индивидуальности. Правда, Руместанов Бомпар и без того ею обладал. Но Розали терпеть не могла этого «статиста, который неизменно присутствовал в ее счастливой семейной жизни, вечно становился между нею и мужем, заполняя своей особой редкие мгновения, когда они могли бы побыть вдвоем. Друзья вели между собой разговор на родном наречии, которого она не понимала, смеялись местным непереводаемым шуткам. Но что особенно раздражало ее, так это его потребность врать, его выдумки, которым она на первых порах верила, настолько всякий обман был чужд ее прямой и откровенной натуре, чье главное очарование состояло в полной гармонии между словом и мыслью, гармонии, властно звучавшей в ее уверенных интонациях и кристальной звонкости ее голоса.

— Не нравится он мне... Это же враль... — говорила она с глубоким возмущением, но это только забавляло Руместана, и он начинал защищать приятеля:

— Да нет же, он не враль!.. Он человек с богатым воображением, сновидец наяву, рассказывающий свои сны... У меня на родине полным-полно таких людей... Это от тамошнего солнца, это звучит даже в нашем акценте... Вспомни тетушку Порталь... Да и я сам, если бы не держал себя в узде, на каждом шагу...

Тут ее ручка с возмущением затыкала ему рот:

— Молчи, молчи!.. Я бы тебя не любила, если бы ты и впрямь был таким вот южанином.

А он именно таким и был. И ей еще предстояло увидеть, как, несмотря на парижскую внешность, на сдерживающий светский лоск, вылезает на свет божий этот ужасный Юг — отсталый, грубый, лишенный всякой логики. Первый раз это случилось из-за религии: тут, как, впрочем, и во всем остальном, Нума оставался верен своим провинциальным традициям. Он был типичный провансалец-католик, который почти не соблюдает обрядов, ходит в церковь за своей женой к концу мессы и стоит где-нибудь в уголке подле чаши со святой водой, созерцая все окружающее с видом превосходства, на манер папаши, присутствующего в детской на представлении китайских теней. Такой католик исповедуется только во время холерной эпидемии, но тем не менее пошел бы на виселицу или на муки за эту веру, которой он в себе не чувствует и которая никак не

сдерживает его страстей и порывов.

Женился он, зная, что Розали одного с ним вероисповедания; священник из церкви св. Павла расточал им хвалы сообразно количеству свечей, ковров и цветов, положенному для перворазрядной свадьбы. Большого, по его мнению, и не требовалось.

Все женщины, которых он знал, — его мать, его двоюродные сестры, тетушка Порталь, герцогиня де Сан — Доннино — были ревностные католички. Поэтому Руместан был крайне удивлен, заметив через несколько месяцев после свадьбы, что Розали не ходит в церковь.

— Ты не ходишь на исповедь? — спросил он.

— Нет, друг мой... — ответила она спокойно. — Да, впрочем, и ты тоже, как я замечаю.

— Ну, я — это совсем другое дело.

— Почему?

Ее глаза смотрели на него с таким искренним, с таким лучистым удивлением, словно она и понятия не имела, насколько, будучи женщиной, она умственно ниже мужчины. Он не нашелся, что возразить, и выслушал ее объяснения. О, она отнюдь не была свободомыслящей и не придерживалась независимости во взглядах! Она воспитывалась в хорошем парижском пансионе для девиц, где духовником был священник из церкви св. Лаврентия; лет до семнадцати, до окончания пансиона, и даже потом, дома, в течение нескольких месяцев она аккуратно посещала церковь вместе с матерью, благочестивой, как все южанки. Но вот в один прекрасный день что-то в ней словно разбилось, и она заявила родителям, что исповедальня внушает ей непреодолимое отвращение. Мать попыталась бороться с тем, что казалось ей простым капризом, но тут вмешался г-н Ле Кенуа:

— Оставь, оставь... Со мной в ее возрасте было то же самое.

С этого момента единственным советчиком и духовником Розали стала ее юная совесть. Впрочем, она была парижанка, светская женщина и никогда не подчеркивала независимости во взглядах, — она считала, что это дурной тон. Если Нума пожелает ходить в церковь, она будет ходить вместе с ним, как ходила долгое время вместе с матерью, но она не согласна лгать и ломать комедию, изображая веру в обряды, которой у нее больше нет.

Он слушал ее, ошеломленный, приходя в ужас от всего, что она говорила, от ее решительного утверждения своей внутренней морали: его представлениям южанина о зависимости женщины от мужчины был нанесен удар.

— Ты, значит, и в бога не веришь? — произнес он с адвокатской напыщенностью, торжественно указав пальцем на лепной потолок.

— Как же можно в него не верить? — вырвалось у нее в ответ, вырвалось так непосредственно, так искренне, что одно это стоило целого исповедания веры.

Тогда Руместан заговорил о свете, о приличиях, о том, что монархические убеждения неразрывно связаны с религиозными. Все дамы их круга соблюдают обряды — герцогиня, г-жа д'Эскарбес, они приглашают духовника на обеды, на вечера. Если узнают про нее, это произведет самое неприятное впечатление. Тут он осекся, поняв, что запутался, и спор на этом замер. Потом два — три воскресенья подряд Нума торжественно водил жену к обедне; Розали доставляла большое удовольствие эта прогулка под руку с мужем. Но это скоро надоело ему, он стал ссылаться на занятость и прекратил всякие проявления благочестия.

Это первое недоразумение не смутило счастья юной четы. Словно стараясь заслужить прощение, молодая женщина стала к мужу еще внимательней; она умело и всегда с ласковой улыбкой подчинялась его желаниям. Может быть) она была уже не так слепа, как в первые дни, и смутно предчувствовала то, в чем не решалась себе признаться, но, несмотря ни на что, была счастлива, ибо хотела быть счастливой, ибо еще пребывала в том блаженном состоянии, в каком после свадьбы находятся молодые женщины, впервые познавшие, что такое брак для их женской жизни, и еще не освободившиеся от своих девичьих грез, от своей девичьей неуверенности — этих обрывков белого тюля со свадебного платья. Но пробуждение неизбежно должно было наступить. Для нее оно оказалось ужасным и внезапным.

В один из летних дней — летом они вместе с ее родными жили в имении Ле Кенуа, в Орсе, — когда отец и муж по обыкновению уехали утром в Париж, Роаали заметила, что ей не хватает одного образчика в наборе вещей для грудного младенца, а она как раз занималась шитьем этих вещиц. Да, уже приданое для новорожденного! Такой набор можно купить готовым, и притом отличный. Но настоящие матери, в которых рано пробуждается материнский инстинкт, любят сами кроить, шить и, постепенно наполняя картонку детскими вещами, воображать, будто они тем самым ускоряют появление ребенка на свет, будто каждый стежок приближает вождеделенное событие. Розали ни за что на свете не согласилась бы лишиться этой радости, не допустила бы, чтобы кто-то другой приложил руку к огромной работе, за которую она засела уже пять месяцев назад, когда окончательно удостоверилась в том, что ее ожидает счастье. В

Орсе, на скамейке, где она работала под развесистым американским кленом, разбросаны были чепчики, которые примерялись на сжатый кулак, крошечные фланелевые платица, лифчики и рубашечки с прямыми рукавами, и все это словно предугадывало живые, еще неловкие движения детской головки, ручек, ножек... И как раз одного образчика и не хватало.

— Пошли горничную, — говорила ей мать.

— Горничную, вот еще!.. Да разве она сумеет?.. Нет, нет, я сама поеду... Куплю все, что нужно, еще до полудня... А потом заеду домой, свалюсь Нуме как снег на голову и съем половину его завтрака.

Мысль об этом холостячком завтраке вдвоем с мужем в их наполовину нежилой квартире на улице Скриба, где портьеры были сняты, мебель стояла в чехлах, забавляла ее, как неожиданное приключение. Роаали закончила свои дела, и сейчас, поднимаясь по оголенной на лето лестнице их парижского дома, она даже посмеивалась про себя и, осторожно всовывая ключ в замок, чтобы прийти совсем неожиданно, думала: «Я немножко запоздала... Он уже позавтракал».

И действительно, в столовой оставались объедки маленького изысканного завтрака на два прибора; за столом расположился лакей в клетчатой домашней куртке, он доедал и допивал остатки. Сперва она заметила только, что опоздала и что завтрак вдвоем уже не состоится. Вольно же ей было задерживаться в магазине, переходить от прилавка к прилавку, разглядывать все эти красивые вышитые кружевные тряпочки!

— Барин уже ушел?

Ее еще не успело поразить смущение лакея, не знавшего, что сказать, и внезапная бледность его широкой пахальной рожи с длинными бакенбардами. В этом она усмотрела только волнение слуги, которого хозяйка застала на месте преступления. Однако ему пришлось сказать, что барин еще дома, «что он сейчас занят... и не скоро освободится». Но как долго он все это бормотал, как дрожали у него руки, когда он убирал со стола грязную посуду и ставил чистый прибор для хозяйки!

— Он завтракал один?

— Да, барыня... То есть... с господином Бомпаром.

Взгляд ее упал на черную кружевную накидку, небрежно свисавшую со спинки стула. Мошенник-лакей тоже взглянул на кружево, их взгляды встретились, и тут точно вспышка молнии озарила ее сознание. Она молча устремилась вперед, пробежала через маленькую приемную прямо к двери кабинета, распахнула ее и без чувств упала на пол.

Если б вы видели ту женщину! Потрепанная сорокалетняя блондинка с красноватой сетью жилок на щеках, с тонкими губами, с морщинистыми,

словно старая лайковая перчатка, веками; под глазами темные круги — следы жизни, растроченной на любовные утехы, квадратные плечи, неприятный голос. Но она была великосветская дама. Маркиза д'Эскарбес! А южанину это заменяет все, герб заслоняет женщину. Расставшись с мужем после скандального процесса, порвав со своей семьей и домами в Сен-Жерменском предместье, г-жа д'Эскарбес перешла на сторону империи, открыла политический и дипломатический салон с едва уловимым полицейским душком, который посещали без жен тогдашние знаменитости. Два года она занималась интригами, приобрела сторонников, влиятельных друзей и, наконец, решила подать на обжалование своего дела. Руместан выступал ее защитником в первой инстанции, не мог уклониться от участия и во втором процессе. Правда, он несколько колебался — слишком уж афишировала маркиза свои новые политические взгляды. Но эта дама нашла к нему подход, который очень уж льстил тщеславию адвоката, и он сложил оружие. Теперь они виделись каждый день, то у него, то у нее: приближалось слушанье дела, и они вели его, так сказать, по двойной бухгалтерии и убыстренными темпами.

Это ужасное открытие едва не убило Розали — такой страшный удар нанесло оно ее женской чувствительности, обострившейся из-за того, что она собиралась стать матерью и в ней бились теперь два сердца, страдали два существа. Ребенок погиб, мать выжила. Но, придя через три дня в сознание и обретя вновь память и способность терзаться воспоминаниями, она разразилась потоком таких горьких слез, что их, казалось, никак нельзя было остановить и осушить.

Когда же она перестала оплакивать измену мужа и друга, то один вид пустой колыбельки, где под голубоватым кружевным пологом лежало единственное сокровище — сшитые ею детские вещички, — один этот вид исторгал у нее не крики, не жалобы, а новые потоки слез. Бедный Нума сам был близок к отчаянию. Надежда на рождение маленького Руместана, «старшего сына», которому в провансальских семьях придается особое значение, погибла, исчезла по его вине. Перед ним было бледное женское лицо с выражением полной отрешенности, горе со стиснутыми зубами и глухими рыданиями, разрывавшими ему сердце и так непохожими на те поверхностные, грубоватые проявления чувства, которым предавался он, сидя на кровати, в ногах своей жертвы, и тараша на нее полные слез глаза.

— Розали... Послушай, не надо!..* — бормотал он дрожащими губами, не находя других слов, но как выразительны были эти «Послушай, не надо!..» Он произносил их с южным акцентом, легко усваивающим жалостные интонации. За ними так я слышалось: «Да не огорчайся же,

бедная моя глупышка!.. Стоит ли? Разве это помешает мне любить тебя?»

И он, правда, любил ее — настолько, насколько способна была к длительному чувству его легковесная натура. Никакой другой женщины не хотел бы он видеть хозяйкой своего дома, ни от кого другого не хотел бы принимать заботы и ласки. Часто он простодушно признавался: «Мне нужно, чтобы подле меня был преданный человек». И он отдавал себе полный отчет в том, что вдесь преданность была самая полная, самая ласковая, о какой только можно было мечтать. Мысль, что он мог лишиться ее, приводила его в ужас. Разве с его стороны это не было любовью?

Розали — у вы — представляла себе любовь совсем иначе. Жизнь ее была разбита, идол повержен, доверие навеки утрачено. И все же она простила. Простила из жалости, как мать уступает ребенку, который плачет, вымаливая прощение. Простила еще ради того, чтобы сохранить незапятнанным их имя, имя ее отца, которое загрязнил бы скандал развода, и еще потому, что родные считали ее счастливой и она не решалась отнять у них иллюзии. Правда, благородно даровав прощение, она предупредила мужа, чтобы он не рассчитывал на него вторично, если еще раз нанесет ей оскорбление. С этим должно быть покончено навсегда, иначе — разрыв жестокий, решительный, открытый. В тоне и взгляде, которыми ему это было дано понять, женская гордость торжествовала над всеми приличиями и условностями.

Нума уразумел, поклялся, что ничего подобного не повторится, и это было у него искренне.

Он содрогался при мысли, что рисковал своим счастьем, рисковал покоем, которым так дорожил ради кратковременного удовольствия, ласкавшего лишь его тщеславие. Он даже почувствовал некоторое облегчение, избавившись от своей важной дамы, костлявой маркизы, которая — не будь герба — нужна была ему не больше «старожилки для всех» из кафе Мальмюса, избавившись от необходимости писать письма, назначать свидания, от всей этой утонченной сентиментальной чепухи, так не подходившей к его обычной бесцеремонности. И это освобождение он праздновал почти так же радостно, как милость жены, как вновь обретенный внутренний мир.

И счастлив он был совсем как прежде. Внешне в их жизни ничто не изменилось. Тот же вечно накрытый стол, те же неизменные празднества и приемы, на которых Нума пел, декламировал, распуская павлиний хвост и даже не подозревая, что рядом с ним широко открыты и все видят прекрасные глаза, прозревшие от настоящих слез. Теперь она распознала, чего стоит ее великий человек, увидела, что он весь состоит из жестов и

слов, что у него могут быть хорошие, великодушные порывы, но что порывы эти недолговечны, что в них главное — прихоть, позерство, кокетливое желание понравиться. Она осознала, как поверхностна его натура, что ему чужды какие бы то ни было твердые убеждения, равно как и глубокое неприятие чего-либо. И она страшилась, как для себя, так и для него самого, этой слабости, замаскированной пышными словами и звучным голосом, слабости, которая возмущала ее и вместе с тем привязывала к нему, ибо женщина, изжив свою любовь к мужчине, часто сохраняет к нему материнское чувство, на которое и опирается ее преданность. Всегда готовая отдать себя, пожертвовать собой, несмотря на его неверность, она втайне боялась лишь одного: «Только бы он опять всего не испортил».

Благодаря присущей ей проницательности Розали очень скоро заметила, как изменяются политические взгляды ее мужа. В его отношениях с Сен-Жерменским предместьем произошло явное охлаждение. Светло-желтый жилет старика Санье и его булавка для галстука, изображавшая королевскую лилию, уже не вызывали в нем бывшего почтения. Он считал, что сей светлый разум несколько помутнел. В Палате заседала лишь его тень, сонная тень, отлично олицетворявшая легитимизм вообще, его отечное оцепенение, походившее на смерть... Так постепенно эволюционировал Нума, приоткрывая свою дверь вельможам империи, с которыми у него завелись знакомства в салоне госпожи д'Эскарбес, оказавшем на него соответствующее воздействие. «Присматривай за своим великим человеком... по-моему, он гнет куда-то в сторону», — сказал советник дочери как-то после обеда, за которым адвокат остроумно потешался над партиен Фросдорфа, сравнивая ее с деревянным конем Дон Кихота, пригвожденным к месту в то время, как сидящий на нем всадник с завязанными глазами воображает, что мчится в лазурном пространстве.

Ей не пришлось долго расспрашивать его. Как бы он ни скрытничал, придуманные им лживые отговорки были до того призрачны, что сразу выдавали его, да он и не старался сделать их посложнее и потоньше, чтобы придать им правдоподобие. Как-то утром, зайдя к нему в кабинет и застав его погруженных в составление какого-то письма, она тоже склонила голову над бумагой:

— Кому ты пишешь?

Он начал что-то бормотать, стараясь придумать благовидное объяснение, но, насквозь пронзенный ее взглядом, властным, как сама совесть, поддался вдруг порыву вынужденной искренности. Это было письмо к императору, по стилю убогое и вместе с тем напыщенное, как

речь судейского, машущего на трибуне широкими рукавами адвокатской тоги; в письме этом он принимал предложенный ему пост члена Государственного совета. Начиналось оно так: «Будучи южанином-вандейцем, воспитанным в духе монархизма и преклонения перед нашим прошлым, я полагаю, что не изменил бы чести своей и совести...»

— Такого письма ты не пошлешь! — решительно заявила она.

Сперва он вспылел, заговорил с ней грубо и высокомерно, как настоящий буржуа из Апса, спорящий со своей женой. Зачем она вмешивается не в свое дело? Что она понимает? Разве он обсуждает с ней фасон шляпки или нового платья? Он гремел, словно на судебном заседании. Розали спокойно, почти презрительно молчала: пускай произносит свои грозные слова — все это лишь осколки воли, уже разбитой, уже сдавшейся на ее милость. Неуравновешенных людей только утомляют и обезоруживают подобные вспышки, заранее обрекая их на поражение.

— Ты не пошлешь такого письма... — повторила она. — Это был бы обман, измена всей твоей жизни, всем твоим обязательствам...

— Обязательствам?.. Перед кем?..

— Передо мной... Вспомни, как мы с тобой познакомились, как ты покоришь мое сердце своим возмущением, своим благородным негодованием по поводу имперского маскарада. Да дело даже не в твоих убеждениях, — меня привлекла к тебе прямая, честная линия поведения, воля человека, которым я в тебе восхищалась...

Он пытался защищаться. Что ж, он должен всю жизнь прозябать в этой заморозившейся партии, неспособной к действию, в этом засыпанном снегом лагере? Да к тому же вовсе не он пришел к империи, — империя пришла к нему. Император — прекрасный человек, полный творческих замыслов, далеко превосходящий все свое окружение... Но все это были доводы перебежчика. Розали отвергала их один за другим, доказывая ему, что эта его эволюция была бы не только вероломством, но и плохим расчетом.

— Да разве ты не видишь, в какой все эти люди тревоге, как они ощущают, что почва под ними непрочная, что она колеблется? Малейший толчок, один сорвавшийся камень — и все обрушится... И в какую пропасть!

Она углубляла и уточняла свои доводы, подводила итог всему, что до сих пор молча выслушивала и обдумывала, всем послеобеденным беседам, когда мужчины, собравшись в тесный кружок, предоставляют своим женам — умным или глупым — вести банальный дамский разговор, который

зачастую не удовлетворяет и дам, несмотря на животрепещущую тему — туалеты и светское злословие. Руместан изумлялся: «Ну и бабенка! Откуда она всего этого набралась?» Он не мог прийти в себя от удивления, что в ней оказалось столько ума. И вот с той же поразительной гибкостью, которая порой так привлекает в склонных ко всяким крайностям натурах, он мгновенно совершил полный поворот: обхватил руками эту столь рассудительную и в то же время столь юную и прелестную головку и принялся целовать милое личико Розали.

— Ты права, сто раз права... Надо написать все наоборот...

Он уже собрался разорвать свой черновик, но первая фраза ему очень нравилась; ее можно было оставить, несколько изменив, — например, вот так: «Будучи южанином-вандейцем, воспитанный в духе монархизма и преклонения перед нашим прошлым, я полагаю, что изменил бы чести своей и совести, если бы принял пост, который Ваше величество...»

Этот отказ, учтивый и вместе с тем твердый, был опубликован в легитимистских газетах и сразу создал Руместану особое положение, сделал его имя синонимом неподкупной верности принципам. «Этого по швам не распорешь!» — такова была в «Шаривари»^[8] подпись под забавной карикатурой, где изображалось, как представители всех партий стараются вырвать друг у друга из рук тогу прославленного адвоката. Через некоторое время империя потерпела крушение. И когда начались выборы в Национальное собрание, которое должно было заседать в Бордо, Нуме Руместану пришлось выбирать между тремя южными департаментами, которые хотели отдать ему свои голоса только ив-ва этого письма. Его первые выступления, полные напыщенного красноречия, вскоре сделали его главарем всех правых. Правда, он был всего лишь разменной монетой старика Санье, но теперь, когда все нивелируется, на безрыбье и рак — рыба, и новый лидер имел на скамьях Палаты не меньший успех, чем тот, который выпадал на его долю на диванчиках кафе Мальмюса.

Теперь Нума был генеральным советником своего департамента, кумиром всего Юга; помогал ему и высокий пост, который занял его тесть, — после падения империи тестя назначили первым председателем апелляционного суда. Было ясно, что рано или поздно Нума получит портфель министра. А пока — великий человек для всех, кроме своей жены, — он красовался в ореоле юной славы то в Париже, то в Версале, то в Провансе, любезный, простой в обращении, добродушный. Когда он разъезжал, ореол находился при нем, но он охотно оставлял его в картонке, как парадный цилиндр.

IV. ТЕТУШКА С ЮГА ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Дом Порталей, где проживает великий гражданин Апса, когда приезжает в Прованс, считается одной из местных достопримечательностей. Он фигурирует в путеводителе Жоанна наряду с храмом Юноны, цирком, древним театром, башней Антонинов — уцелевшими памятниками римского господства, которыми город гордится и с которых он заботливо стирает пыль. Но, показывая приезжим старинное провансальское жилье, их заставляют любоваться отнюдь не тяжелыми сводчатыми воротами, утыканными огромными выпуклыми шляпками вбитых в них гвоздей, не высокими окнами, на которых щетинятся частые узорчатые решетки под торчащими наконечниками копий. Внимание приезжих обращают только на балкон второго этажа, на узкий балкон с железными перилами, выступающий над парадной дверью. С этого балкона Руместан показывает народу и держит речь, когда приезжает в АПС. И весь город может подтвердить: достаточно было мощной глотки и жестов оратора, чтобы балкон, некогда прямой, как линейка, приобрел прихотливый изгиб, своеобразную пузатость.

— Эй! Глянь! Наш Нума железо скручивает!

Они произносят эту фразу, так страшно выпучив глаза и так подчеркивая звук «р» — «скррручивает», что ни у кого не остается и тени сомнения.

В Апсе живет народ горделивый, добродушный, но до крайности впечатлительный и болтливый, и все эти свойства как бы воплощает в себе тетушка Порталь, типичнейшая представительница местной буржуазии. Высокая, краснолицая, словно вся кровь у нее отлила к дряблым щекам цвета винной гущи, не соответствующего белизне ее кожи, в молодости тетушка Порталь была блондинка, о чем можно судить по белоснежной ее шее и лбу, на котором взбиты холеные, матово-серебристые букли, выглядывающие из-под чепца с сиреневыми лентами. Лиф у нее застегнут вкривь и вкось, но стан у нее все же величественный, улыбка приятная — такой предстает перед вами госпожа Порталь в полусвете своей гостиной с герметически закрытыми окнами, как это принято на Юге. Она точно сошла со старинного семейного портрета; ее можно принять за старую маркизу Мирабо, которой так подходит жить в этом древнем обиталище,

построенном сто лет назад Гонзагом Порталь, главным советником парламента в Эксе. В Провансе еще можно найти такие выразительные фасады у домов и лица у людей, словно минувший век только что вышел из этих высоких резных дверей, но двери, захлопнувшись, прижали подол его юбки в пышных оборках.

Однако стоит вам в разговоре с тетушкой неосторожно высказать мнение, что протестанты вообще не хуже католиков или что Генрих V не так-то скоро взойдет на престол, и старинный портрет яростным рывком выскочит из рамы, вены у него на шее раздуются, рассерженные руки начнут теревить так хорошо уложенные гладкие букли, и весь он загорится гневом, иврыгающим брань, угрозы и проклятья. В городе все хорошо знают приступы этого гнева и помнят некоторые довольно странные его проявления. Как-то на званом вечере у нее в доме лакей уронил уставленный стаканами поднос. Тетушка Порталь поднимает крик, сама себя взвинчивает все более и более громкими упреками и lamentациями и доходит до настоящего бреда — ее негодованию уже не хватает слов, чтобы должным образом излиться. Задыхаясь от невысказанных слов, не имея возможности наброситься с кулаками на благоразумно исчезнувшего слугу, она задирает свою шелковую юбку и зарывается в нее головой, заглушая свое гневное рычание, пряча искаженное яростью лицо и ничуть не смущаясь тем, что гостям выставлены напоказ белые крахмальные панталоны, обтягивавшие ее толстые ноги.

В любом другом месте ее сочли бы сумасшедшей. Но в Апсе, где народ вообще вспыльчивый и взрывчатый, довольствуются тем, что считают г-жу Порталь «голосистой» дамой. И правда: когда вы пересекаете площадь Кавальери в мирные послеполуденные часы, в часы монастырской тишины, нарушаемой лишь трескотней цикад да доносящимися откуда-то гаммами, из-под гулких сводов старинного дома до вас нередко долетают странные восклицания — это почтенная дама понукает и взбадривает свою челядь: «Чудище!.. Убийца!.. Разбойник!.. Святотатец!.. Я тебе руку оторву!.. Я с тебя кожу сдеру!..» Хлопают двери, перила дрожат под высокими, гулкими, выбеленными известкой сводами, кто-то с шумом распахивает окна, словно для того, чтобы выбросить оторванные руки, ноги и головы несчастных слуг, которые, несмотря ни на что, преисправно занимаются своим делом, ибо они давным-давно привыкли к этим ураганам и отлично знают, что это всего лишь манера выразиться, не больше.

В сущности, тетушка была добрейшая женщина; натура у нее была страстная, щедрая, одержимая потребностью нравиться, отдавать всю себя, из кожи вон лезть, потребностью, которая является одной из характерных

черт южного темперамента и которая так пригостила Нуме. После его избрания в депутаты тетка подарила ему свой дом, оставив за собой право жить в нем до самой смерти. И каким праздником бывал для нее всегда приезд парижан, утренние концерты и вечерние серенады под окнами, приемы, визиты, — все то, чем присутствие великого человека наполняло ее одинокую жизнь, утоляло ее жажду суеты и шума! Племянницу Розали она обожала именно потому, что их натуры были столь противоположны, и обожание это еще усиливалось чувством уважения, которое внушала ей дочь пред* седателя Ле Кенуа, первого чиновника судебного ведомства Франции.

Молодая женщина должна была отличаться величайшей снисходительностью и величайшим уважением к семейным традициям, которое она переняла у родителей, чтобы целых два месяца выносить фантазии старухи и утомительные вспышки ее беспорядочного воображения, вечно взбудораженного и столь же неутомимого, сколь ленивым было ее тело. Сидя в вестибюле, прохладном, как внутренний двор мавританского дома, дыша спертым воздухом непроветриваемого жилья, Розали, как истая парижанка, неспособная долго сидеть сложа руки, что-нибудь вышивала и часами слушала сплетни и секреты, которые поверяла ей толстуха, развалившись в кресле напротив нее. Почтенная дама ничем не была занята: пустыми руками легче размахивать. Не переводя дыхания, пережевывала она в который раз хронику города, истории, случившиеся с ее горничными, с кучерами, и в зависимости от настроения изображала их то совершенствами, то чудовищами, всегда страстно защищала одного и так же страстно нападала на другого, а когда более или менее реальные поводы для негодования иссякали, громоздила против неугодного ей в данный момент лица ужасающие, романтические, мрачные и кровавые обвинения, которыми голова ее была набита, словно «Анналы Общества по распространению веры». К счастью, Розали, достаточно пожившая со своим Ну мой, привыкла к подобному словоизвержению. Оно не мешало ей думать о своем. Разве что мелькала у нее мысль, как это она, такая сдержанная, осмотрительная, могла вступить в семью комедиантов, которые словно обволакивали себя фразами и не скупилась на жесты. И только если рассказанное теткой бывало уж слишком неправдоподобно, она перебивала ее рассеянно:

— Ну, что вы, тетя!

— Да, верно, ты права, детка. Я, пожалуй, несколько преувеличиваю.

Но суматошное воображение тетушки вскоре вновь устремлялось на охоту по столь же нелепому следу, с той же выразительной — трагической

или шутовской — мимикой, отчего на широком лице ее все время сменялись обе маски античного театра. Она успокаивалась только для того, чтобы рассказать о своем единственном путешествии в Париж и о чудесах пассажа Сомон. Она остановилась в маленькой гостинице, которую особенно любили торговцы из Прованса, но в которую почти не было доступа свежему воздуху, так как двери и окна ее находились под стеклянной крышей, нагревавшейся, как теплица. Во всех рассказах почтенной дамы о Париже пассаж выступал в качестве главного культурного центра элегантной, светской части города.

Единственное, что придавало остроту этим нудным и бессодержательным разговорам, был необыкновенно забавный, странный французский язык, в котором обветшалые шаблонные выражения, засушенные цветы устаревшей риторики смешивались с удивительными провинциализмами, ибо г-жа Порталь терпеть не могла народный язык, местное наречие, красочное и звучное, которое растекается над синевой моря эхом древней латыни и на котором говорят на Юге только крестьяне и городская беднота. Она принадлежала к той провансальской буржуазии, которая слово *recaire* произносит на французский лад *pichere*^[9] и воображает, будто говорит правильно. Когда кучер Меникль (Доминик) приходил и простодушно заявлял: «*V ou baia de civado an chivaou*»,^[10] — хозяйка с величественным видом замечала: «Не понимаю. Говорите, друг мой, по-французски». Тогда Меникль тоном школьника повторял: «*Je vais bailler de civade au chiuaw*».^[11] «Хорошо. Теперь я поняла», — говорила хозяйка. И кучер удалялся в полной уверенности, что говорил по-французски.

Тетушка Порталь коверкала слова не по своей прихоти, а как было принято в данной местности вообще — произносила «делижанс» вместо «дилижанс», «анедот» вместо «анекдот», «регитр» вместо «регистр». Наволочка была для нее «наподушечник», тент превращался в «тенник», грелка для ног, без которой она не обходилась даже летом, — в «грейку». Она не плакала — она «впадала в слезы», и если даже бывала «обтяжелевши», то все же обходила весь город в «какой-нибудь полчаса». И вся эта речь уснащалась словечками, лишеными определенного значения, к которым постоянно прибегают провансальцы, этой шелухой, которой они пересыпают фразы, чтобы уточнить, подчеркнуть или усилить интонацию.

Презрение важной дамы-южанки к местному наречию распространялось на местные традиции и обычаи, даже на одежду. Как тетушка Порталь не хотела, чтобы ее кучер говорил по-провансальски, так

же не стала бы она терпеть у себя в доме служанки, носящей большой бант в волосах или арльскую косынку. «Мой дом не *мае* и не деревенская прядильня», — говорила она. Но «шляпу носить» она им тоже не разрешала. В Апсе шляпа есть отличительный иерархический признак буржуазного происхождения. Только он дает особе женского пола право именоваться «сударыня», женщинам из простонародья в этом звании отказано.

Нужно видеть, с каким высокомерием жена отставного капитана или чиновника мэрии, получающего восемьсот франков в год, которая сама ходит на рынок, но гордо носит огромную шляпу, завязанную ленточками под подбородком, разговаривает с богатой фермершей из Кро, у которой голова туго повязана полотняной косынкой с настоящими старинными кружевами. В доме Порталей дамы носят шляпки уже более ста лет. От этого тетушка была полна пренебрежения к простонародью, что послужило поводом к ужасающей сцене, устроенной ею Руместану через несколько дней после празднества в амфитеатре.

Это случилось в пятницу утром во время завтрака. Завтрак — как полагалось на Юге — состоял из самой свежей снеди, пестрой и приятной на вид, впрочем, строжайше постной, ибо тетушка Порталь ревностно соблюдала все церковные предписания: на скатерти стояли блюда и тарелки с крупными зелеными стручками перца, кроваво-красным инжиром, миндалем и ломтями дыни, напоминавшими лепестки гигантской розовой магнолии, пирогами с анчоусами и белоснежными булочками, какие выпекают только в Провансе. Тут же стояли кувшины холодной воды и бутылки сладкого вина. За окнами трещали цикады и струились лучи солнца; один на них широкой светлой полосой проскользнул в полуоткрытую дверь просторной столовой, сводчатой и гулкой, как монастырская трапезная.

Посреди стола на плоской жаровне с углями шипели две чудесные котлеты для Нумы. Несмотря на то, что все католические конгрегации призывали на него благословение божие и неустанно поминали его в своих молитвах, а может быть, именно по этой причине, великий гражданин Апса имел от епископа особое разрешение, и единственный человек во всей семье ел скоромное. С полнейшей душевной ясностью разрезал он своими сильными руками горячее кровоточащее мясо, меньше всего заботясь в данный момент о жене и свояченице, которые, подобно тетушке Порталь, довольствовались инжиром и арбузами. Розали к этому уже привыкла: положенные два дня поста в неделю были частью ее ежегодной повинности наряду с солнцем, пылью, мистралем, москитами, тетинными рассказами и

воскресной службой в церкви св. Перпетуи. Но Ортанс начинала бунтовать: ее молодой желудок властно заявлял о своих правах. И только авторитет старшей сестры затыкал ей рот, пресекая протесты балованного ребенка, которые переворачивали вверх дном все представления г-жи Порталь о воспитании и хорошем поведении молодых девиц. Ортанс покорно жевала травку, комически тараща глаза, жадно втягивая ноздрями аромат котлетки, которую уписывал Нума, и шептала Розали:

— Необыкновенно удачно получилось! — Утром я каталась верхом... У меня волчий аппетит.

Она еще не сняла амазонки, которая удивительно шла к ее стройной гибкой фигурке, так же как мальчишеский воротничок — к ее упрямому неправильному личику, раскрасневшемуся от быстрой езды на вольном ветру. Но утренней прогулки ей показалось мало:

— Кстати, Нума... Когда же мы поедем к Вальмажуру?

— Какой такой Вальмажур?.. — вопросом на вопрос ответил Руместан; из его ветреной головы уже изгладилась память о тамбуринщике. — А, да, правда, Вальмажур!.. Я уж и позабыл... Какой артист!

Теперь он сам себя подхлестывал; в его воображении возникали аркады цирка, где вилась фарандола под глухие ритмичные удары тамбурина, и одно воспоминание о них возбуждало его так, словно они гудели где-то у него под ложечкой. Внезапно он принял решение.

— Тетя Порталь! Разрешите воспользоваться вашей каретой... Мы поедем прямо после завтрака.

Брови тетки нахмурились, из-под них засверкали глаза, вытаращенные, словно у японского божка.

— Каретой?.. Ай-ай-ай! Зачем, Нума? Не повезешь же ты своих дам к этому Туту-пампаму!

«Туту-пампам» так хорошо передавало игру на обоих инструментах — дудочке и тамбурине, что Руместан покатился со смеху. Но Ортанс принялась горячо защищать старинный провансальский тамбурин. Из всего, с чем она познакомилась на Юге, самое сильное впечатление произвела на нее эта музыка. К тому же было бы просто некрасиво не сдержать слова, данного этому славному малому.

— Великий артист, Нума, — это твои же собственные слова!

— Да, да, ты права, сестричка... Надо к нему поехать...

Тетушка Порталь просто задыхалась: она не могла привыкнуть к мысли, что такой человек, как ее племянник, депутат, беспокоит себя ради каких-то мужиков, хуторян, людей, которые испокон веков играли на

флейте во время деревенских праздников. Она негодующе и презрительно выпячивала губу, передразнивала жесты музыкантов, растопыривала пальцы одной руки над воображаемой флейтой, а другой отбивала по столу такт. Везти барышню к таким людям!.. Только Нуме это может прийти в голову... К Вальмажурам! Мать божия, царица небесная!.. Разгорячившись, она стала приписывать им всевозможные преступления, изображать их, как вошедшее в историю семейство кровавых чудовищ, подобно семейству Трестальонов,^[12] но вдруг заметила, что у противоположного конца стола, прямо перед ней, стоит Меникль, земляк Вальмажуров, и слушает ее с перекошенным от изумления лицом. Тотчас же она необычайно грозным голосом повелела ему живее «перемениться» и заложить карету к двум часам «без одной четверти». Все тетушкины приступы ярости тем и кончались.

Ортанс отшвырнула салфетку и бросилась целовать толстуху. Она смеялась, прыгала от радости.

— Скорее, скорее, Розали!..

Тетя Порталь взглянула на племянницу.

— Ах, боже мой, Розали! Надеюсь, ты-то не станешь мотаться по дорогам с этой детворой!

— Нет, нет, тетушка... Я останусь с вами, — ответила молодая женщина, втайне потешаясь над тем, что из — за своего неутомимого внимания к тетке, из-за своей любезной уступчивости она в конце концов оказалась в этом доме на ролях пожилой родственницы.

К назначенному часу Меникль был готов. Но ему велели ехать вперед и ждать у античного амфитеатра, а Руместан со свояченицей пошел пешком. Девушка гордилась тем, что осматривает Апс об руку с его великим гражданином; ей любопытно было видеть дом, где он родился, отыскивать вместе с ним на улицах следы его детства и ранней юности.

Было время послеполуденного отдыха. Город спал, опустевший, безмолвный, убаюканный мистралем, который оведал его, словно гигантским веером, освежая, взбадривая знойное провансальское лето. Но дул он так сильно, что трудно было идти, особенно по главной улице, где ему ничто не препятствовало, где он мог мчаться, взвихриваясь, и потом кружиться, кружиться по всему городу, мыча, словно выпущенный на волю бык. Ортанс шла, уцепившись обеими руками за руку спутника, ослепленная, задыхающаяся и все же охваченная каким-то блаженным чувством оттого, что ее словно поднимают, увлекают за собой порывы мистраля, налетающие, как волны, с таким же ревом, плачем и так же обдающие ее, но только не брызгами, а пылью. От этих смерчей, где

кружились сухая кожура и семена платанов, от царившего кругом безлюдья приобретала уныло — тоскливый вид широкая улица, усеянная мусором, оставшимся здесь после недавно закончившейся рыночной купли-продажи, — кожурой от дынь, соломой, пустыми корзинами, можно было подумать, что на Юге улицы метет только мистраль. Руместану хотелось поскорее добраться до кареты, но Органс загорелась желанием идти пешком. Дыша с трудом, теряя голову от резких порывов ветра, которые уже трижды обкрутили вокруг ее шляпы синюю газовую вуаль и туго обтянули ей спереди ноги юбкой ее дорожного костюма, она говорила:

— До чего же разные бывают натуры!.. Розали, например, терпеть не может ветра: говорит, что он путает все ее мысли, мешает ей сосредоточиться. А меня, наоборот, ветер возбуждает, опьяняет...

— Меня тоже! — кричал ей в ответ Нума; от ветра глаза его увлажнились, он еле удерживал на голове шляпу. Внезапно остановившись на углу, он вскрикнул:

— Вот моя улица... Здесь я родился!..

Ветер спадал, вернее, перестал так неистовствовать, шум его доносился теперь издали, как доносится в заштиленную гавань грохот прибоя, разбивающегося о волнорезы. Нума указал на незаметный серый домишко, стоявший на довольно широкой, вымощенной острым щебнем улице между обителью урсулинок и старинным барским особняком с каменной инкрустацией на фасаде — гербом и надписью «Дом Рошмор». Напротив домика возвышалось старое бесстильное здание, окаймленное выщербленными колоннами, торсами статуй, надгробными камнями, усеянными римскими цифрами. Над зеленой дверью парадного подъезда стершейся позолотой тускнела надпись «Академия». Тут 15 июля 1832 года появился на свет знаменитый оратор, и в его сухопаром классическом красноречии, в его католических и легитимистских традициях можно было найти немало общего с этим домиком нуждающихся южан, мелких буржуа, зажатым между монастырем и барскими хоромами и смотрящим прямо на провинциальную академию.

Руместан растрогался, как всегда, когда по случайному стечению обстоятельств ему приходилось задуматься о себе и своей судьбе. Давно уже — может быть, лет тридцать — не приближался он к этому месту. И надо же было, чтобы девичий каприз... Его поражала незыблемость вещей. Он узнал на стене след, который оставлял наружный ставень каждый раз, когда он своей детской рукой открывал его, проходя мимо. И тогда стволы колонн, драгоценные каменные подпорки Академии отбрасывали в тех же самых местах свою классическую тень, так же горько пахли олеандры за

решеткой особняка. Он показал Органс узкое окошко, откуда мамаша Руместан знаками подзывала его, когда он возвращался из монастырской школы: «Живей, живей, отец уже вернулся!» А отец ждать не любил.

— Как, Нума, ты не шутишь? Ты учился у монахов?

— Да, сестричка, до двенадцати лет... Когда мне исполнилось двенадцать, тетушка Порталь отдала меня в коллеж Успения божьей матери, самый шикарный в городе пансион, но грамоте-то научили меня как раз капуцины-неучи,^[13] вон в большом темном бараке с желтыми ставнями.

Его и сейчас пробирала дрожь, когда он вспоминал стоявшее под кафедрой ведро с рассолом, в котором мокли ферулы, чтобы их размягченная кожа хлестала больнее, огромный, вымощенный плитками класс, где урок надо было отвечать, стоя на коленях, где ученик так на коленях и тащился к учителю-монаху, когда тот подзывал его для наказания, тащился и то протягивал, то отдергивал руку. А брат-учитель сидел прямой и суровый, и только его черная жесткая сутана поднималась под мышками, когда он замахивался для удара; его прозвали Брат-Поварешка потому, что он подвизался и на кухне. Затем милейший братец издавал «Ух!», кожаный ремень обжигал вымазанные чернилами детские пальчики, и боль врезалась в них острыми булавочными уколами. Органс возмутилась жестокостью этих наказаний, тогда Нума рассказал ей о других, еще более жестоких: например, провинившихся заставляли вылизывать языком только что политые водой плиты пола: пыль превращалась в грязь, от которой саднило нежный язык и небо несчастных ребят.

— Но ведь это ужасно!.. И ты защищаешь этих людей!.. Ты выступаешь за них в Палате!

— Ах, дитя мое!.. Ничего не поделаешь, — политика, — с полнейшей невозмутимостью ответил Руместан.

Они шли по лабиринту темных, узких, как в восточном городе, улочек, где у своих домов на каменном крыльце дремали старухи, потом выходили на другие улицы, уже не такие темные: здесь над мостовой были протянуты хлопавшие на ветру коленкоровые полотнища, на которых крупными буквами было напечатано: «Галантерея», «Ткани», «Обувь».

Так дошли они до места, именовавшегося в Апсе «Малой площадью», залитой размягченным на солнце асфальтом, до этого квадрата, окаймленного закрытыми в этот час и безмолвными магазинами. В скудной тени, отбрасываемой их стенами, храпели чистильщики сапог, положив голову на ящики, раскинув руки и ноги, словно утопленники,

выброшенные на берег сотрясавшим город мистралем. Посередине этой маленькой площади стоял пьедестал для какого-то еще не воздвигнутого памятника. Ортанс пожелала узнать, чьей статуи дожидается этот пустой беломраморный постамент. Руместан несколько смущенно улыбнулся.

— Это целая история! — ответил он и прибавил шагу.

Муниципалитет Апса принял решение воздвигнуть тут его статую, но либералы из газеты «Авангард» решительно осудили такой апофеоз еще ныне здравствующего деятеля, и друзья Нума не решались бросить им вызов. Статуя была, впрочем, уже готова, — видно, дожидались только его смерти, чтобы поставить ее. Конечно, в высшей степени лестно знать, что на другой день после твоей кончины тебе воздадут гражданские почести, что ты испустил дух лишь для того, чтобы вновь восстать в виде мраморной или бронзовой фигуры. Но каждый раз, когда Руместан попадал на это место, пустой цоколь, сверкавший белым мрамором на ослепительном солнце, производил на него впечатление величественного семейного склепа. Впрочем, сейчас его отвлек от похоронных мыслей вид амфитеатра, к которому они только что подошли. Сегодня в древнем цирке не было воскресного оживления, он вновь обрел бесплодную торжественность грандиозной руины. Сквозь запертые решетки виднелись его широкие, сыроватые и прохладные переходы, где местами зияли провалы, где камни осыпались под неумолимой поступью веков.

— Как все это грустно! — говорила Ортанс, сожалея о тамбурине Вальмажура, но Нума и не думал грустить.

Здесь, в амфитеатре, протекли самые счастливые часы его детства, полные радостного оживления. О, эти воскресные бои быков, блужданье у решеток цирка вместе с другими ребятами из бедноты, которые не могли позволить себе истратить десять су на билет! В ярком послеполуденном солнце им лишь издали, словно мираж, маячило запретное зрелище, они старались уловить взглядом то небольшое, чего не скрывали от них толстые стены, — ноги торреро в ярких шелковых чулках, врезавшиеся в песок копыта разъяренного быка, пыль с арены, долетавшую до них вместе с криками, смехом, аплодисментами, мычаньем, рокотом переполненного народом амфитеатра. Желание попасть внутрь пересиливало все. Самые смелые ловили момент, когда сторож отходил, и проскальзывали в цирк между двумя железными стержнями решетки.

— Я-то всегда пролезал! — похвастался просиявший от этих воспоминаний Руместан. Произнесенные им слова определяли всю историю его жизни: удача ему помогала или ловкость, но, как бы узка ни была решетка, провансалец всегда попадал, куда хотел.

— Впрочем, — добавил он со вздохом, — я тогда был тоньше, чем сейчас.

Он с комической грустью перевел взгляд с узких решеток, замыкавших аркады цирка, на широкий белый жилет, расходившийся над его сорокалетним брюшком.

За огромным зданием, укрываясь от ветра и солнца, их ожидала карета.

Меникля пришлось разбудить: он задремал в своей длинной ливрее на козлах между двумя корзинами с провизией. Прежде чем сесть в карету, Руместан издали показал свояченице старинную гостиницу с вывеской: «Пти Сен-Жан, транспортная контора, перевозки пассажиров и грузов». Белые стены гостиницы и широко открытые каретные сараи занимали значительную часть площади перед цирком, загромаждая ее распряженными пыльными таратайками, деревенскими тарантасами на рессорах, с поднятыми оглоблями, торчавшими из-под серых брезентов.

— Посмотри, сестричка, — сказал Руместан, и голос у него дрогнул от волнения. — Вот отсюда я двадцать один год тому назад уехал в Париж. Тогда у нас железной дороги не было. Ехали в дилижансе до Монтелимара, потом на пароходике вверх по Роне... Боже, как я был рад и как в то же время боялся вашего огромного Парижа!.. Было это, как сейчас помню, вечером...

Он говорил быстро, без всякой последовательности, перескакивая от одного воспоминания к другому.

— Ноябрьский вечер, десять часов... Яркий лунный свет... Возницу звали Фук — оригинальная, надо тебе сказать, личность!.. Пока он запрягал, мы с Бомпаром прогуливались взад и вперед... Ты же знаешь Бомпара... Мы уже тогда были большие друзья. Он учился или воображал, что учится, на фармацевта и намеревался присоединиться ко мне в Париже. Мы строили планы, мечтали поселиться вместе, помогать друг другу, чтобы скорее выбиться... А пока что он подбодрял меня, давал мне советы — он ведь был немного старше... Больше всего я боялся показаться смешным. Тетя Порталь заказала мне на дорогу широкое пальто, так называемый «реглан»... А у меня этот реглан тетушки Порталь вызывал некоторые сомнения... И вот Бомпар заставлял меня прохаживаться перед ним, а сам наблюдал. Да, я как сейчас вижу свою тень на стене рядом с собой. А он пресерьезно говорил мне: «Можешь ехать спокойно, мой милый, ты нисколько не смешон...» Ах, молодость, молодость!..

Ортанс начала опасаться, что они так и не выберутся из города: великий человек чуть ли не под каждым камнем находил повод задержаться

и покраснобайствовать. И она стала легонько подталкивать его к карете:
— Давай садиться, Нума... Поболтать можно и дорогой...

V. ВАЛЬМАЖУР

Весь путь от Апса до горы Корду занимает не более двух часов, особенно когда ветер дует в спину. Карета катилась легко: в нее впряжены были две старые камаргские лошадки, а сзади подгонял мистраль — он встряхивал ее, подталкивал, то делал глубокие вмятины в ее кожаном верхе, то раздувал его, словно парус. Здесь он не рычал, как вокруг городского вала и под сводами амфитеатра. Здесь он свободно, без всяких преград мчался по необъятной, бугристой равнине, где отдельные хуторки, уединенные фермы, серые среди пышного букета зелени, казались случайно занесенными сюда домами из какой-то развеянной бурей деревни. Он клубами дыма поднимался к нему, темными, быстро тающими полосами проносился по волнующимся высоким хлебам, оведал масличные рощи, где от его дуновенья отливала серебром листва, внезапными резкими порывами поднимал светлые облака пыли, хрустевшей под колесами, клонил к земле тесные ряды кипарисов и испанского камыша с длинными шелестящими листьями, которые создают иллюзию, будто у обочины дороги журчит ручей. Когда же он, словно запыхавшись, на минуту стихал, тотчас же вступал в свои права тяжкий летний зной, африканский зной, поднимавшийся с раскаленной земли, но его очень скоро рассеивал тот же здоровый, бодрящий вихрь, несущий свою блаженную свежесть до самого горизонта, до невысоких сероватых, тусклых холмов, окаймляющих провансальские дали и сверкающих волшебными переливами красок в часы заката.

Навстречу им попадалось не очень много народу. Иногда проезжали тяжелые дроги с каменоломен, тащившие глыбы тесаного камня, ослепительно белого в солнечном свете, проходила старая крестьянка из Виль де Бо, согнувшаяся под тяжестью объемистого тюка с ароматическими травами, появлялся нищенствующий монах в капюшоне, с сумой на спине, длинными четками на поясе, свисавшими вдоль бедер, с лоснившейся, словно камешек в русле Дурансы, потной крепкой головой. А то встречалась таратайка, до отказа набитая женщинами и девушками, возвращавшимися из паломничества в Сент — Бом или Нотр-Дам-де-Люмьер, нарядные платья, черные очи, взбитые прически, развевающиеся по ветру яркие банты. И вокруг всего этого, вокруг тяжелого труда, вокруг нищеты, вокруг суеверий мистраль создавал некий ореол здоровья и благодушия! Он подхватывал и уносил вдаль все эти «Но! Тпру!», громкие

крики возчиков, звон бубенцов, звон синих стеклянных колец, которыми украшались лошади, тягучее, монотонное подвывание нищего монаха, звонкие псалмы паломников и, наконец, народную песенку, которую Руместан, развеселившийся на вольном воздухе родины, принялся распевать во весь голос, сопровождая свое исполнение широкими плавными жестами, и при этом так работал руками, что они высовывались наружу из дверец кареты:

Солнце яркое Прованса!
Твой дружек, шалун...

Вдруг он резко оборвал пение.

— Э, Меникль, Меникль!

— Что прикажете?

— Что это там за хибарка, на том берегу Роны?

— Это, господин Нума, башенка королевы Жанны.

— Ах, да, правда!.. Припоминаю... Бедная башенка! Она до того развалилась, что ее уже больше не называют башней!

И он стал рассказывать Органс историю королевской башни — эту провансальскую легенду он знал досконально... Развалившаяся, побуревшая башня на высоком холме относилась еще к эпохе сарацинского вторжения, но все же она была моложе аббатства, чьи развалины виднелись неподалеку от нее: это был кусок наполовину обвалившейся стены с длинным рядом узких оконниц, за которыми синело небо, и широким, суживающимся кверху порталом. Нума показывал своей спутнице тропинку на каменистом спуске, по которой в дни былые монахи спускались к пруду, сверкавшему, как серебряная чаша, ловить карпов и угрей к столу настоятеля. Мимоходом он заметил, что монахи, чревоугодливые отшельники, любили селиться в местах, где природа пощедрее: помыслами они «возносились горе», но это не мешало им спускаться на землю, чтобы взять десятину с природы и с населения окружающих деревень... Ах, провансальское средневековье, блаженное время труверов и Судов любви!.. Теперь терновник прорастал между плитами, по которым некогда влачили шлейфы всевозможные Стефаньеты и Азалансы, а по ночам белохвостые орланы и совы ухали там, где пели трубадуры. Но разве не витал надо всем этим светлым ландшафтом альпийских предгорий легкий аромат игривого изящества, итальянского жеманства, напоминавший легкое дрожание струн лютни или виолы,

тающее в прозрачном воздухе?

Нума загорался вдохновением, забывая, что его слушает только свояченица да синяя кучерская ливрея Меникля. После шаблонных речей на банкетах и на заседаниях научных обществ ему так приятно было отдаться одной из тех искусных блестящих импровизаций, которые делали его достойным потомком веселых трубадуров Прованса!

— А вот и Вальмажур! — объявил кучер и, нагнувшись, показал кончиком кнута куда-то вверх.

Они съехали с большой дороги и петляли теперь по склонам горы Корду, по узкой дороге, скользкой из-за росших на ней кустиков лаванды; они ехали прямо по ним, и из-под колес струился приторный запах. На полпути до вершины горы, на небольшом плато у подножия черной, выщербленной башни ярусами лепились крыши фермы. Тут жили Вальмажуры на протяжении многих лет в том месте, где когда-то высился замок, название которого стало их фамилией. Кто знает? Быть может, эти крестьяне происходили от властителей Вальмажура, состоявших в родстве с графами Прованскими и с домом Бо.^[14] Это предположение, довольно легкомысленно высказанное Руместаном, пришлось как нельзя более по вкусу Органс: таким образом легко объяснялась благородная осанка тамбуринщика.

Они обменивались этими соображениями, сидя в коляске, а Меникль у себя на козлах слушал и недоумевал. Фамилия Вальмажур была здесь очень распространена: были Вальмажуры верхние и Вальмажуры нижние, смотря по тому, обитали они в долине или на горе. «Выходит, они все из знатных господ!..» Лукавый провансалец не стал, однако, высказывать своих сомнений. Пока их карета медленно поднималась среди оголенного, но величественного ландшафта, вдохновенные речи Руместана перенесли девушку в самый настоящий исторический роман, в красочное сновидение о минувших веках. И когда Органс заметила наверху крестьянку, сидевшую вполоборота к ним на контрфорсе у подножия руин и разглядывавшую подъезжающих из-под приставленной к главам ладони, она представила себе, что это принцесса в остроконечном головном уборе, сидящая на своей башне в такой именно позе, в какой принцесс изображали на картинках.

Впечатление это не сразу рассеялось даже после того, как прибывшие, выйдя из кареты, очутились лицом к лицу с сестрой тамбуринщика, занятой плетением ивовых корзинок для шелковичных червей. Она не встала, хотя Меникль еще издали крикнул ей: «Эй, Одиберта! Тут гости к твоему брату». На ее тонком, правильном лице, удлиннном и зеленовато-смуглом, как маслина на ветке, не изобразилось ни радости, ни удивления;

оно сохраняло сосредоточенность, сдвинувшую ее густые черные брови, как-то очень прочно соединившую их в одну прямую линию под упрямым лбом. Руместан, слегка смущенный этой сдержанностью, представился:

— Нума Руместан... Депутат...

— Я вас хорошо знаю, — серьезно сказала она и, положив работу рядом с собой, добавила — Заходите... Брат сейчас придет.

Теперь, когда хозяйка замка стояла перед ними, эна выглядела уже менее внушительно. Она была очень мала ростом, коротконога. Да и ходила она неуклюже, вразвалку, а между тем головка у нее была изящная, ей очень шли арльский чепчик и широкая кисейная косынка с голубоватыми складками. Гости вошли в дом. Внутри это крестьянское жилье имело величественный вид: оно прислонилось к развалинам древней башни; над входной дверью, защищенной от москитов навесом из тростника, потрескивавшего на солнце, и широкой полотняной сеткой, был высечен на камне рыцарский герб. В бывшее караульное помещение замка с белыми стенами, сводчатым потолком и высоким старинным камином свет проникал только сквозь позеленевшие стекла да сквозь прозрачную занавеску, висевшую в дверном проеме.

В полумраке можно было разглядеть похожее на саркофаг корыто для теста, на котором были вырезаны цветы и колосья, а над ним большую, редкого плетенья корзину с мавританскими бубенчиками — в таких корзинах на всех провансальских фермах сохраняется, не черствея, хлеб. Убранство просторной комнаты довершали картинки духовно-нравственного содержания, изображавшие святых Марфу, Марию и Тараска, старинная лампа красной меди, висевшая на белом деревянном блоке, который покрыл красивой резьбой какой-нибудь пастух, сосуды для соля и для муки по обе стороны камина да морская раковина, в которую трубят, сзывая скот, — ее перламутр мягко поблескивал на вышитой дорожке, покрывавшей каминную доску. Середину комнаты занимали длинный стол, скамьи и табуреты. С потолка свисали гирлянды луковиц, черные от мух, которые начинали жужжать всякий раз, как приподнималась занавеска у двери.

— Отдыхайте, сударь... и вы, барышня. Вы с нами разделите «большую закуску».

«Большая закуска» — это послеполуденная трапеза провансальских крестьян. Ее подают прямо на поле, на месте работы, под деревом, под стогом сена, в канаве. Но Вальмажур с отцом работали совсем близко, на своем участке, и потому возвращались закусывать домой. Стол был уже накрыт; на нем стояли глиняные глубокие тарелки с маринованными

маслинами и салатом-латуком, щедро политым оливковым маслом. Руместану показалось, что в плетеном кузовке, куда ставятся бутылки и стаканы, стоят сосуды с вином.

— Значит, у вас тут есть виноградник? — любезно спросил он, желая приручить маленькую дикарку.

При слове виноградник она подпрыгнула, словно козочка, ужаленная гадюкой, и в голосе ее зазвенела ярость. Виноградник! Да, как раз! Много у них осталось от виноградника!.. Из пяти полос им удалось сохранить только одну, самую маленькую, и к тому же ее надо поливать шесть месяцев в году. Да еще водой из крана, за которую приходится невесть сколько платить. А кто виноват? Красные свиньи, красные злодеи и их безбожная республика, обрушившая на страну все муки ада.

Она все больше и больше распалаясь, глаза ее становились черней от ненависти, готовой хотя бы и на убийство, хорошенькое личико искажала судорога, рот кривился, сдвинутые брови сошлись на лбу. Забавнее всего было то, что приступ ярости совсем не мешал ей заниматься делом: она зажигала огонь, варила отцу и брату кофе, вставала, нагибалась, брала в руки то мехи для раздуванья огня, то кофейник, то зажженные сухие побеги виноградной лозы на растопку, которыми она потрясала как факелом фурий. И вдруг успокоилась:

— А вот и брат...

Холщовая занавеска отодвинулась, и на пороге в полосе яркого света возникла статная фигура Вальмажура, а за ним шел старичок с бритым лицом, высушенным, морщинистым и черным, словно подгнившая виноградная лоза. Появление важных гостей смутило отца и сына не больше, чем Одиберту, и после первых же приветствий они уселись за стол, на котором, кроме угощения, выставленного их хозяйкой, была расставлена снедь, принесенная из кареты и вызвавшая радостный огонек в глазах Вальмажура-старшего. Руместан, донельзя пораженный тем, что не произвел никакого впечатления на простых крестьян, заговорил об успехе молодого тамбуринщика на воскресном празднестве в античном амфитеатре. Это-то уж доставит удовольствие старику отцу.

— Конечно, конечно... — проворчал старик, поддевая острием ножа маслины. — Но я в свое время тоже получал призы за игру. — Рот его кривился в ехидной улыбочке совсем так же, как только что в приступе ярости губы его дочери. Крестьянка, впрочем, совсем успокоилась и сидела теперь почти на полу — на камне очага — с тарелкой на коленях: будучи хозяйкой и притом полновластной, она все же следовала провансальскому обычаю, не разрешающему женщинам садиться за стол вместе с

мужчинами. Но, сидя в этой униженной позе, она внимательно прислушивалась к разговору за столом и качала головой при упоминании о празднестве в амфитеатре. Она не была поклонницей тамбурина, ни — ни!.. Мать ее померла от этого — так ей папашина музыка кровь портила... Это ремесло для бражников, от работы настоящей оно отрывает, и в конце-то концов овчинка не стоит выделки.

— Ну, так вот, пусть он приедет в Париж... — сказал Руместан. — Ручаюсь, что там он своим тамбурином заработает кучу денег.

Наивная крестьянка не поверила, тогда он попытался растолковать ей, что такое прихоти парижской моды и как дорого оплачивает их столица. Он рассказал ей об успехе, который в свое время выпал на долю дядюшки Матюрена,^[15] бретонского волынщика, выступавшего в комедии «Хутор среди дрока». А ведь какая разница между бретонской волынкой, этим резким, грубым инструментом, только к тому и приспособленным, чтобы под него плясали эскимосы на берегу Ледовитого океана, и провансальским тамбурином с его легкостью и изяществом! Парижанки голову потеряют, все захотят танцевать фарандолу... Тут вмешалась Ортанс, а тамбуринщик, слушая их, рассеянно улыбался и с победоносным видом деревенского льва поглаживал темные усы.

— Ну, а все-таки, как вы полагаете, сколько он сможет заработать своей музыкой?

Руместан подумал. Трудно сказать... Сто пятьдесят — двести франков...

— В месяц? — просияв от восторга, спросил отец.

— Да нет же, в день!..

Крестьяне вздрогнули и переглянулись. Если бы с ними говорил не «муссю Нума», депутат, член генерального совета, они решили бы, что это шутка, *галежада*.^[16] Но говорил Нума, а его слова можно принимать всерьез. Двести франков в день!.. Черт побери!.. Сам музыкант готов был ехать куда угодно. Но сестра, более осторожная, хотела, чтобы Нума подписал им бумагу. Опустив глаза, чтобы ее не выдал их жадный блеск, она с лицемерной степенностью обсуждала вопрос. Беда в том, что Вальмажур — чтоб его! — очень уж необходим в доме! На нем лежит все ховяйство: он и пашет и ухаживает за лозами, — у отца-то сил нет. Как они без него обойдутся? Да и он без них наверняка затоскует в Париже. А деньги, двести франков в день, — что он с ними станет делать в таком большом городе?.. И когда она заговаривала о деньгах, которые не она будет хранить, которые ей не удастся спрятать на самое дно комода, голос

ее приобретал какую-то особую жесткость.

— Ну что ж, — сказал Руместан, — поезжайте вместе с ним в Париж.

— А как же дом?

— Сдайте его внаем, продайте... Когда вернетесь, купите другой, еще лучше...

Тут он осекся, так как Ортанс бросила на него тревожный взгляд. Словно раскаиваясь в том, что смутил покой этих добрых людей, он добавил:

— В конце-то концов деньги в жизни еще не все... Здесь вы счастливы...

— Ну да, счастливы!.. — живо перебила Одиберта. — Живется-то нам нелегко. Не то, что в былые времена.

Тут она опять начала ныть: обнищание страны, исчезновение виноградников, плантаций марены, уменьшение добычи киновари... В самую жару выбивайся из сил, работай не покладая рук... Правда, в будущем можно рассчитывать на наследство от кузена Пюифурка, который уже лет тридцать как перебрался в Алжир и ведет там хозяйство, но этот Алжир в Африке, уж больно далеко... И вдруг, боясь, что она охладила «муссю Нуму», и считая, что его полезно подхлестнуть, ловкая молодая особа сказала брату певучим, по-кошачьи ласковым голосом:

— *Чтэ*, Вальмажур, ты нам не сыграешь какой —нибудь мотивчик? Доставь удовольствие милой барышне!

Хитрая лисичка не ошиблась. Один удар палочки, одна жемчужная трель, и Руместан снова был заморожен. Парень играл перед домом, опершись о каменную кладку старого колодца, над которым поднималась железная дуга для блока, увитая зеленью дикого инжира, которая живописно обрамляла его стройную фигуру и темное от загара лицо. Голые до локтя руки, расстегнутый ворот, запыленная рабочая одежда — таким он казался еще горделивее и благороднее, чем в амфитеатре, где праздничное платье придавало его изяществу нарочитую тщательность. Старинные мотивы, исполняемые на народном инструменте, звучали особенно поэтично среди природы, в ее безмолвии и безлюдии пробуждали позлащенные солнцем камни развалин от их векового сна, взмывали, как жаворонки, над величавыми холмами, сероватыми от лаванды или пятнистыми от колосющихся хлебов, от иссушенных виноградников, от широколистных шелковичных роц, отбрасывавших уже не такую густую и более длинную тень.

Ветер стих. Солнце, склонявшееся к западу, пламенело теперь над лиловой цепью Альиин, наполняя ущелье между скалами призрачными

озерами расплавленного порфира и золота, омывало горизонт переливчатым сиянием, похожим на струны огромной огненной лиры, и струны эти звучали, звучали неумолчным пеньем цикад и певучей дробью тамбурина.

Сидя на парапете старой башни, прислонясь к стволу небольшой колонны, за которой пряталось скрюченное, узловатое гранатовое деревцо, Ортанс слушала в полном упоении, и романтические грезы кружили ее головку, полную услышанных в дороге преданий. Она видела, как старый замок встает из развалин, как снова гордо поднимаются его башни, округляются арки переходов, как под сводами галерей прохаживаются красавицы в длинных корсажах, видела, что цвет лица у них матовый и что его не портит загар. И уже она сама становится принцессой де Бо, с красивым именем, словно из требника, а музыкант, играющий ей, тоже принц, последний в роде Вальмажуров, переодетый в крестьянское платье. «Вот и песне конец», — как говорится в хрониках Судов любви, и, сломав над головой веточку гранатового дерева, с которой свисает тяжелый ярко-красный цветок, она протягивает его музыканту в награду за исполнение, а тот галантно подвешивает его к ремешку тамбурина.

VI. МИНИСТР!

После поездки на гору Корду прошло три месяца.

В Версале только что открылась сессия парламента под непрерывным ноябрьским дождем, который словно соединяет бассейны Версальского парка с низким, обложенным тучами небом, погружает обе палаты в унылую сырость и мрак, но отнюдь не охлаждает политических страстей. Сессия будет носить бурный характер. Поезда с депутатами и сенаторами следуют один за другим, встречаются/ свистят, гудят, выпускают угрожающие клубы дыма, словно и они заразились враждебными чувствами, коварными замыслами, которые они привозят сюда под низвергающимися с неба потоками дождя. В вагонах, заглушая шум колес, не смолкают споры, ведущиеся с не меньшей желчностью, с не меньшей яростью, что и на трибуне. Больше всех шумит и

69 суетится Руместан. После начала сессии он проивнес уже две речи. Он выступает в комиссиях, говорит в кулуарах, на вокзале, в буфете, от его голоса дрожит стеклянная крыша в фотографических ателье, где собираются правые группировки. Всюду только и видишь очертания его мощной фигуры, находящейся в непрерывном движении, его крупную беспокойную голову, его широкие плечи, которые так и ходят, так и напрягаются на страх правительству: ведь Руместан занят «сваливанием» по всем правилам кабинета министров и проявляет при этом всю свою ловкость и силу борца-южанина. Ах, лазурное небо, тамбурины, цикады, вся лучезарная декорация летних каникул, как она далека! С ней покончено, она убрана со сцены! Нума и не вспоминает о ней — он кружится в вихре своей бурной двойной жизни — адвоката и политического деятеля. Дело в том, что по примеру своего старого учителя Санье он, став членом Палаты парламентской, не отказался и от Палаты судебной, и каждый вечер, от шести до восьми, у дверей его кабинета на улице Скриба толпится народ.

Этот кабинет можно принять за канцелярию посольства. В качестве первого секретаря и правой руки лидера выступает его советчик и друг Межан, отличный адвокат по гражданским делам, уроженец Юга, как все вообще окружение Нумы, но Юга севенского, каменистого, в котором больше Испании, чем Италии; в повадке и говоре его людей много осторожной сдержанности и здравого смысла Санчо Пансы. Коренастый, плотный и уже лысый, с желтым цветом лица неутомимых работяг, Межан

один, без посторонней помощи справляется с секретарской работой, приводит в порядок папки с делами, подготавливает материал для речей Нумы, стараясь подкреплять фактами звонкие фразы своего друга, своего — как утверждают осведомленные люди — будущего шурина. Два других секретаря, де Рошмор и де Лаппара, — это просто молодые стажеры, находящиеся в близком родстве с именитым дворянством провинции: они у Руместана только для рекламы, они как бы проходят у него стаж политического ученичества.

Лаппард, высокий красавец с длинными стройными ногами, румяным лицом и темно-рыжей бородкой, сын старого маркиза де Лаппара, главы монархистов бордоской провинции, являет собой яркий образец этого Юга креолов, хвастунов, авантюристов, которые обожают драться на дуэли и тайком уводить из дому благородных девиц. Он провел в Париже пять лет, профукал в клубе сто тысяч франков, заплатил долг чести материнскими бриллиантами, — за пять лет он в совершенстве овладел бульварным жаргоном, приобрел тон и манеры, принятые у парижской золотой молодежи. Полная противоположность ему — виконт Шарлексис де Рошмор, земляк Нумы и тоже воспитанник монастыря Успенья божьей матери; он окончил юридический факультет в провинции под надзором мамы и аббата и от этого домашнего воспитания сохранил известное простосердечие и робость семинариста, к которым не очень — то подходила бороденка на манер Людовика XIII; все вместе взятое придавало ему вид хитреца и вместе с тем простофили.

Высокий и стройный Лаппард старается посвятить этого юного Пурсоньяка в тайны парижской жизни. Он учит его, как нужно одеваться, что шикарно, а что не шикарно, как держать голову, как делать презрительную гримасу, как садиться и сразу же вытягивать ноги, чтобы брюки не пузырились на коленях. Ему очень хотелось бы отучить его от наивной веры в людей и в установления, вытравить из него вкус к канцелярщине, из-за которого он рискует превратиться просто в исполнительного чиновника. Но, увы! Виконту нравится писанина, и когда Руместан не берет его с собой в Палату или в суд, как, например, сегодня, он может часами сидеть за длинным столом для секретарей рядом с кабинетом патрона и переписывать набело черновики. А бордосец подкатил к окну мягкий табурет, сунул в рот сигару, вытянул ноги и в медленно наползающих сумерках сквозь завесу дождя, сквозь дымок, поднимающийся от свеженастланного асфальта, обозревает длинный ряд выстроившихся друг за другом экипажей с торчащими справа от кучера кнутами, экипажей, которые привезли гостей к г-же Руместан: сегодня

четверг, ее приемный день.

Народу-то сколько! И это еще не конец, подъезжают все новые и новые экипажи. Лаппара, гордящийся тем, что знает ливреи всех знатных и богатых домов Парижа, перечисляет вслух вновь прибывших:

— Герцогиня де Сан-Доннино... Маркиз де Бельгард... Черт побери! И Моконсели тут!.. Что же это значит?

Обернувшись к худой и долговязой личности, которая сушит у камина свои вязаные перчатки, свои цветные, не по сезону, брюки, предусмотрительно закрученные у щиколоток, чтобы не соприкоснуться с ботинками из толстого сукна, он спрашивает:

— Вам что-нибудь известно, Бомпар?

— *Чтэ-нбудь?.. Кнэчно!..*

Бомпар — мамелюк Руместана, является чем-то вроде четвертого секретаря, выполняющего всякие «внешние поручения: он бегаёт за новостями, славит по всему Парижу своего патрона. Судя по наружному виду Бомпара, эти занятия его не обогащают, но Нума тут ни при чем. Раз в день он соглашается перекусить, изредка принимает пол-луидора, — больше ничего не удается всучить этому странному паразиту. Чем и как он живет, остается загадкой даже для самых близких ему людей. Но спросить у него, не знает ли он чего-нибудь, усомниться в его воображении — значит проявить полнейшую наивность.

— *Да, господа... И кое-чтэ очень серьезное...*

— Что же именно?

— *Только что* было покушение на маршала!..

Минутное недоумение. Молодые люди переглядываются, смотрят на Бомпара; потом Лаппара, еще больше вытянувшись на своем табурете, спокойно спрашивает:

— Ну, а как ваш асфальт, друг мой? Как с ним обстоит дело?

— Бог с ним, с асфальтом... У меня на примете есть дельце получше...

Не слишком удивленный слабостью эффекта, произведенного его рассказом о покушении на маршала,^[17] он начинает повествовать о своем новом замысле. О, это замечательное дело, и до чего простое! Речь идет о том, чтобы заграбастать все сто тысяч франков, которые швейцарское правительство ежегодно выделяет на премирование лучших стрелков в тирах швейцарской федерации. В молодости Бомпар метко стрелял жаворонков. Теперь ему надо напрактиковаться, и он до конца жизни будет обеспечен ежегодной рентой в сто тысяч франков. И какой легкий заработок! Обойти всю Швейцарию, кантон за кантоном, с ружьем за плечами...

Этот сновидец наяву тотчас воодушевился, пустился в пространные описания, он уже влезал на ледники, сходил в долины, по течению горных рек, рушил лавины перед потрясенными молодыми людьми. Из всех выдумок, рождавшихся в его исступленном мозгу, эта была самая необычайная, но он говорил о ней с полной убежденностью, глаза его лихорадочно блестели, от внутреннего жара на его лбу, изрытом глубокими морщинами, словно проступали шишки.

Внезапное появление Межана, вернувшегося из суда, прервало эти бредовые речи.

— Чрезвычайной важности новость!.. — произнес он, отдуваясь и бросая портфель на стол. — Министерство пало.

— Что вы говорите?

— Руместан берет портфель министра народного просвещения.

— Я так и знал, — заявил Бомпар и, уловив недоверчивые усмешки, поспешил добавить: — Знал, господа, знал... Я там был... Я только сейчас оттуда.

— Что же вы не сказали?

— А зачем?.. Мне же никогда не верят... А все из-за моего *аццента*, — сказал он с наивной покорностью судьбе. Комизма этой фразы никто не заметил, — слишком велико было изумление.

Руместан — министр!

— Ну, ребята, и хитрец же наш патрон!.. — повторил великан Лаппара; он сидел на легком табурете и, задрав ноги к потолку, пофыркивал. — Как это он ловко все проделал!

Рошмор с негодованием выпрямился.

— Какая тут хитрость, дорогой мой!.. У Руместана совесть чиста... Он летит по прямой, как ядро.

— Во-первых, мой мальчик, теперь ядер нет. Есть снаряды. А снаряд делает вот что.

Кончиком ботинка он описал траекторию.

— Пустозвон!

— Простофиля!

— Господа!.. Господа!..

А Межан в это время думал, какой все же удивительный человек этот Руместан, какая это сложная натура. Даже люди, постоянно общающиеся с ним, судят о нем различно:

«Хитрец». «Человек с чистой совестью».

Оба эти мнения имели сторонников среди самой широкой публики. Он-то знал Руместана лучше, чем кто-нибудь другой, и ему было хорошо

известно, что легкомыслие и лень смягчали в Руместане темперамент честолюбца, что он был и лучше и хуже своей репутации. Но правда ли это — насчет министерского портфеля?.. Межану захотелось проверить слух; он окинул беглым взглядом свою фигуру в зеркале — все ли в порядке — и, перейдя через площадку лестницы, прошел к г-же Руместан.

Еще в передней, где с шубами на руках ждали лакеи, слышался гул голосов, приглушенный высокими потолками и богатой обивкой стен. Обычно Розали принимала в маленькой гостиной, обставленной на манер зимнего сада легкой мебелью, изящными столиками, в гостиной, куда дневной свет просачивался сквозь блестящую листву растений, расставленных у окон. Это создавало интимность, которой было вполне достаточно для нее, парижской буржуазии, держащейся в тени великого человека, не имеющей личного честолюбия и слывущей за пределами тесного круга лиц, которые хорошо знали ее истинную немаловажную роль славной, но заурядной женщиной. Сегодня, однако, обе гостиные были переполнены шумной толпой гостей. То и дело входили новые посетители — весь круг близких и не очень близких друзей, знакомых и даже таких, которых Розали не могла бы назвать по имени.

Одетая в темное шелковое платье с лиловатым отливом, красиво облежавшее ее стройную фигурку и подчеркивавшее гармоничное изящество всего ее существа, она держалась очень просто и встречала каждого с ровной, чуть горделивой улыбкой, с тем холодком, о котором в свое время говорила тетушка Порталь. Заметно было, что успехи мужа отнюдь не ослепляют ее, в ней скорее сквозило некоторое удивление и даже беспокойство; впрочем, ни в чем определенном это не выражалось.

Она переходила от одной кучки гостей к другой, а тем временем во втором этаже парижского дома быстро сгущались сумерки, слуги вносили лампы, зажигали канделябры, и гостиная, где переливался пышный атлас диванов и кресел и горели самоцветами узоры восточных ковров, принимала праздничный вид.

— Ах, господин Межан!..

Розали на минутку оставила гостей и подошла к нему, радуясь, что нашла в этой светской толпе человека по — настоящему близкого. Они отлично понимали друг друга. Поостывший южанин и расшевелившаяся парижанка о многом судили и многое видели одинаково, им удавалось как-то уравновешивать в Нуме и находившие на него порой приступы слабости и его неистовые порывы.

— Я пришел удостовериться, верен ли слух... Теперь сомнения нет... — промолвил он, указывая на гостиные, полные народа.

Она подала ему полученную от мужа депешу и, понизив голос, спросила:

— Что вы на это скажете?

— Дело нелегкое, но ведь вы будете при нем.

— И вы тоже... — сказала она и, пожав ему руки, пошла навстречу новым посетителям.

А посетители все прибывали и прибывали, и никто не уходил. Все ждали лидера, хотели непосредственно от него узнать все подробности заседания, узнать, как он все перевернул одним движением плеча. Среди вновь прибывших кое-кто уже принес отзвуки того, что происходило в Палате, передавал обрывки речей. Вокруг рассказчиков собирались кружки приятно возбужденных гостей. Особенно страстное любопытство проявляли женщины. Их хорошенькие личики под большими шляпами, входившими в моду этой зимой, загорались легким румянцем, розоватым лихорадочным пламенем, какое можно видеть в Монте-Карло на щеках женщин, делающих ставки в трант-в-карант.^[18] Может быть, к политике их располагали именно эти шляпы с длинными страусовыми перьями, похожие на те, что носили в эпоху Фронды?^[19] Во всяком случае, дамы проявляли необычайную политическую осведомленность и, перебивая друг друга, нетерпеливо размахивая муфточками, они так и сыпали принятыми у депутатов словечками и прославляли лидера. И все без исключения восхищались им:

— Какой человек! Какой человек!

В углу гостиной старик Бешю, профессор Коллеж де Франс,^[20] невероятный урод, у которого на лице заметен был только нос, огромный нос ученого, привыкший зарываться в книги, воспользовался успехом Руместана как предлогом для рассуждения на свою излюбленную тему: слабость современного мира объясняется тем, что в нем придается слишком большое значение женщинам и детям. Невежество и тряпки, капризы и легкомыслие.

— Так вот, милостивый государь, сила Руместана в том и состоит, что у него нет детей и что он сумел не поддаться влиянию женщин... Посмотрите, какую он гнет прямую и твердую линию! Ни малейшей трещинки, ни малейшего отклонения в сторону.

Профессору с важным видом внимал член совета Высшей счетной палаты, маленький человечек с наивными глазами и круглой лысой головой, в которой каждая мысль, казалось, шуршит, как сухие семена в пустой тыкве; он пыжился и одобрительно кивал головой, словно хотел

сказать: «Я тоже, сударь мой, из числа людей выдающихся, я тоже не поддаюсь влияниям».

Заметив, что к нему подходят и прислушиваются, ученый повысил голос, стал приводить примеры из истории, сослался на Цезаря, Ришелье, Фридриха II, Наполеона и научно доказал, что на шкале мыслящих существ женщина стоит на несколько ступенек ниже мужчины:

— В самом деле, если взглянуть в ткань мозговой коры...

Однако еще интереснее было бы взглянуть в лица жен этих господ, которые слушали их беседу, сидя рядышком и попивая чай, ибо в гостиную только что подали это пятичасовое угощение, и теперь к оживленному разговору примешивался звон серебряных ложечек, ударявшихся о японский фарфор, горячий пар самовара и запах печенья, только что вынутого из духовки. Младшая, г-жа де Боэ, воспользовавшись семейными связями, сделала своего мужа, человечка с тыквой вместо головы, обнищавшего, завязшего в долгах дворянчика, чиновником Высшей счетной палаты. Дрожь пробирала при одной мысли, что контроль над расходованием народных денег находится в руках этого хлыща, который так быстро спустил и свои деньги и деньги жены. Вторая, г-жа Бешю, когда-то была красавицей, и до сих пор ее большие глаза светились умом, черты лица оставались тонкими, и только скорбно опущенные углы губ свидетельствовали о напряженной борьбе за жизнь, об упорстве честолюбия, не знающего ни усталости, ни угрызений совести. Все свои душевные силы она употребила на то, чтобы протолкнуть на видные места банальную посредственность, каковую представлял собой ее ученый супруг, и, воспользовавшись своими слишком хорошо, к сожалению, известными связями, взломала, можно сказать, для него двери Академии и Коллеж де Франс. В улыбке, которой обе женщины обменялись поверх чайных чашек, была целая поэма из парижской жизни. Впрочем, хорошенько поискав в толпе присутствовавших здесь мужчин, можно было бы обнаружить еще немало таких, кому женское влияние отнюдь не повредило.

Внезапно в комнату вошел Руместан. Встреченный слитным гулом приветствий, он быстро прошел через всю гостиную к жене и поцеловал ее в обе щеки, не дав возможности Розали предотвратить это чересчур непосредственное проявление чувств, каковое, впрочем, явилось наилучшим опровержением взглядов, только что высказанных ученым. Дамы закричали «Браво!». Затем пошли рукопожатия, взволнованные поздравления, наконец воцарилась тишина: все приготовились слушать лидера, а тот, прислонившись к камину, начал вкратце рассказывать о том,

что произошло в этот день.

Подготовка великого события, которая велась уже целую неделю, смена наступательных и оборонительных ходов, исступленная ярость левых в момент поражения, его триумф, когда он взобрался на трибуну и произнес громовую речь, интонация, с какой он лихо, парируя реплику маршала, произнес: «Это зависит от вас, господин президент!» — все было им отмечено и передано так азартно, так забавно и доходчиво! Затем, перейдя на серьезный тон. Руместан стал перечислять трудные задачи, которые ему предстоит разрешить на его новом посту: реформа университета, подготовка молодежи к осуществлению великих надежд (намек был сразу понят и вызвал громкое «ура!»), но он, конечно, окружит себя светлыми умами, призовет людей добросовестных, преданных идее. И его взволнованный взгляд уже искал таких людей в тесном кругу тех, кто сейчас внимал ему:

— Друга моего Бешю... И вас, дорогой де Боэ...

Момент был столь торжественный, что никто не подумал, каким образом туповатый молодой докладчик Высшей счетной палаты может быть полезным в деле университетской реформы. Впрочем, сегодня днем Руместан обратился за помощью в тяжелом труде на ниве народного просвещения к великому множеству лиц такого же уровня. Насчет изящных искусств он спокоен: тут, пожалуй, все признают... Он не договорил, кругом раздались льстивые смешки и восклицания. В этом отношении весь Париж, вплоть до недругов, был единодушен: Нума — самый подходящий человек. Наконец-то будут компетентные жюри, музыкальные театры, официально признанное искусство. Однако министр прекратил поток дифирамбов и шутливым, слегка развязным тоном заметил, что новый кабинет состоит почти сплошь из южан. Из восьми министров шесть — уроженцы Бордо, Перигора, Лангедока и Прованса.

— Да, Юг поднимается, поднимается... — возбужденно добавил он. — Париж теперь наш. Мы забрали все. Придется вам с этим примириться, господа. Латиняне вторично завоевали Галлию!^[21]

А он и был настоящий латинянин-завоеватель с профилем, похожим на те, что так четко выделяются на медалях, со смуглым румянцем, с повадками бесшабашного парня, которому не по себе в чопорной парижской гостинице. Смех и рукоплескания покрыли его последние слова, но он сразу оторвался от камина, как хороший актер, умеющий уйти с подмостков тотчас после эффектной реплики, подозвал Межана и скрылся за одной из внутренних дверей, предоставив Розали извиниться за него перед гостями. Он обедал в Версале у маршала, и у него оставалось

времени в обрез — только на то, чтобы собраться и подписать бумаги.

— Помогите мне одеться, — сказал он лакею, который накрывал на стол, ставя вокруг корзины с цветами три прибора — хозяину, хозяйке и Бомпару. Розали любила, чтобы на столе всегда были свежие цветы. Нума радовался, что сегодня не придется обедать дома. Восторженный ропот голосов еще доносился до него из-за закрытой двери, и ему хотелось очутиться в новом шумном обществе, в ярком, парадном свете. К тому же человек Юга не склонен сидеть в домашнем кругу. Это жители Севера с его неласковым климатом изобрели домашний уют, которому Прованс и Италия предпочитают террасы кафе, шум и суету улицы.

Из столовой в кабинет адвоката надо было пройти через небольшую приемную, обычно в этот час полную посетителей, тревожно поглядывавших на часы, рассеянно — на журналы с картинками, поглощенных мыслями о своем судебном процессе. Сегодня вечером Межан, сообразив, что никаких консультаций Нума дать не сможет, отправил их восвояси. Но один человек остался — высокий парень в костюме из магазина готового платья, неловкий, как унтер-офицер, переодевшийся в штатское.

— Э, наше вам... Господин Руместан! Как дела?.. Я уж невесть сколько времени дожидаюсь.

Акцент, смуглый цвет лица, победоносный и вместе с тем глуповатый вид — что-то очень знакомое. Но где Нума мог видеть этого человека?

— Вы меня не узнаете? — спросил парень. — Я Вальмажур, тамбуринщик!

— Ах да! Отлично, отлично...

Он хотел пройти мимо. Но Вальмажур стоял у него на дороге как вкопанный и рассказывал, что позавчера приехал в Париж.

— Только, знаете, раньше прийти я никак не мог. Когда приедешь всей семьей в незнакомое место, сразу устроиться очень трудно.

— Всей семьей? — переспросил Руместан, вытаращив глаза.

— Э, ну да! Отец, сестра... Мы сделали, как вы сказали.

Слишком много наобещавшего Руместана передернуло от смущения и досады, как передергивало его всякий раз, когда ему предъявляли подобный счет и приходилось платить по обязательствам, которые он выдал загоревшись внтузиазмом, в момент, когда его так и подзуживало хвалить, давать, располагать к себе людей..

Бог мой! Да он с величайшим удовольствием поможет этому славному парню!.. Он подумает, найдет какой-нибудь способ... Но сегодня вечером ему некогда... Совершенно исключительные обстоятельства... Внимание,

оказанное ему главой государства... Видя, однако, что крестьянин не собирается уходить, он бросил ему: «Зайдите сюда», — и они очутились в кабинете.

Пока, сидя за столом, он проглядывал и торопливо подписывал письма, Вальмажур осматривал просторную комнату, обитую дорогой материей и уставленную роскошной мебелью, книжные шкафы вдоль всех четырех стен и на этих шкафах бронзовые статуэтки, бюсты, произведения искусства — память о выигранных делах, портрет короля с собственной его величества надписью. На крестьянина произвели сильное впечатление торжественность комнаты, высокие резные спинки стульев и кресел, внушительное количество книг, в особенности — присутствие корректного, одетого в черное лакея, который ходил взад и вперед, осторожно раскладывая на креслах парадную одежду и чистое белье. Когда же он бросил взгляд на хозяина, освещенное лампой знакомое широкое лицо — Руместана и его благожелательное выражение подействовали на крестьянина ободряюще. Покончив с письмами, великий человек перешел в распоряжение лакея и, протягивая то одну, то другую ногу, чтобы тот стянул с него брюки и ботинки, начал расспрашивать тамбуринщика и, к ужасу своему, узнал, что перед отъездом в Париж Вальмажуры все продали: шелковичные деревья, виноградник, ферму...

— Ферму продали? Но ведь это безумие!

— Да, сестричка побаивалась, но мы с папашей настояли на своем... Я так и сказал: «Ну какой может быть риск? Ведь там Нума, ведь это он нас вызвал».

Только простодушная непосредственность Вальмажура давала ему смелость так бесцеремонно говорить о министре с самим министром. Но отнюдь не это волновало Руместана. Он думал о многочисленных недругах, которых приобрел из-за своей неисправимой мании все всем обещать. Ну зачем, спрашивается, нужно было ему сбивать с толку этих добрых людей? Нему припомнилось во всех подробностях посещение горы Корду, как молодая крестьянка возражала и как он ее переубеждал. Зачем? Какой бес его толкал? У мужичка ужасный вид! Что до его таланта, то Нума о нем позабыл, он видел только тяжелую обузу в лице этого с неба свалившегося на него семейства. Он уже слышал упреки жены, ощущал холод ее строгого взгляда. «Слова имеют значение». А теперь, на посту министра, у самого, так сказать, источника всевозможных милостей, каких только неприятностей не наживет он из-за своей роковой доброжелательности!

Но его почти сразу успокоила самая мысль, что он министр, сознание своей власти. Зачем беспокоиться из-за чепухи ему, достигшему таких

высот? Он теперь полновластный хозяин в мире искусств, все театры в его распоряжении, что ему стоит помочь горемычному парню?

Вновь проникшись уважением к себе, он заговорил с крестьянином другим тоном и, чтобы тот перестал фамильярничать, многозначительно и даже свысока сообщил ему, до какой важной должности он нынче возвысился. Беда была только в том, что в данную минуту он стоял на ковре полуодетый, в одних шелковых носках, и казался меньше ростом, а под белыми фланелевыми кальсонами с розовыми ленточками заметно выпирало его брюшко. На Вальмажура магическое слово «министр» не произвело особого впечатления, ибо в его представлении оно как-то не вязалось с этим толстым человеком в подтяжках. Он продолжал называть его *муссю Нума*, заговаривал о своей «музыке», о новых песнях, которые недавно разучил. Теперь ему не страшны парижские тамбуринщики!

— Подождите... вы только послушайте.

И он устремился в переднюю за своим тамбурином. Но Руместан удержал его:

— Говорят вам: я тороплюсь, черт побери!

— Ну ладно... Ладно... Я в другой раз приду, — добродушно согласился крестьянин.

Завидев вошедшего в комнату Межана, он счел уместным пленить его историей о флейте с тремя дырочками:

— Меня осенило, когда я ночью соловья слушал. Думаю себе: как же так, Вальмажур?..

С этим самым рассказиком он выступил тогда на трибуне амфитеатра. Увидев, что выступление имело успех, он по своей наивности заучил рассказик слово в слово. Но на этот раз он говорил не так уверенно, и его смущение еще усиливалось по мере того, как Руместан преображался у него на глазах благодаря широкому белому пластрону с жемчужными пуговками и Черному, строгого покроя фраку, который подавал ему камердинер.

Теперь *муссю Нума* даже показался ему выше ростом. Стараясь не измять галстук из белого муслина, Руместан не двигал головой, застывшей в торжественной неподвижности и словно озаренной бледными отсветами креста и ленты св. Анны на шее и большой звезды Изабеллы Католической, сиявшей на матовом сукне фрака. Внезапно крестьянина охватил благоговейный трепет, — наконец-то он понял, что перед ним один из избранных мира сего, существо таинственное, почти легендарное, могущественный маниту,^[22] к которому можно возносить просьбы, пожелания, прошения и мольбы, излагая их непременно на бумаге

большого формата, маниту, который пребывает на таких высотах, что простым людям его и не увидеть, который так величествен, что имя его они произносят вполголоса, в священном ужасе, какой обыкновенно испытывает невежество. Министр!..

Бедняга Вальмажур до того смутился, что почти не слышал прощальных благосклонных слов Нумы и приглашения прийти к нему, но не раньше чем недели через две, когда он обоснуется в министерстве.

— Ладно, ладно, господин министр!..

Он шел к двери, пятясь, ослепленный блеском орденов и необыкновенным выражением лица преображенного Нумы. А Нума был весьма польщен этой внезапной робостью, — она поддерживала в нем высокое мнение о себе самом, она побуждала его напускать на себя «министерский вид», а «министерский вид» — это значит важно выпяченная нижняя губа, скупость жестов, глубокомысленно сдвинутые брови.

Еще через несколько минут его превосходительство катил на вокзал, и этот нелепый инцидент он начисто забыл. На легко убаюкивающих пружинах кареты с двумя яркими фонариками, которая стремительно уносила его навстречу новому высокому призванию, он уже придумывал* эффективные фразы для своей первой речи, составлял планы, обдумывал долженствовавший войти в историю циркуляр ректорам университетов, старался предугадать, что скажет вся страна и вся Европа завтра, когда станет известно о его назначении, но в этот самый миг на углу бульвара, в ярком свете газового фонаря, падавшем на мокрый асфальт, перед ним вырисовался на краю тротуара силуэт музыканта с болтавшимся у колена продолговатым кузовом тамбурина. Оглушенный, ошалевший Вальмажур собирался перейти улицу и ждал, чтобы хоть на минуту остановилось движение экипажей, особенно многочисленных в этот час, когда весь Париж возвращается по домам, когда маленькие ручные тележки снуют под самыми колесами фиакров, раскачиваются империялы переполненных омнибусов, гудят рожки паровых трамваев. В наступающей вечерней темноте, в туманной дымке, которую под холодным дождем источала лихорадочная жизнь улицы, в паре человеческого дыхания, исходившего от шумной, суетливой толпы, несчастный казался таким потеряннным, таким чужим, таким попросту раздавленным высокими стенами многоэтажных домов, он так мало походил на великолепного живописного Вальмажура, который у дверей своей фермы звуками тамбурина заставлял цикад стрекотать еще громче! Руместан отвел глаза и ощутил нечто вроде угрызений совести, на несколько минут омрачивших блеск его триумфа.

VII. В ПАССАЖЕ СОМОН

Для того, чтобы обосноваться в столице более или менее прочно, Вальмажурам надо было дожидаться своей обстановки, которая шла в Париж малой скоростью. А пока они поселились в пассаже Сомон, где всегда останавливались путешественники, прибывшие из Апса и его окрестностей, в том пресловутом пассаже, о котором тетушка Порталь сохранила столь яркое воспоминание. Они занимали под самой крышей комнатку и чулан; чулан был без света и воздуха, нечто вроде дровяного сарайчика; в нем спали отец и сын; комната была немногим больше, но казалась им роскошной благодаря источенной жучком мебели красного дерева, рваному, траченному молью ковру на облезлом крашеном полу и мансарде, в которой виднелся клочок неба, желтовато-мутного, как стекла остроконечной крыши пассажа. В этой конуре, как воспоминание об их родных местах, царил густой запах чеснока и жареного лука, ибо они сами готовили на плитке свою экзотическую пищу. Старик Вальмажур, большой лакомка и любитель общества, замороженный белыми скатертями и салфетками, судками и солонками накладного серебра, конечно, предпочел бы спуститься к табльдоту; он с удовольствием принял бы участие в разговоре коммерсантов, чей смех доносился в часы трапез до пятого этажа. Но провансальская крестьяночка решительно этому воспротивилась.

По прибытии в Париж она была крайне удивлена, что щедрые обещания Нумы насчет двухсот франков в вечер, обещания, звеневшие в ее маленькой, разгоряченной воображением головке водопадом золотых монет, все не сбываются. Придя в ужас от чудовищной столичной дороговизны, она с первого же дня поддалась безумию, которое парижский народ именует «страхом нехватки». Будь она одна, ей легко было бы выйти из положения с помощью анчоусов и маслин — как постом, ну да, черт побери, как постом! — но у ее мужиков оказались волчьи зубы, куда длиннее, чем дома, потому что здесь было холоднее, и ей каждую минуту приходилось открывать свой «мешочек» — вместительный кошель, который она сама сшила из ситца и где позванивали три тысячи франков, вырученные от продажи имущества. Каждый раз, когда ей приходилось разменивать новую золотую монету, она делала это с тяжким усилием, словно отрывала от себя что-то, словно отдавала камни своего дома на ферме или последнюю лозу своего виноградника. Крестьянская жадность и подозрительность, опасение, как бы ее не обворовали, из-за чего она и

решила не сдавать ферму, а продать ее, еще усиливались от страха перед неизвестностью, перед зияющим мраком Парижа, огромного Парижа, который она слышала у себя наверху, не видя его ибо шум города здесь, в районе рынка, не смолкал ни днем, ни ночью, и от этого шума непрерывно позванивали у них в номере графин с водой и стакан на старом лакированном подносе.

Ни один путешественник, заблудившийся в пользующемся дурной славой лесу, не вцеплялся в свой чемодан с такой яростью, с какой эта провансалка прижимала к себе «мешочек», когда она, в зеленой юбке и арльском чепце, на которые с удивлением глазели прохожие, переходила улицу или заходила в лавки, где ее походка с развальцем и диковинные названия, какие она давала предметам (сельдерей она именовала *апи*, баклажаны — *меринжанами*), делали ее, уроженку французского Юга, такой же чужой, такой же затерянной в столице Франции, как если бы она приехала из Стокгольма или из Нижнего Новгорода.

С людьми она поначалу бывала смиренна, медоточива, но, отчаянно торгуясь с лавочниками и заметив усмешку на лице у одного, услышав грубый ответ другого, внезапно приходила в бешенство, и тогда судорога сводила ее приятные черты смуглой девы-южанки, она принималась махать руками, словно одержимая, и извергать на собеседника бурлящий поток хвастливых речей. Тут фигурировали история кузена Пюифурка и его наследства, двести франков за вечер, их покровитель Руместан, о котором она говорила так, словно это была их собственность, которого она называла то просто Нума, то *менистр* с напыщенностью еще более смехотворной, чем фамильярность, и все это катилось и обваливалось в сплошной тарабарщине исковерканного на французский лад южного наречия до тех пор, пока крестьянская подозрительность Одиберты не брала верх, и тогда, охваченная суеверным страхом: а вдруг ее хвастливая болтовня им повредит? — она умолкала столь же внезапно, словно стянув себе рот завязками, как стягивала она свой «мешочек».

Здесь, в начале улицы Монмартр, где из открытых дверей продовольственных лавчонок несетя не только запах овощей, свежего мяса и колониальных товаров, но и сплетни и секреты жителей квартала, она уже через неделю стала притчей во языцех. И как раз именно это — насмешливые расспросы, с которыми ей протягивали сдачу вместе с ее весьма скромными покупками, намеки на беспрестанно откладываемый дебют ее брата, на наследство Бедуина, именно эти удары по самолюбию еще больше, чем страх безденежья, настраивали Одиберту против Нумы, надававшего им с три короба обещаний, которым она и тогда еще не очень-

то верила, — и имела к тому все основания, — не верила, как истинная дочь Юга, где воздух настолько легок, что слова там летают быстрее, чем где-либо еще.

— Надо было вставить его подписать бумагу.

Это сделалось у нее навязчивой идеей, и каждое утро, когда Вальмажур отправлялся в министерство, она не забывала пощупать карман его пальто — не забыл ли он листок гербовой бумаги.

Но Руместа ну приходилось подписывать документы поважнее, и голова его была занята делами более срочными. Он обосновался в министерстве в лихорадочной атмосфере новых веяний, погруженный в неотложные заботы и, как это всегда бывает с людьми, только что пришедшими к власти, еще воодушевленный своими замыслами. Все здесь было для него ново: и просторные комнаты правительственного здания и более широкий кругозор, открывшийся перед ним с этого высокого места. Выбиться, «завоевать Галлию», как он выражался, было, пожалуй, не так уж трудно. Другое дело — укрепить свою власть, оправдать удачу умными преобразованиями, попытками ввести улучшения... Он ревностно принялся за дело, наводил справки, советовался, совещался, окружал себя светилами. Вместе с почтенным профессором Бешю он изучал недостатки университетского образования и способы искоренить из лицеев вольтерьянский дух, старался провести реформы в театральном училище, в Салоне, в Музыкальной академии, опираясь на опыт г-на де ла Кальмеда — своего помощника по делам изящных искусств, двадцать девять лет просидевшего в управлении, и на опыт директора Оперы Кадайяка, которого не свалило даже то обстоятельство, что его уже три раза объявили несостоятельным должником.

Беда была в том, что он не слушал этих господ, а сам говорил целыми часами, потом, взглянув на часы, вскакивал с места и отпускал их.

— Вот черт! Я совсем забыл про заседание совета министров... Ну и жизнь! Ни минуты свободной. — Итак, мой друг, решено... Пришлите мне свой доклад.

И доклады взгромождали письменный стол Межана, которому, несмотря на его ум и всю его добрую волю, хватало времени только на текущие дела, а крупные мероприятия приходилось класть под сукно.

Подобно всем вновь назначенным министрам, Руместан назначил всюду своих людей — «цвет» улицы Скряба, в частности барона де Лаппара и виконта де Рошмора, вносящих в кабинет аристократический душок; оба они, впрочем, сразу ошалели, ибо ничего не смыслили в делах министерства. Когда Вальмажур впервые появился на улице Гренель, его

принял Лаппара, специально занимавшийся изящными искусствами, главным образом беспрестанно посылавший курьеров, драгунов, кирасиров к артисточкам маленьких театров с приглашениями на ужин, запечатанными в величественные министерские конверты; иногда конверт был даже пустой и являлся только предлогом для того, чтобы одним видом министерского кирасира успокоить и подбодрить девицу, не получившую в положенное время очередного взноса. Барон принял тамбуринщика с благодушным, слегка высокомерным видом вельможи, к которому явился его арендатор. Он сидел, вытянув ноги во избежание складок на брюках синего сукна, и говорил с ним, цедя слова и не переставая обтачивать и полировать ногти.

— В данный момент очень трудно... министр так занят... Скоро, через несколько дней... Вас известят, милейший.

Но музыкант простодушно признался, что дело некоторым образом не терпит отлагательств, ибо их средства далеко не неисчерпаемы, — тогда барон, положив напильничек на край письменного стола, с самым серьезным видом посоветовал ему приспособить к тамбурину турникет.

— Турникет к тамбурину? А для чего это?

— Черт побери, милейший, да для того, чтобы торговать билетиками «на счастье» во время мертвого сезона!

В другой раз Вальмажур наткнулся на виконта де Рош* мора, который в тот момент с головой ушел в какую-то пыльную папку. Наконец он поднял голову с мелко завитой шевелюрой, заставил посетителя обстоятельно объяснить ему механизм инструмента, что-то записал, попытался понять, в чем дело, а под конец заявил, что вообще-то он занимается вопросами вероисповеданий. Затем несчастный крестьянин уже ни к кому не мог пробиться, ибо все сотрудники находились у министра, в тех недостижимых сферах, где пребывал его превосходительство. Однако он не терял ни спокойствия, ни терпения, и когда служащие, пожимая плечами, отвечали ему что-то неопределенное, он с неизменным удивлением смотрел на них своими ясными глазами, где в самой глубине зрачков мерцала полунасмешливая искорка — острый ум, светящийся во взгляде провансальца.

— Ну ладно... Ладно... я в другой раз приду.

И он приходил. Не носи он гетр до колен, не носи он своего инструмента через плечо, его можно было бы принять за чиновника: так регулярно приходил он в министерство, хотя с каждым разом это становилось ему все труднее.

Теперь уже от одного вида высокой арки ворот у него начинало

колотиться сеодце. Там, в глубине, находился старинный особняк Ожеро с обширным двором, где уже складывали штабеля дров на зиму, с высоким двухлестничным крыльцом, куда так мучительно было подниматься под насмешливыми взглядами лакеев. Все окружающее только усиливало его волнение: и серебряные цепочки служителей, и расшитые галуном фуражки, и все бесчисленные принадлежности величественного штата прчслуги, отделявшего его от покровителя. Но еще больше боялся он сцен, ожидавших его дома, грозно нахмуренных бровей Одиберты, и потому с упорством отчаяния возвращался каждый день в министерство. Наконец швейцар сжалился над ним и посоветовал ему, если он хочет увидеться с министром, подстеречь его на вокзале Сен-Лазар перед отъездом в Версаль.

Вальмажур так и сделал. Он стоял, как на часах, в огромном многолюдном вале второго этажа, имевшем сейчас, перед отправлением парламентских поездов, весьма оригинальный вид. Депутаты, сенаторы, министры, журналисты, левые, правые, все партии встречались и сталкивались здесь в такой же пестроте и многообразии, как синие, зеленые, красные плакаты и афиши, которыми оклеены были все стены. Люди кричали, шептались, собирались кучками, наблюдали друг за другом, кто-нибудь отделялся от своей группы, чтобы еще раз обдумать предстоящее выступление, какой-нибудь кулуарный оратор витийствовал так, что стекла дрожали от его голоса, который так и не суждено было услышать Палате. Говоры Севера и Юга, самые разные убеждения и темпераменты, бурление честолюбивых замыслов и интриг, топот и ропот лихорадящей толпы — да, действительно подходящее место для политики был этот зал с его атмосферой неуверенности, ожидания и вместе с тем суматошной торопливости: ведь надо не опоздать, надо в назначенный срок, по свистку, двигаться по путям, где рельсы, диски, локомотивы, где земля под тобой дрожит, где все чревато случайностями.

Минут через пять Вальмажур увидел Нуму Руместана. Он шел об руку с секретарем, тащившим его портфель, в расстегнутом нараспашку пальто, с сияющим лицом — такой, каким тамбуринщик увидел его впервые на эстраде амфитеатра, и еще издали до него донесся его голос, долетели его обещания и дружеские излияния.

— Можете безусловно рассчитывать... Верьте мне... Считайте, что дело в шляпе...

Министр переживал медовый месяц власти. Сейчас его уже не касались непосредственно парламентские распри политиканов, зачастую гораздо менее острые, чем принято думать, ибо в них много самого обыкновенного соперничества краснобаев-адвокатов, защищающих

противоположные интересы в суде. Врагов у него пока не было: он не успел за те три недели, что находился при министерском портфеле, раздражить просителен. Ему еще верили. Разве что кто-нибудь начинал проявлять нетерпение и старался поймать его на ходу. В таких случаях он убыстрял шаг и громко бросал ожидающему: «Приветствую вас, мой друг». Слова эти как бы предвосхищали упрек и в то же время отражали его, с приятельской фамильярностью удерживали просителя на расстоянии, так что тот был и разочарован и вместе с тем польщен. Это «Приветствую вас, мой друг» оказалось бесценной находкой. Двуличность Руместана была инстинктивная, бессознательная.

При виде музыканта, который направился к нему вразвалку, обнажая в широкой улыбке белые зубы, Нума сперва хотел было бросить ему свое ни к чему не обязывающее приветствие. Но как назвать «другом» мужика в фетровой шапчонке, в сером курточке, из рукавов которой вылезали грубые черные руки, какие можно увидеть на деревенских фотографиях? Он предпочел напустить на себя «министерский вид» и пройти мимо бедняги, не обратив на него внимания. Ошеломленный Вальмажур застыл на месте, и его сейчас же затолкала толпа, шедшая по пятам за великим человеком. Однако Вальмажур появлялся потом каждый день, но только уже не осмеливался подойти, а сидел на краешке скамейки, являя собой одну из тех смиренных, унылых, так часто попадающихся на вокзалах фигур солдат или эмигрантов, готовых ко всяким случайностям злосчастной судьбы. Руместана преследовало это немое видение. Он делал вид, что не обращает на него внимания, отводил глаза в сторону, нарочно громко заговаривал с кем-нибудь — улыбка его жертвы не исчезала, пока поезд не отходил. Он предпочел бы напор, скандал, который вызвал бы вмешательство полицейских и раз навсегда избавил бы его от докучного просителя. Дошло до того, что ему, министру, приходилось уезжать с другого вокзала, отправляться иной раз с левого берега Сены, чтобы избежать этого живого упрека. Для людей, занимающих самые высокие посты, иногда имеют значение такие вот пустяки — камешек, попавший в семимильные сапоги и все — таки натирающий ногу.

Вальмажур не отступал.

«Наверно, заболел...» — думал он в такие дни и упорно возвращался на свое место. Дома его с лихорадочным нетерпением дожидалась сестра, не спускавшая глаз с двери.

— Ну что, видел министра?.. Подписал он бумагу?

И еще больше, чем неизменное «Нет... Пока еще нет!..» — выводила ее из себя та флегматичность, с какую брат опускал на пол свой инструмент

на ремешке, врезавшемся ему в плечо, та беспечная, беззаботная флегматичность, какая встречается у южан не реже, чем горячность. Крестьяночка приходила в неистовство... Да что у него, вода в жилах течет? Да когда же этому будет конец?.. «Смотри, как бы я сама не вмешалась!..» А Вальмажур спокойно ждал, пока утихнет буря, вынимал из футляра дудочку и палочку с наконечником слоновой кости и протирал их шерстяным лоскутом, чтобы они не отсырели, давал обещание лучше взяться за это дело завтра, снова попытаться счастья в министерстве и, если Руместана не окажется, попросить приема у его супруги.

— Да, супруга, как бы не так!.. Ты отлично знаешь, что ей не очень-то нравится твоя музыка. Вот барышня — дело другое... Барышня — это вернее... — твердила, покачивая головой, Одиберта.

— И даме и барышне на вас плевать... — говорил старик Вальмажур, съездившись у камина, где горели торфяные плитки, которые его дочь прикрывала еще и золой для экономии, из-за чего между ними всегда происходили раздоры.

В глубине души старик, как бывший тамбуринщик, завидовал сыну и отчасти был даже доволен его неудачей. Все эти осложнения, вся эта суматошная перемена в их жизни пришлись по душе бродячему музыканту, и сперва он даже обрадовался поездке, возможности увидеть Париж, этот «рай для женщин и ад для лошадей», как говорят в Провансе возчики, рисуя в своем воображении гурий в прозрачных одеждах и коней, встающих на дыбы среди адского пламени. Но в Париже его ожидали холод, дождь, лишения. Из страха перед Одибертой и из почтения к министру он только поварчивал, дрожа от холода в своем уголке, да подмигивал — как будто исподтишка вставлял какое-нибудь словцо. Но недобросовестность Руместана и вспышка дочери давали и ему право открыто негодовать. Теперь он мог отомстить за все удары по самолюбию, которые вот уже десять лет наносила ему слава сына, и, слушая его игру на флейте, он пожимал плечами: «Играй, играй... Ладно... Не много тебе от этого будет проку».

А вслух он спрашивал, не жалко ли им старика. Завезли его в эту Сибирь, чтобы он подох здесь от холода и нищеты. И тут он начинал вспоминать свою бедную женушку, святую женщину, а она между прочим столько горя от него натерпелась, что в конце концов померла от этого: как выражалась Одиберта, «для него что коза, что жена — все едино». Он целыми часами ныл, чуть что не засовывая голову в камин и корча всевозможные гримасы, искажавшие его красное лицо, — наконец, дочь, устав от его нытья, выдавала ему два-три су, чтобы он выпил стакан

сладенького в винной лавке. Там он мгновенно успокаивался. Отогревшись, старый шут вновь обретал балаганное вдохновение персонажа из итальянской народной комедии — длинноносого, тонкогубого, с сухим искривленным туловищем. Он забавлял посетителей своими гасконскими выходками, он высмеивал музыку сына, из-за которой им приходилось выносить в гостинице кучу неприятностей. Дело в том, что Вальмажур, не переставая готовиться к дебюту, играл до поздней ночи, и соседи жаловались на невыносимо резкие звуки флейты, на непрерывное гудение тамбурина, от которого лестница дрожала так, словно на пятом втаже была установлена вращающаяся башня.

— Ничего, играй... — говорила брату Одиберта, когда хозяин делал им замечания. — Не хватало еще, чтобы в Париже, где день и ночь стоит такой шум, что глаз не сомкнешь, человек не имел права заниматься музыкой!

И он занимался. В конце концов их попросили выехать. И когда им пришлось расстаться с пассажем Сомон, который был так хорошо известен в Апсе и напоминал им родину, они почувствовали, что они теперь еще дальше от родных мест, еще севернее.

Накануне отъезда, после того как тамбуринщик возвратился из своего ежедневного тщетного похода, Одиберта наспех накормила обоих мужчин, не проронив ни слова за завтраком. Но глаза ее сверкали, вид у нее был боевой: казалось, она приняла какое-то решение. Когда с едой было покончено, она, предоставив мужчинам убрать со стола, набросила на плечи длинную накидку цвета ржавчины.

— Два месяца, уже скоро два месяца, как мы в Париже!.. — промолвила она, стиснув зубы. — Довольно!.. Я сама с ним поговорю, с этим министром!..

Она расправила бант на грозном чепчике, который казался теперь на ее волнистой прическе боевым шлемом, и вышла из комнаты быстрым, решительным шагом, от которого ее начищенные до блеска каблуки подбивали толстый суконный подол юбки. Отец и сын посмотрели на нее с ужасом, но не решились удерживать, отлично зная, что только распялят в ней гнев. Все послеполуденное время они просидели вдвоем и обменялись двумя — тремя словами, пока за окнами дождь струился потоками по стеклянной крыше пассажа. Сын натирал суконкой палочку и флейту, отец поджаривал мясо к обеду на огне, куда он подбросил побольше топлива, чтобы хоть раз отогреться по-настоящему за время долгого отсутствия Одиберты. Наконец в коридоре послышались ее шаги — торопливые шаги коротышки. Она вошла с сияющим видом.

— Жалко, что окно выходит не на улицу, — сказала она, снимая

накидку, на которой не заметно было ни капли дождя. — Вы бы увидели, в каком красивом экипаже я приехала.

— В экипаже? Ты что, смеешься?

— И с лакеями да в галунах... Сейчас вся гостиница только об этом и трещит.

И она стала рассказывать, показывать в лицах свое путешествие замершим от восторга мужчинам. Перво — наперво, вместо того чтобы толкаться к министру, который бы ее и не принял, она раздобыла — всего добьешься, если поговорить вежливенько, — адрес свояченицы, той высокой барышни, что приезжала с Нумой к ним в Вальмажур. Живет она не в министерстве, а в квартире у своих родителей, — у них там вымощены кое-как улочки, пахнет бакалеей и всякими травами, как у них в провинции. Это довольно далеко, долго надо идти. Наконец она нашла дом на площади с аркадами — совсем как вокруг Малой площади в Апсе. Ах, милая барышня! И как же она ее любезно приняла, без всякого чванства, а ведь у нее все очень богато, в квартире полно позолоты, и во всех углах подвязаны и так и этак шелковые занавески.

— А, здравствуйте!.. Так вы в Париже?.. Какими судьбами?.. Давно ли?..

Когда барышня узнала, как с ними обошелся Нума, она мигом позвонила компаньонке, — а та тоже дама, шляпку носит, — и они втроем поехали в министерство. Надо бы *о видеть, как все эти старики приказные засуетились и закланялись до земли, и как они бежали вперед, чтобы пошире распахнуть двери.

— Значит, ты и *пенистра* видела? — робко спросил Вальмажур, когда она остановилась, чтобы передохнуть.

— Еще бы не видела!.. Можешь не сомневаться. Ах ты растяпа несчастный, я же тебе говорила, что надо привлечь к этому делу барышню!.. Она все мигом уладила, безо всяких разговоров... Через неделю в *министерстве* будет большой вечер, чтобы тебя показать директорам театров... А потом сразу — *чирик-чирик* — бумажка и подпись.

В довершение всего барышня довезла ее до гостиницы в карете самого министра.

— И, между прочим, ей хотелось зайти сюда к нам... — добавила провансалка, подмигнув отцу и скорчив на своем хорошеньком личике многозначительную гримасу.

У старика вся физиономия, изрезанная морщинами, как сухая винная ягода, выразительно сжалась, словно он хотел сказать: «Все понятно...

Молчок!..» Он перестал смеяться над тамбурином. А Вальмажур оставался невозмутимым — он не понимал коварного намека сестры, он думал только о предстоящем дебюте. Сняв с гвоздя инструмент, он принялся репетировать, и целые гроздья его трелей убыстренными тактами понеслись, как прощальный привет, с одного конца пассажа на другой.

VIII. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Министр и его жена завтракали у себя на втором этаже, в пышной, непомерно большой столовой, из которой никак не могли изгнать холод ни толстые портьеры, ни калориферы, согревавшие все здание министерства, ни пар от кушаний. В это утро они случайно оказались одни. На скатерти, среди тарелок и блюд, всегда в большом количестве подававшихся у южанина, стояла его коробка с сигарами, чашка с вербеной настойкой, заменяющей провансальцам чай, и большие ящики с разноцветными карточками, на которые были занесены фамилии сенаторов, депутатов, ректоров, профессоров, академиков, светских людей — обычных и необычных посетителей вечеров, устраивавшихся в министерстве. Несколько карточек высывалось из стопок — на них записаны были особо важные гости, чье присутствие на первой серии «малых концертов» было просто необходимо. Г-жа Руместан перебирала картотеку, задерживалась на некоторых именах. Нума, выбирая сигару, наблюдал за женой уголком глаза, стараясь уловить в ее спокойных глазах неодобрение, критику слишком смелого выбора лиц, которым разосланы были приглашения.

Но Розали не задавала вопросов. Все эти приготовления были ей совершенно безразличны. Переезд в министерство еще больше отдалил ее от мужа: их разделяли его беспрестанные, непременные отлучки, многочисленный персонал, широкий образ жизни, разрушавший домашний уют. К этому примешивалось горестное сожаление о том, что у нее нет детей, что она не слышит подле себя их неутомимой беготни, их смеха, от которого звенит в ушах и от которого министерская столовая утратила бы ледяное обличье ресторанного зала при гостинице, где они усаживались за стол как бы мимоходом, где обезличены и столовое белье, и мебель, и серебро, и вся вообще пышная обстановка, подобающая их теперешнему положению.

За столом царило неловкое молчание, и от этого к ним явственней доносились приглушенные звуки, всплески отдаленной музыки, как бы подчеркнутые стуком молотков, — внизу устанавливали и обивали материей эстраду для концерта, и там же репетировали музыканты. Открылась дверь, и в столовую вошел с бумагами в руках правитель канцелярии.

— Опять просьбы!..

Руместан вспылел... Нет уж, извините! Даже самому папе римскому не найдется местечка. Межан невозмутимо положил перед ним пачку писем, визитных карточек, надушенных ааписок.

— Отказать не так легко... Вы сами обещали...

— Я?.. Да я ни с кем не говорил!..

— Взгляните... «Дорогой господин министр! Напоминаю Вам о Вашем добром слове...» А тут: «Генерал сказал мне, что Вы сообразовали предложить ему...» А вот тут: «Напоминаю господину министру его обещание...»

— Выходит, я говорю во сне! — в изумлении воскликнул Руместан.

Дело, однако, заключалось в том, что едва было принято решение устроить вечер, как он стал говорить всем, кого встречал в Палате или в Сенате: «Знайте, что я рассчитываю на вас десятого». А так как он при этом добавлял: «Будут все больше свои...» — то никто не забыл столь лестного приглашения.

Смущенный тем, что его застигли на месте преступления в присутствии жены, он как всегда в подобных случаях, на нее же и напустился:

— А все твоя сестрица со своим тамбуринщиком... Очень мне нужен весь этот тарарам... Я хотел начать концерты позднее. Но девочка до того нетерпелива: «Нет, нет... Сейчас же, не откладывая!» И ты тоже торопила меня... Будь я неладен, если этот тамбурин не вскружил вам голову.

— О нет, только не мне! — засмеялась Розали. — Я даже опасаясь, что парижане не оценят этой экзотической музыки... С нею надо было бы перенести к нам сюда провансальские дали, костюмы, фарандолу... Но прежде всего... — Тут она заговорила серьезно: — Надо было выполнить взятое на себя обязательство.

— Обязательство... Обязательство... — повторял Нума. — Скоро слова нельзя будет сказать.

Он обернулся к улыбающемуся секретарю:

— Черт возьми, любезный друг! Не все южане, как вы, поостыли, приутихли и стали скупы на слова... Вы поддельный южанин, ренегат, французик, как говорят у нас... Это называется южанин! Человек, который никогда не врет и не любит вербенную настойку! — добавил он с комическим негодованием.

— Не такой уж я французик, как кажется, господин министр... — с неизменной невозмутимостью возразил Межан. — Когда я двадцать лет назад приехал в Париж, от меня здорово несло Югом... Самоуверенность, акцент, жестикуляция... Я был болтун и выдумщик, как...

— Как Бомпар... — подсказал Руместан, который недолго любил, когда другие потешались над его сердечным другом, но сам себе в этом не отказывал.

— Да, ей-богу, вроде Бомпара... Я как-то инстинктивно не в состоянии был слово правды сказать... Но в одно прекрасное утро мне стало совестно, и я занялся самоисправлением. С внешними проявлениями тем* пераamenta справиться не так уж трудно: можно понизить голос, прижать локти к туловищу. Но вот то, что кипит внутри и рвется наружу... Тогда я принял героическое решение. Каждый раз, как я ловил себя на лжи» я запрещал себе открывать рот во все продолжение дня... Только так мне удалось исправить свою природу. И все же за холодной оболочкой во мне жив прежний инстинкт... Иногда я спохватываюсь на середине фразы и замолкаю. И не потому, чтобы у меня не хватало слов, напротив! Я сдерживаю себя, так как чувствую, что сейчас соврну.

— Страшное дело Юг! Никак его с себя не стряхнешь... — благодушно произнес Руместан, с философической покорностью судьбе пуская в потолок струю сигарного дыма. — Меня он подводит главным образом той моей манией посулов, неодолимым зудом напускаться на людей в стремлении осчастливить их наперекор им самим.

Его прервал дежурный служитель, появившийся на пороге и доложивший с понимающим, многозначительным видом:

— Господин Бешю!..

Министр раздраженно топнул ногой.

— Я завтракаю... Оставьте меня в покое!

Служитель стал извиняться. Господин Бешю уверяет, что его превосходительство сами... Руместан смягчился.

.— Ладно, ладно, сейчас иду... Пусть подождет в кабинете.

— Нет, нет, — вмешался Межан. — Кабинет ваш занят... Совет министерства, вы же знаете... Вы сами назначили это время.

— Тогда у господина де Лаппара...

— Туда я провел епископа Тюльского, — робко заметил служитель, — господин министр изволили сказать...

Везде полно народу... Везде просители, которых он конфиденциально предупредил, чтобы они пришли именно в этот час, если хотят застать его. И большей частью это люди заметные, не мелюзга какая-нибудь, их нельзя заставлять ждать.

— Зайди с ним ко мне в малую гостиную... Я сейчас все равно уезжаю в город, — сказала Розали, вставая из-за стола.

Пока служитель и секретарь устраивали посетителей или уговаривали

их подождать, министр глотал свою вербену, обжигаясь и бормоча себе под нос:

— У меня голова кругом идет...

— А что ему надо, этому унылому Бешю? — спросила Розали, инстинктивно понижая голос в этом переполненном людьми доме, где за каждой дверью находился посторонний человек.

— Что надо?.. Должность директора, вот что!.. Он акула, подстерегающая Дансера... Ждет, чтобы Дансера выбросили за борт, — тогда он его сожрет.

Она подошла к нему вплотную.

— Дансер уходит из министерства?

— А ты с ним знакома?

— Отец часто говорил мне о нем... Это его земляк, друг детства... Он считает его в высшей степени порядочным человеком, и притом человеком большого ума.

Руместан забормотал:

— Вредные тенденции... вольтерьянец... Эта отставка связана с намеченными им реформами. И к тому же Дансер очень стар.

— Ты собираешься взять на его место Бешю?

— О, я знаю, что у бедняги отсутствует дар нравиться дамам!

Она усмехнулась откровенно презрительной усмешкой.

— Ну, дерзости его мне так же безразличны, как и комплименты... Но я не могу простить ему эти его клерикальные ужимки, это выставленное напоказ благомыслие... Я готова уважать в человеке любую веру... Но нет на свете ничего более гнусного и возмутительного, чем ложь и лицемерие.

Сначала ей надо было сделать над собой усилие, чтобы заговорить, но потом она увлеклась и говорила горячо, красноречиво. Ее немного холодное лицо было воодушевлено порывом чистосердечия, на нем вспыхнул румянец благородного негодования.

— Тс! Тс! — зашептал Руместан, указывая на дверь.

Да, он согласен, что это несправедливо. Старик Дансер оказывал большие услуги... Но что делать? Он дал слово...

— Возьми его обратно... — сказала Розали. — Ну, пожалуйста, Нума!.. Ради меня!.. Я тебя прошу!

Сейчас она говорила ласково, и все же это было приказание, ее маленькая ручка недаром сжимала его плечо. Он был растроган. Жена уже давно утратила всякий интерес к его делам и с безмолвной снисходительностью внимала ему, когда он излагал ей свои беспрестанно менявшиеся планы. Просьба эта ему льстила.

— Могу ли я хоть в чем-нибудь отказать тебе, дорогая?

И он поцеловал ей сперва кончики пальцев, а потом выше — под кружевным рукавом. У нее такие красивые руки!.. Тем не менее ему было мучительно трудно сказать кому-нибудь в лицо неприятную вещь, и он заставил себя встать.

— Я здесь!.. Я все слышу!.. — сказала она, грозя ему пальчиком.

Он прошел в малую гостиную, оставив дверь полуоткрытой, чтобы придать себе мужества и чтобы она могла его слышать. О, начал он решительно, энергично!

— Я в отчаянии, драгоценный Бешю... Я ничего не могу для вас сделать...

Ответов ученого не было слышно, до нее долетали только плаксивые интонации да шум, который он производил, втягивая воздух носом, похожим на хоботок тапира. Но, к величайшему изумлению Розали, Руместан не сдался и продолжал защищать Дансера с убежденностью, поистине удивительной в человеке, которому доводы для защиты были только что подсказаны... Разумеется, ему крайне неприятно нарушать данное обещание, и все-таки это лучше, чем допустить несправедливость, не так ли?.. Он высказывал мысли жены, но украшал их всевозможными модуляциями и при этом так взволнованно жестикулировал, что у двери раздувалась портьера.

— Впрочем, — добавил он, внезапно меняя тон, — я возьму вам этот небольшой ущерб...

— Ах боже мой! — прошептала Розали.

И тут градом посыпались щедрые посулы: командорский крест Почетного легиона к Новому году, первое же вакантное место в совете министерства и то и се... Собеседник пытался из приличия возражать, но Руместан перебил его:

— Оставьте, оставьте... Это будет только справедливо. Такие люди, как вы, редки...

Его опьяняло собственное доброжелательство, он захлебывался от дружеских чувств, так что, не удались Бешю, министр, пожалуй, предложил бы ему свой портфель. Когда тот был уже у двери, он остановил его:

— Я рассчитываю на вас в воскресенье... У меня начинается цикл небольших концертов... Только для своих, понимаете?.. Для избранных...

Вернувшись к Розали, он спросил:

— Ну, что скажешь? Надеюсь, я ему ни в чем не уступил?

Это было до того забавно, что она ответила ему громким смехом.

Когда причина ее веселья разъяснилась и он сообразил, что взял на себя новые обязательства, его объял ужас.

— Ничего, ничего... Тебе все-таки будут благодарны.

Она ушла, улыбнувшись ему, как улыбалась в былые дни, у нее на душе было легко от сделанного только что доброго дела, и, может быть, она была счастлива, что в ее сердце зашевелилось чувство, которое она привыкла считать умершим.

— Ангел, ну право ангел! — прошептал растроганный Руместан, с нежностью глядя ей вслед.

И, когда Межан вошел напомнить ему о заседании совета, он не смог удержаться от излишней радости:

— Понимаете, друг мой, когда имеешь счастье обладать такой женой... семейная жизнь — это земной рай... Женитесь поскорее...

Межан молча покачал головой.

— Как? Значит, у вас не вытанцовывается?

— Боюсь, что нет. Госпожа Руместан обещала мне порасспросить свою сестрицу, но так как она ничего мне не говорит...

— Хотите, я возьму это на себя? У меня с моей маленькой свояченицей полное взаимопонимание. Бьюсь об заклад, что смогу ее убедить...

В чайнике оставалось немного вербеновой настойки. Налив себе еще одну чашку, Руместан принялся изъяслять правителю канцелярии свое особое благоволение... Ах, он нисколько не зазнался на теперешнем высоком посту! Межан по-прежнему его неизменный, его лучший друг. Благодаря Межану и Розали он чувствует себя уверенней, крепче...

— Ах, дорогой мой, какая женщина, какая женщина!.. Сколько доброты, сколько всепрощения!.. И подумать только, что я мог...

Он с трудом удержался от признаний, которые вместе с глубоким вздохом готовы были уже слететь с его губ.

— Я был бы великим грешником, если бы не любил ее.

В столовую быстрым шагом и с весьма таинственным видом вошел барон де Лаппара.

— Приехала мадемуазель Башельри.

Нума густо покраснел. В глазах у него вспыхнула молния, миготом иссушившая влагу сердечного умиления.

— Где она!.. У вас?..

— У меня уже находился монсеньер Липпман... — сказал Лаппара, чуть заметно усмехнувшись при мысли о возможной встрече прелата с актрисой. — Я провел ее вниз... в большую гостиную... Репетиция кончилась.

— Отлично... Сейчас иду.

— Не забудьте про совет!.. — сказал ему вслед Межан.

Но Руместан, не слушая его, устремился вниз по крутой лесенке, которая вела из личных апартаментов министра в парадные залы первого этажа.

После истории с г-жой д'Эскарбес он остерегался серьезных связей, которые, начавшись по влечению сердца или из тщеславия, могли бы в конце концов разрушить его семейную жизнь. Он отнюдь не был примерным мужем, но его брак, зашитый на живую нитку, еще держался. Хотя у Розали был уже некоторый опыт, она была слишком прямой и честной натурой, чтобы устанавливать за мужем ревнивое наблюдение; она вечно была начеку, но пока не получала каких-либо доказательств его неверности. И даже сейчас, возникни у него подозрение насчет серьезных последствий, какие эта новая прихоть будет иметь для его жизни, он поспешил бы взбежать вверх по лестнице еще скорее, чем спускался. Но ведь судьба любит потешаться над нами и водить нас за нос, она является нам в покровах и маске, она окружает таинственностью очарование первых встреч. Чего ради стал бы Нума остерегаться этой девочки, которую он заметил из окошка кареты несколько дней назад, когда она шла по двору министерского особняка, перепрыгивая через лужицы и одной рукой приподнимая юбку, а другой с чисто парижской лихостью заламывая над головой зонтик? Длинные загнутые ресницы, шаловливый носик, белокурые волосы, собранные на затылке на американский манер, вившиеся, по-видимому, от сырости, пропитывавшей воздух, полные, но стройные ножки, прямо держащиеся в туфлях на высоких, слегка искривленных каблучках, — вот все, что он уловил с первого взгляда. Вечером он, не придавая этому никакого значения, спросил у Лаппара:

— Держу пари, что славненькая мордочка, которую я видел сегодня утром во дворе, направлялась к вам?

— Да, господин министр, ко мне, но в расчете на встречу с вами...

Он сказал, что это крошка Башельри.

— Как? Дебютантка театра Буфф? Сколько же ей лет?.. Она ведь совсем девчонка!..

Этой зимой газеты много писали об Алисе Башельри, которую каприз модного маэстро вытащил из какого-то провинциального театрала. Весь Париж стремился услышать, как она поет песенку «Поваренок», с неотразимым мальчишеским задором подчеркивая припев: «Эх, булочки горячи, только вынуты из печи!» Бульварные театры каждый сезон заглатывают по полдюжины таких «звездочек», создавая им бумажную

славу, надутую легким газом рекламы и напоминающую розовые детские шарики, которые живут один день на солнце, в пыли городских садов. Если бы вы знали, чего она добивалась в министерстве! Милости попасть в программу первого концерта. Крошка Башельри в Министерстве народного просвещения!.. Это было так забавно, что Нума пожелал лично выслушать ее просьбу, и письмом из министерства, отдававшим жесткой казенщиной канцелярской словесности, ее известили, что он примет ее на следующий день. Но на следующий день мадемуазель Башельри не явилась.

— Наверно, желание прошло... — сказал Лаппара. — Она же еще ребенок!

Министр был задет, два дня не заговаривал о Башельри, а на третий послал за ней.

Сейчас она дожидалась в парадной, красной с золотом, гостиной, которой придавали особую величественность высокие окна до полу, выходившие в оголенный сад, гобелены и мраморный Мольер, который, задумавшись, сидел в углу. Рояль Плейеля и несколько пюпитров для нот даже как-то терялись в этом просторном, холодном, словно пустой зал музея, помещении, в котором мог бы оробеть всякий, кроме малютки Башельри. Но ведь она была так ребячлива! Ее соблазнил натертый лоснящийся паркет, и теперь она забавлялась: закутанная в меха, засунув руки в малюсенькую муфточку, задрал носик из-под низко надвинутой меховой шапочки и всеми движениями напоминая корифейку балета на льду из оперы «Пророк»,^[23] она скользила по всей гостиной.

За этими упражнениями ее и застал Руместан.

— Ах, господин министр!

Запыхавшись, моргая своими длинными ресницами, она растерянно остановилась.

Он вошел твердым, мерным шагом, высоко подняв голову, чтобы придать некоторую официальность не совсем обычной встрече и проучить девчонку, заставляющую ждать высокую особу, но был незамедлительно обезоружен. Ничего не поделаешь!.. Она так хорошо объяснила, в чем суть ее просьбы, выразила внезапно овладевшее ею честолюбивое желание принять участие в концерте, о котором было столько разговоров, воспользоваться случаем и выступить перед публикой не в оперетке и не в гривуазном фарсе, которые ей уже опостытели! Но потом, поразмыслив, скисла.

— Ох как скисла!.. Правда, мама?

Тут только Руместан заметил дородную даму в коротком бархатном полупальто и шляпе с перьями, приближавшуюся к нему из

противоположного конца гостиной, почтительно приседая через каждые три шага. То была госпожа Башельри-мать, говорившая с бордоским акцентом, бывшая кафешантанная Дюгазон, с носиком, как у дочки, уже совсем незаметным на широкой физиономии торговки устрицами, — одна из тех устрашающих мамаш, которые сопровождают дочек как прискорбный прообраз того, что сулит будущее их юной красоте. Нума, однако, в настоящий момент был не склонен философствовать; его покорила юная беззаботная грация этого вполне сформировавшегося и притом прелестно сформировавшегося тела, он был восхищен жаргонным словечком девицы, которое смягчал ее почти детский смех: ей, как сказали обе дамы, было всего шестнадцать лет.

— Шестнадцать лет! В каком же возрасте она поступила в театр?

— Она и родилась-то в театре, господин министр. Отец — он сейчас в отставке — был директором Фоли — Борделез.

— Словом, я появилась на свет на подмостках, — дерзко заявила Алиса, показывая все свои сверкающие тридцать два зуба, выстроившиеся, как на параде.

— Алиса, Алиса! Это же неуважение к его превосходительству.

— Оставьте!.. Она еще ребенок.

Благожелательным, почти отеческим жестом усадил он ее подле себя на диване, похвалил за честолюбивые замыслы, за любовь к подлинному искусству, за желание не довольствоваться пагубной легкостью опереточных успехов. Но только придется работать, много работать, учиться по-настоящему.

— О, этого я не боюсь! — сказала девочка, размахивая свернутыми в трубку нотами. — Каждый день двухчасовой урок у госпожи Вотер!..

— Вотер?.. Отлично!.. У нее превосходный метод...

Он развернул ноты и с видом знатока просмотрел их.

— А что мы поем?.. *Agal* Вальс из «Мирейли»^[24]... Песенка о Магали... Это все для меня родное, — заметил Нума и, полузакрыв глаза, покачивая в такт головой, принялся напевать:

О Магали, тебя люблю я.
Бежим со мной под сень густую
Раскидистых ветвей...

А она подхватила:

Под ночи темной покрывало.
Чтоб ты огнем очей...

Руместан запел во весь голос:

Все звезды в небе затмевала...

Но она прервала его:

— Погодите... Мама будет нам аккомпанировать.

Она отодвинула пюпитры, открыла крышку рояля, насильно усадила мать. Решительная особа!.. Министр на секунду заколебался, держа палец на нотах дуэта. Что, если кто-нибудь услышит?.. Впрочем, уже три дня подряд в большой гостиной по утрам идут репетиции... И они начали.

Оба, стоя, заглядывали в ноты, а г-жа Башельри аккомпанировала по памяти. Они почти касались друг друга лбами, их дыхание сливалось в ласкающих модуляциях ритма. Нума воодушевился, он пел с чувством, подымая руки на высоких нотах, чтобы легче взять их. С тех пор как началась его политическая карьера, он говорил с трибуны гораздо чаще, чем пел. Голос его отяжелел, как и фигура, но петь ему все же доставляло большое удовольствие, особенно петь вместе с этой девочкой.

Во всяком случае, он позабыл и об епископе Тюльском и о совете министерства, который уже собрался за большим зеленым столом в томительном ожидании министра. Раза два в гостиную заглядывала уныло — бледная физиономия дежурного служителя, позвякивала его серебряная цепь, но, увидев, что министр народного просвещения и вероисповеданий поет дуэт с опереточной актрисой, ошеломленный служитель тотчас же исчезал. Нума перестал быть министром, теперь он был корзинщик Венсан, преследующий неуловимую Магали во всех ее кокетливых превращениях. И как ловко она убегала, как умела она ускользать с детским лукавством, как сверкали в улыбке ее жемчужные зубки, пока, наконец, побежденная, она не сдалась, положив на плечо друга шаловливую, закружившуюся от бега головку.

Очарование нарушила мамаша Башельри; она повернулась к ним, едва закончилась ария:

— Какой голос, господин министр, какой у вас голос!

— Да... в молодости я пел... — сказал он не без самодовольства.

— Но вы же и теперь *возхитительно* поете... Нельзя даже сравнить с

господином де Лаппара, правда, Бебе?

Бебе, свертывая ноты, только слегка пожала плечиками, словно столь бесспорная истина и не нуждалась в словесном подтверждении. Руместан, слегка обеспокоенный, спросил:

— А вы хорошо знакомы с господином де Лаппара?..

— Да, он иногда заходит к нам поесть провансальской ухи, а после обеда они с Бебе поют дуэты.

В этот момент служитель, уже не слыша музыки, решил войти в гостиную с предосторожностями укротителя, входящего в клетку к хищнику.

— Иду, иду!.. — сказал Руместан и тут же обратился к девочке, напустив на себя самый что ни есть министерский вид, чтобы она почувствовала, какое расстояние на иерархической лестнице отделяет его от служителя:

— Поздравляю вас, мадемуазель. У вас талант, большой талант, и если вы споете у нас что-нибудь в воскресенье, я буду только очень рад.

Она вскрикнула совсем по-детски:

— Правда? Какой вы милый!.. — Подпрыгнув, она повисла у него на шее.

— Алиса!.. Алиса!.. Что с тобой?

Но она была уже далеко, она бежала через анфиладу гостиных и казалась такой крошкой — девочка, ну совсем девочка!

Его взбудоражила эта ласка, и он помедлил с минуту, прежде чем подняться к себе в кабинет. Он взглянул в окно. Перед ним в саду, еще покрытом осенней ржавчиной, скользил по лужайке солнечный луч, слегка согревая и оживляя зиму. И ему казалось, что такая же нежность проникла в самое его сердце, словно живое, гибкое тело девушки, прижавшись к нему, согрело его своим теплом. «Ах, молодость — как это хорошо!» Он машинально взглянул на себя в зеркало — его смутила тревожная мысль, уже много лет не приходившая ему в голову... Как он изменился, господи батюшка!.. Растолстел от сидячей жизни, от езды в карете — пешком он почти совсем не ходил, — цвет лица у него испортился от ночных бдений, волосы на висках поредели и побелели, но особенно его испугали расплывшиеся щеки, непомерно увеличившееся расстояние между носом и ушами. Отпустить, что ли, бороду? Да, но она вырастет седая. А ведь ему еще и сорока пяти нет. Ах, как старит политика!

В одну минуту он пережил душевную боль и весь ужас женщины, которая убедилась, что все для нее кончено, что она уже не может внушать любовь, хотя еще способна ощущать ее. Покрасневшие веки Нумы

набрякли. Во дворце одного из сильных мира сего эта глубоко человеческая горечь, свободная от всякого честолюбия, казалась еще более жгучей. Но в силу легкости своего характера Нума быстро утешился: он подумал об успехе, о своем даровании, положении, которое он занимал. Разве за это нельзя любить, как за красоту и за молодость?!

— Еще как можно!..

Он обругал себя за глупость, прогнал одним движением плеча свою горечь и пошел закрывать заседание совета, ибо председательствовать на нем у него уже не оставалось времени.

— Что это сегодня с вами, дорогой министр?.. Вы словно бы помолодели.

Сегодня ему раз десять задавали этот вопрос в кулуарах Палаты — так заметно было его превосходное настроение, да он и сам ловил себя на том, что то и дело напевал «О Магали! Тебя люблю я...». Сидя на министерской скамье, он с лестным для выступающего оратора вниманием слушал его бесконечную речь о таможенном тарифе и блаженно улыбался, полузакрыв глаза. Депутаты Левой, страшившиеся его репутации коварного человека, с волнением говорили друг другу: «Будем начеку! Руместан что-то замышляет». А все дело было в том, что вдесь, перед местами, отведенными для министров, в пустоте, в которой жужжала нудная речь оратора, его воображение рисовало себе фигурку малютки Башельри со всеми пленительными подробностями: светлыми кудряшками, спускающимися на лоб шелковистой куделью, румянцем — розовым, как боярышник, гибкой, изящной талией девочки, уже превратившейся в женщину.

Однако вечером, возвращаясь из Версаля с коллегами по совету министров, он снова ощутил грусть. В спертот от табачного дыма воздухе вагона велся начатый Руместаном в обычном для него непринужденно веселом тоне разговор: речь шла о замеченной всеми на дипломатической трибуне красной бархатной шляпке, обрамлявшей матово-бледное личико юной красавицы креолки.

Это приятное зрелище отвлекло высокочтимых господ депутатов от таможенного тарифа. Все они, закинув головы, устремили взор на дипломатическую трибуну, совсем как школьники на уроке греческого языка, когда в класс случайно залетает заблудившаяся бабочка. Кто была эта дама? Никто не имел понятия.

— Надо спросить у генерала!.. — игривым тоном сказал Нума, повернувшись к военному министру, маркизу д'Эспайон л Обор, молодящемуся старичку, все еще весьма склонному к любовным утехам. —

Ладно, ладно!.. Не вздумайте отрицать! Она только на вас и глядела.

Генерал сделал гримасу, от которой его желтая борода, как у старого козла, подпрыгнула, словно на пружине, к самому носу.

— Женщины давно уже перестали на меня смотреть. Им подавай таких вот кобельков.

Это словечко распутного жаргона, который так любят военные из аристократии, относилось к юному Лаппара, который забился в дальний угол вагона, держал на коленях портфель своего министра и хранил в этой компании «больших шишек» почтительное молчание. Руместан, сам не зная почему, почувствовал себя уязвленным и стал горячо возражать. По его мнению, у мужчины могут быть такие достоинства, которые женщины предпочтут молодости.

— Они вам и не то еще напоят!

— Спросите у всех присутствующих.

Присутствующие — с брюшком, на котором едва сходились борты сюртука, или, наоборот, иссушенные возрастом, лысые или седые, беззубые, слюнявые, чем — нибудь да больные, министры и товарищи министров — все разделяли мнение Руместана. Под шум колес и пронзительные свистки паровоза парламентского поезда завязался оживленный спор.

— Ишь, министры-то наши сцепились, — говорили в соседних купе.

Журналисты старались уловить сквозь перегородку хоть несколько слов.

— Им нужно, чтобы мужчина был на виду, стоял у власти, — гремел Нума. — Знать, что человек, который сейчас с ними, чья голова лежит у них на коленях, — человек известный, пользующийся властью, — вот что их возбуждает!

— Ну да, разумеется!

— Верно!.. Верно!..

— Я с вами согласен, дорогой коллега.

— Ну, а я вам скажу, что, будучи просто двадцатипятилетним лейтенантом в Генеральном штабе, выходя по воскресеньям в парадном мундире с новыми аксельбантами, я ловил такие женские взгляды, которые словно кнутом обжигают вас с головы до пят. Теперь на мои генеральские эполеты так не смотрят... И потому, когда мне хочется вновь ощутить нелицемерный, жаркий пламень такого взгляда, немое уличное признание в любви, знаете, что я делаю? Беру одного из своих адъютантов помоложе — белые зубы, грудь колесом — и иду по улице об руку с ним, черт меня побери совсем!

Руместан умолк и до самого Парижа не сказал больше ни слова. Он вновь поддался той же меланхолии, что и утром, но сейчас испытывал еще и раздражение, возмущение глупостью и слепотой женщин, способных терять голову из-за дураков и самовлюбленных жеребчиков. Ну что такого особенного в этом Лаппара? Не вмешиваясь в спор, он, в безукоризненно сшитом костюме с широким шейным вырезом, фатовато поглаживал свою белокурую бородку. Хотелось надавать ему оплеух. Такой именно вид напускал он, наверно, на себя, когда пел дуэт из «Мирейли» с малюткой Башельри... Она, конечно, его любовница... Мысль эта бесила Руместана, но вместе с тем он хотел знать наверняка, хотел убедиться...

Едва они очутились наедине в карете, катившей по направлению к министерству, он безо всяких околичностей, не глядя на Лаппара, спросил:

— Давно вы знаете этих женщин?

— Каких женщин, господин министр?

— Да обеих дам Башельри?

Мысли его были заняты ими, и он полагал, что все тоже только о них и думают. Лаппара рассмеялся.

О, давно! Это его землячки. Семейство Башельри, театрик Фоли-Борделез — это все милые воспоминания его ранней юности. Когда он учился в лицее, из-за мамы Башельри сердце его билось так, что отрывались пуговицы форменной курточки.

— А теперь оно бьется из-за дочки? — деланно-небрежным тоном спросил Руместан, вытирая перчаткой стекло кареты, чтобы посмотреть на мокрую темную улицу.

— О, дочка — это совсем другой коленкор!.. Вид у нее довольно легкомысленный, а на самом деле это холодная и серьезная девица... Не знаю, чего она добивается, но, во всяком случае, не того, что я в состоянии был бы ей дать.

Нума почувствовал некое облегчение.

— Ах, так?.. Однако вы продолжаете их посещать?

— Конечно... Дома у них довольно занятно... Папаша, бывший директор, сочиняет комические куплеты для кафешантанов. Мамаша поет их с соответствующей мимикой, готовя белые грибы в масле и уху из морской рыбы, — таких блюд у самого Рубьона не найдешь. Крик, безалаберщина, бренчанье на рояли, пирушки — словом, Фоли-Бержер на дому. Малютка всюду заправила, кружится, ужинает, распевает, но ни на секунду не теряет головы.

— Э, мой мальчик! Вы, небось, рассчитываете, что в один прекрасный день она ее все же потеряет, и притом к вашей выгоде. — Внезапно

напустив на себя весьма внушительный вид, министр добавил — Неподходящая для вас среда, молодой человек. Надо, черт побери, быть серьезнее! Нельзя строить жизнь на одних бордоских Фоли.

Он взял его за руку.

— А вы не подумываете о женитьбе?

— Да нет, господин министр!.. Мне и так хорошо... Разве что подвернется уж очень счастливый случай...

— Мы найдем этот счастливый случай... При вашем имени, связях... — И тут он поддался внезапному порыву — Что вы сказали бы о мадемуазель Ле Кенуа?

Несмотря на всю свою смелость, бордосец побледнел от радостного волнения.

— О, господин министр, я никогда не посмел бы...

— Почему же нет?.. Ну да, ну да... Вы же знаете, как я люблю вас, мой мальчик... Я был бы счастлив, если бы вы с нами породнились, я чувствовал бы себя уверенней...

Он сразу осекся, вспомнив, что подобную фразу он уже утром сказал Межану.

«Ну, ладно!.. Что сделано, то сделано».

Он по привычке дернул плечом и забился в угол кареты. «Органс выберет, кого захочет... А я, во всяком случае, вытащу этого парня из неподходящей компании». Руместан был совершенно искренне убежден, что у него нет никаких иных побуждений.

IX. ВЕЧЕР В МИНИСТЕРСТВЕ

В этот вечер Сен-Жерменское предместье имело необычный вид. Улочки, обычно тихие и рано отходящие ко сну, просыпались от грохота омнибусов, катившихся отнюдь не по установленному для них маршруту. Некоторые из крупных артерий Парижа, свыкшиеся с непрерывным волнообразным шумом города, походили, наоборот, на сухие русла рек, из которых отвели воду: на подступах к ним, молчаливым, пустым и словно расширившимся, высилась фигура конного жандарма, или же поперек асфальтовой мостовой лежала унылая тень кордона полицейских с опущенными капюшонами, с руками, засунутыми поглубже в рукава дождевиков, — они находились здесь, чтобы не пропускать экипажей.

— Что тут, пожар? — спрашивал кто-нибудь, испуганно высовывая голову из окна кареты.

— Нет, сударь, сегодня званый вечер в Министерстве народного просвещения.

Полицейский возвращался на свой пост, а кучер отъезжал, кляня все на свете из-за того, что ему теперь придется делать огромный крюк на левом берегу Сены, где проложенные безо всякого плана улицы еще напоминают о лабиринте старого Парижа.

И впрямь, на расстоянии казалось, что яркое освещение обоих фасадов министерства, костры, зажженные посреди улицы из-за холодной погоды, и медленно движущаяся по одной окружности цепочка экипажных фонарей озаряют весь квартал заревом пожара, особенно ярким из-за голубоватой прозрачности сухого морозного воздуха. Но того, кто подходил ближе, сразу успокаивала отличная упорядоченность празднества, ровная белая пелена света, до самых крыш озарявшая соседние дома, надписи на которых читались отчетливо, как днем: «Мэрия VII округа»... «Министерство почты и телеграфа», — мерцающая между ветвями больших оголенных, неподвижных деревьев, словно бенгальские огни, словно софиты театральной рампы.

Среди прохожих, задержавшихся тут, несмотря на холод, и выстроившихся у дверей министерства любопытной шеренгой, сновала туда-сюда, переваливаясь, забавная тень, завернувшаяся с головы до ног в широкий крестьянский плащ, так что на лице ее видны были только два острых глаза. Она подходила, уходила, согнувшись в три погибели, щелкая зубами от холода и, однако, не ощущая его, — так опьяняло ее

лихорадочное возбуждение. Порой она устремлялась к экипажам, стоявшим вдоль всей улицы Гренель или незаметно приближавшимся в парадном звоне дорогой упряжки, в фыркание нетерпеливых лошадей, в переливах чего-то воздушно — белого за замутненными стеклами дверец. Порой возвращалась к воротам министерства, куда, по предъявлении специального пропуска, свободно въезжала, минуя очередь, карета какого-нибудь важного чиновника. Она расталкивала люден: «Простите, дайте мне взглянуть». Под огнями иллюминационных рам, под полосатым холстом маркиз с шумом выдвигались складные подножки и вслед затем по коврам растекались волны жестковатого атласа, легкого тюля и цветов. Маленькая тень жадно наклонялась и едва успевала отпрянуть, иначе ее раздавили бы другие кареты.

Одиберта хотела сама узнать и увидеть, как все это будет происходить. С какой гордостью смотрела она на толпу, на огни, на конную и пешую стражу, на весь этот уголок Парижа, вверх дном перевернувшийся из-за Вальмажурова тамбурина! Ведь устраивался праздник-то в его честь, и она сама себе внушала, что эти важные господа и нарядные дамы только и говорят, что о Вальмажуре. От ворот на улице Гренель она бежала до улицы Бельшас, откуда к министерству заворачивали экипажи, подходила к группе полицейских, кучеров, которые, завернувшись в широкие плащи, грелись у жаровен, пылавших посреди дороги, удивлялась, что весь этот люд говорит о холодах, о картофеле, замерзающем в погребах, — словом, о вещах, не имеющих никакого отношения к празднеству и к ее брату. Но особенно раздражала ее медлительность, с какой разворачивалась бесконечная цепь карет. Ей хотелось, чтобы в ворота поскорее въехал последний экипаж и она могла бы сказать себе: «Вот... Начинается! На этот раз уж наверняка». Но время шло, становилось все холоднее, ноги сводило так, что хоть плачь, но как же плакать, когда сердце-то радуется! Наконец она решила идти домой, но не преминула охватить последним взглядом весь этот блеск и несла его потом по ночным пустынным ледяным улицам в своей бедной дикарской головенке, вскружившейся от грез и надежд, так что жар честолюбия бился у нее в висках, а глаза остались навсегда ослепленными этой иллюминацией во славу Вальмажуров.

Что бы сказала она, если бы попала внутрь, если бы довелось ей увидеть всю анфиладу этих белых с золотом зал за аркадами дверей, зал, еще увеличенный отражением в зеркалах, залитых светом люстр, стенных бра, сверканием бриллиантов, аксельбантов, всевозможных орденов в виде пальмовых ветвей, перьев, звезд, орденов крупных, как мишурные солнца, или маленьких, словно брелочки, или, наконец, подвешенных к шее на

широких красных лентах, наводивших на мысль о только что отрубленной голове!

Здесь вперемешку со внатными аристократами из Сен — Жерменского предместья находились министры, генералы, послы, академики и члены ученого совета университета. Ни в амфитеатре Апса, ни даже на соревновании тамбуринщиков в Марселе у Вальмажура не было подобной аудитории. Откровенно говоря, имя его занимало немного места на этом празднестве, хотя он и являлся как бы поводом для него. Правда, в программе, обрамленной виньеткой, которую рисовал пером Дали, стояло: «Различные песенки на тамбурине», и имя Вальмажура напечатано было рядом с именами знаменитых певцов и музыкантов, но в программу никто не заглядывал. Только люди близкие, те, кто всегда обо всем осведомлен, говорили министру, стоя с ним у дверей первой гостиной:

— Значит, у вас тут и тамбуринщик выступает?

А он рассеянно отвечал:

— Да, это уж прихоть моих дам.

Бедняга Вальмажур несколько не занимал его мыслей. В этот вечер должен был состояться еще один дебют, для него гораздо более важный. Что скажет о ней публика? Будет ли у нее успех? Он был так увлечен этой девочкой, что мог обмануться насчет ее дарования певицы.

Ему было страшно признаться себе самому, насколько он был ею захвачен, его пронзила страсть сорокалетнего мужчины, он ощущал тревогу отца, мужа, любовника, покровителя дебютантки и напоминал сейчас одну из тех, объятых мучительным беспокойством теней, которые во время премьеры слоняются за кулисами.

Однако это не мешало ему быть радушным, внимательным хозяином, принимать гостей — и сколько гостей! — широко расставив руки, придавать лицу то или иное выражение, улыбаться, ржать, фыркать, откидывать туловище назад, кланяться, расточать любезности, несколько однообразные, но все же с подходящими оттенками.

Внезапно покинув, почти оттолкнув дорогого гостя, которому он только что потихоньку наобещал кучу всяких благ, министр устремлялся навстречу важной даме с красным лицом и горделивой осанкой.

— Ах, госпожа маршальша!

Он брал августейшую руку, затянутую в перчатку о двадцати пуговицах, и вел высокородную посетительницу из гостиной в гостиную сквозь двойную шеренгу почтительно склоненных черных фраков до концертного зала, где гостей встречали г-жа Руместан с сестрой. Возвращаясь оттуда, он снова пожимал руки, с самым милым видом

говорил: «Можете быть уверены... Это — дело решенное», или торопливо бросал: «Приветствую вас, друг мой», или же, с целью придать сегодняшнему приему больше теплоты, оживить светскую торжественность тоном взаимной симпатии, знакомил людей, без предупреждения бросая их в объятия друг друга:

— Как, вы не знакомы?.. Князь Ангальтский... Господин Бос, сенатор...

И не замечал, что, едва он произнес их имена, как оба гостя, раскланявшись, ждали потом только его ухода, чтобы со свирепым видом повернуться друг к другу спиной.

Как большинство участников политической борьбы, Нума, добившись победы, добравшись до власти, несколько размяк. Продолжая быть сторонником «нравственного порядка», вандеец-южанин уже не так пылал интересами *дела*, он предоставлял великим упованиям мирно дремать и склонен был думать, что и сейчас все идет не так уж плохо. К чему порядочным людям ненавидеть друг друга? Он желал умиротворения, всеобщей терпимости и рассчитывал, что музыка будет способствовать установлению взаимопонимания между партиями, что его «концертики» раз в две недели явятся нейтральной почвой, где, вкушая эстетическое наслаждение и проявляя взаимную учтивость, даже самые непримиримые противники будут отдавать друг другу должное, отбросив политические страсти и треволения. Оттого-то гости, приглашенные на вечер, и представляли собою столь странную смесь, оттого им всем было как-то не по себе, как-то неловко, оттого в разных углах гости шептались друг с другом, а потом вдруг умолкали, оттого черные фраки молча бродили взад и вперед, оттого рассеянные взоры с деланным вниманием устремлялись к потолку и разглядывали позолоту простенков, орнаменты эпохи Директории, наполовину в стиле Людовика XVI, наполовину ампирные, плоские бронзовые головы, украшавшие прямолинейную мраморную оснастку каминов. Всем было и жарко и холодно, словно ужасный мороз на улице, укрошенный толстыми стенами с плотной и мягкой обивкой, превратился во внутренний холод. Порою в это монотонное хождение скучающих людей вривался бешеный галоп де Рошмора и де Лаппара, которым поручено было рассаживать дам, или же производило сенсацию появление красавицы г-жи Юблер с перьями в пышной прическе, с суховатым профилем и застывшей улыбкой небьющейся куклы из витрины парикмахера. Но вскоре атмосфера опять замораживалась.

— Сам черт не разогреет этих гостиных Народного просвещения... Сюда, наверное, приходит по ночам призрак Фрейссину.^[25]

Эту мысль высказал вслух кто-то из молодых музыкантов, толпившихся вокруг директора Оперы Кадайяка, с философическим видом рассеявшегося на бархатной скамье спиной к статуе Мольера. Тучный, полуглухой, с белой щетиной усов, он ничем не напоминал гибкого, подвижного импрессарио празднеств Набоба. — теперь он превратился в величественного идола с раздувшейся, но непроницаемой маской вместо лица, и только глаза свидетельствовали о том, что это на самом деле балагур — парижанин, хорошо знающий жизнь и потому жестоко пронизательный, с умом, подобным трости с железным наконечником, закаленным на огнях рампы. Однако, вполне удовлетворенный достигнутым, сытый, больше всего боявшийся, как бы его не сместили с директорского поста, он не выпускал когтей, говорил немного, особенно здесь, и ограничивался тем, что подчеркивал свои наблюдения над разыгравшейся вокруг официальной и светской комедией безмолвным смехом Кожаного Чулка.

— Буассарик, дитя мое! — тихо сказал он молодому интригану-тулузцу, которому удалось недавно поставить в Опере свой балет после того, как партитура пролежала там под сукном всего-навсего лет десять, чему никто не хотел верить. — Буассарнк! Ты ведь все знаешь, скажи мне, как зовут вон того важного усача, который развязно беседует решительно со всеми и выступает вслед за своим носом с таким сосредоточенным вит дом, будто находится на похоронах этой своей принадлежности... Повидимому, он здесь свой человек, он разговаривал со мной о театре безапелляционным тоном.

— Не думаю, патрон... Скорее он дипломат. Я слышал, как он только что говорил бельгийскому послу, что они долгое время были коллегами.

.— Вы ошибаетесь, Буассарик... Должно быть, это какой-нибудь иностранный генерал. Несколько минут назад он разорвался в компании толстых эполет и, между прочим, громко сказал: «Только человек, которому никогда не приходилось командовать крупными воинскими соединениями...»

— Странно!

Спросили проходившего мимо Лаппара. Тот рассмеялся:

— Да ведь это же Бомпар!

— Это еще кто такой?

— Приятель министра... Как же это вы его не знаете?

— Южанин?

— Еще бы!..

И действительно, Бомпар, затянутый в великолепный новый фрак с

бархатными отворотами, с перчатками, засунутыми за борт жилета, старался оживить вечер своего друга тем, что все время поддерживал оживленнейшую беседу с самыми разнообразными людьми. Впервые появившись в высшем чиновном мире, где его никто не знал, он, можно сказать, произвел сенсацию, щеголяя то в одной, то в другой группе гостей своей способностью к выдумке, своими огнедышащими видениями, рассказами о любовных похождениях с принцессами крови, приключениях и сражениях, триумфах на швейцарских стрелковых состязаниях, — все это вызывало на окружающих его лицах выражение изумления, смущения и беспокойства. Конечно, это вносило известную струю веселья, но оценить ее могли только те немногие, кто знал, с кем имеет дело, и это не могло рассеять скуку, проникавшую даже в концертный зал — громадное и очень живописное помещение с двумя ярусами и стеклянным потолком, который напоминал открытое небо.

Зелень декоративных растений — пальм, бананов с длинными листьями, неподвижными в свете люстр, — создавала некий естественный фон туалетам женщин, тесными рядами сидевших на бесчисленных рядах стульев. Переливной волной склонялись шеи, плечи и руки, выступавшие из корсажей, словно на полураскрытой чашечки махрового цветка, прически, на которых звездами сверкали бриллианты в синеватом отблеске черных и золотом мерцании белокурых волос.

Рисовались округлыми линиями от талии до шиньонов очертания полных фигур, и линиями легкими, устремленными ввысь от пояса, стянутого блестящей пряжкой, до длинной шейки, перехваченной бархоткой, торсы изящно-худощавые. Надо всем этим трепетали, порхали раскрытые пестрые, усеянные блестками крылья вееров, примешивая аромат духов *White rose*^[26] и опопанакса к слабому дыханию живых цветов — белой сирени и фиалок.

Напряженность на лицах гостей еще усиливалась перспективой неподвижно просидеть два часа перед эстрадой, где с самым невозмутимым видом, словно на них навели объектив фотоаппаратов, полукругом расположились хористы в черных фраках и в пышных платьях из белого муслина, и оркестр, замаскированный купами зеленых растений и роз, из-за которых высывались грифы контрабасов, похожие на орудия пытки. О, эта пытка шейной колодкой музыки! Она всем им была так хорошо знакома, ибо числилась в расписании их зимних мучений, их тяжелых светских повинностей. Вот почему, хорошенько поискав, во всем огромном зале можно было найти только одно довольное, улыбающееся лицо — это было лицо г-жи Руместан. И улыбка ее не была сценической

улыбкой балерины, которую часто видишь на лицах хозяек дома и которая так легко превращается в гримасу озлобления и усталости, когда улыбающаяся хозяйка чувствует, что на нее не смотрят, — нет, на лице Розали играла улыбка женщины счастливой, женщины любимой, вновь начинающей по-настоящему жить. О неистощимая нежность сердца, любившего всего один раз! Розали снова начала верить в своего Нуму, с некоторых пор опять ставшего добрым и нежным. Это похоже было на возвращение, на ласковое сближение двух сердец, соединившихся после долгой разлуки. Не стараясь углубляться в то, чему она обязана возвратом его нежности, она снова видела мужа любящим и юным, как в тот вечер, перед панно, изображавшим охоту, и она снова была Дианой, соблазнительной, гибкой, тонкой, в белом атласном платье, с каштановыми волосами, причесанными на пробор и обрамлявшими ясное чело, чуждое дурных помыслов, так что в свои тридцать лет она казалась двадцатипятилетней.

Ортанс была тоже очень мила в голубом тюлевом платье, словно легкое облако, окутывавшем ее слегка наклоненный вперед, стройный стан и отбрасывавшем на ее личико нежную тень. Но она слегка тревожилась, как пройдет дебют ее любимого музыканта. Она волновалась: понравится ли этой изысканной публике народная музыка, или непременно надо, как утверждала ее сестра, чтобы тамбурин играл на фоне пейзажа, на фоне серых оливковых роц и зубчатых холмов? Безмолвная, озадаченная, она, глядя в программу, в шорохе вееров и разговоров вполголоса, смешивавшихся со звуками настраиваемых инструментов, считала номера, предшествовавшие выступлению Вальмажура.

Стук смычков по пюпитрам, шорох бумаги на эстраде, где хористы поднялись с мест, держа в руках ноты, жертвы-слушательницы устремляют долгий взгляд на двери, у которых толпятся черные фраки, и первые звуки хора из оперы Глюка летят к высокому стеклянному потолку, на который зимняя ночь набросила темно-синий покров.

Ах, в этой роцце, темной, роковой...

Концерт начался.

За последние несколько лет во Франции широко распространился вкус к музыке. Особенно в Париже концерты, которые давались по воскресеньям и в течение пасхальной недели, а также значительное количество частных музыкальных кружков возбуждали всеобщий интерес,

содействовали популяризации произведений серьезной классической музыки, знакомство с ними превратили в моду. В сущности же, Париж — город суетный, живущий умом, вот почему он не может по-настоящему полюбить музыку, которая целиком захватывает человека, сковывает его движения, лишает голоса, не дает думать о житейском и, опутывая зыблущейся сетью гармонических созвучий, баюкает его, завораживает, как мерный рокот моря. Безумства, которые совершает в своем увлечении музыкой Париж, — это безумства хлыща, разоряющегося ради модной кокетки, страсть к шику, бьющая на эффект, пошлая и пустая до скуки.

Скука!

На концерте в Министерстве народного просвещения именно скука была доминирующим мотивом. Из-под нарочитого восхищения, изображенного на восторженно улыбающихся лицах и являющегося светской обязанностью даже самых искренних женщин, она постепенно проступала наружу, замораживала улыбку и блеск глаз, придавала какую-то дряблость красивым, томным позам птичек, сидящих на ветке или по капле пьющих воду, изящно вытягивая шейки. Дамы умиленно ерзали на длинных рядах соединенных вместе стульев, восклицали: «Браво!.. Божественно!.. Восхитительно!» — взбадривая самих себя, и все же поддавались постепенно охватывавшему всех оцепенению, которое поднималось, как туман, над этим музыкальным приливом, оттесняя в смутные дали полнейшего равнодушия сменявшихся на эстраде артистов.

А между тем это были самые знаменитые, прославленные артисты Парижа, исполнявшие классическую музыку с виртуозным искусством, которого она требует и которое достигается — увы! — лишь многолетним напряженным трудом. Г-жа Вотер уже лет тридцать поет чудесный романс Бетховена «Умиротворение», и никогда она не пела его с такой страстью, как нынче вечером. Но ее инструменту уже не хватает струн, слышно, как смычок скрипит по дереву, и от великой певицы былых дней, от знаменитой красавицы остались лишь умение держать себя на сцене, безукоризненная школа да длинная белая рука, которая в конце последней строфы смахивает слезу в уголке глаза, удлиненного гримировальной тушью, слезу, заменяющую музыкальное рыдание, которого уже не в силах дать голос.

Кто, кроме Майоля, красавца Майоля, умел так проникновенно, с такими певучими вздохами исполнять серенаду на «Дон Жуана»,^[27] с такой восторженной нежностью и в то же время страстностью — нежностью и страстностью влюбленного кузнечика? К несчастью, его теперь не слышно. Тщетно становится он на носки, вытягивает шею, тянет до предела звук,

сопровождая его жестом прядильницы, сучащей двумя пальцами нить, — звука нет, он так и не вылетает из горла. Париж, благодарный Майолу за минувшие наслаждения, все же рукоплещет. Но эти обветшалые голоса, эти поблекшие и примелькавшиеся лица — монеты, с которых от слишком долгого обращения стерлись изображенные на них профили, не рассеют унылой дымки, парящей над празднеством в министерстве, несмотря на все усилия Руместана оживить его, несмотря на громкие восторженные «Браво!», которые он бросает из толпы черных фраков, несмотря на грозные «Тсс!», которыми он терроризирует даже на расстоянии двух гостиных тех, кто пытается разговаривать. Несчастные начинают блуждать молча, как призраки в ярком свете люстр; они осторожно, пригнувшись, переходят с места на место, чтобы хоть немного развлечься, и руки у них двигаются, как маятники; или же с тупым, бессмысленным выражением лица они безнадежно плюхаются в низкие кресла, покачивая между колен лепешку сложенного цилиндра.

Наступил, правда, момент, когда появление на сцене Алисы Башельри разбудило и расшевелило гостей. У дверей зала теснились любопытные, которым хотелось увидеть на эстраде малютку диву в коротенькой юбке, с полуоткрытым ротиком, моргающую длинными ресницами, словно от удивления при виде всей этой толпы. «Эх, булочки горячи, только вынуты из печи!» — замурлыкали юные завсегдатаи клубов, повторяя лихой жест, которым певица заканчивала куплет. Заторопились университетские старички, бодро семеня ножками и поворачиваясь менее тугим ухом, чтобы не упустить ни слова из модной пикантной песенки. Но какое же постигло всех разочарование, когда «поваренок» начал своим звонким, но короткого дыхания голосом исполнять сильную арию из «Алкесты»,^[28] вызубренную с помощью Вотер, которая сейчас подбадривает из-за кулис юную ученицу!

Лица вытягиваются, черные фраки исчезают и снова начинают блуждать по гостиним, чувствуя себя теперь несколько свободнее, ибо министр не наблюдает за ними — он удалился в глубь самой дальней гостиной под руку с г-ном де Боэ, совсем одуревшим от такой чести.

О вечное ребячество Амура! Пусть за вами двадцать лет адвокатской практики, пятнадцать — парламентской трибуны, пусть вы умеете настолько владеть собой, что даже на самых бурных заседаниях, когда вас яростно перебивают, вы сохраняете свою заветную мысль и хладнокровие морской чайки, охотящейся за рыбой и в самый большой шторм, но если вами завладела страсть, вы окажетесь слабейшим из слабых, таким жалким и трусливым, что станете с отчаянием цепляться за руку какого-нибудь

болвана, только бы не слышать ни слова критики по адресу вашего кумира.

— Простите, мне надо идти... антракт...

И министр исчезает, а молодой регистратор ходатайств и прошений снова и уже навсегда превращается в незаметного мелкого чиновника. У буфета возникает толкотня, и по блаженному выражению лиц всех этих несчастных, которые вновь получили возможность двигаться, Нума, пожалуй, вообразит, что его подопечной выпал огромный успех. Его обступают со всех сторон, его поздравляют. Божественно! Восхитительно!., (о никто не говорит ему с достаточной определенностью о том, что его волнует, и наконец он завладевает Кадайяком, который проходит мимо него, сторонясь густой толпы и отстраняя ее рычагом своего мощного плеча.

— Ну, что скажете?.. Как она, по-вашему?

— Кто?

— Да эта малютка... — произносит Нума деланно безразличным тоном.

Но тот, стреляный воробей, догадывается и, не колеблясь, бросает в ответ:

— Просто откровение...

Влюбленный краснеет, как будто ему двадцать лет и в ресторане Мальмюса «старожилка для всех» жмет ему под столом ногу.

— Так вы полагаете, что в Опере...

— Разумеется!.. Только надо хорошего показчика, — говорит Кадайяк, беззвучно смеясь по своему обыкновению.

И пока министр бежит поздравлять мадемуазель Алису, хороший показчик продолжает держать курс на буфет, который уже виднеется в обрамлении широкого зеркального стекла без амальгамы в глубине зала с панелями темного позолоченного дерева. Несмотря на строгость отделки, на величественный и надменный вид метрдотелей, завербованных, без сомнения, из числа недоучившихся студентов, дурное настроение и скука рассеиваются перед огромной стойкой, уставленной хрусталем, фруктами, пирамидами сэндвичей, сменяются — ибо человеческое вступает наконец в свои права — жадностью и обжорством. В любое свободное местечко между двумя корсажами, двумя головами, склоненными над тарелочкой с куском семги или крылышком цыпленка, просовывается чья-нибудь рука за стаканом, вилкой, булочкой, задевая напудренные плечи, рукав фрака или блестящего жесткого мундира. Начинаются шумные разговоры, глаза блестят, шипучие вина превращаются в звонкий смех. Слова и фразы перекрещиваются, речи прерываются, раздаются ответы на уже позабытые вопросы. Из одного уголка доносятся негодующие восклицания: «Какая

мерзость! Какой ужас...» — это ученый женоненавистник Бешю продолжает поносить слабый пол. Неподалеку спорят музыканты:

— Ах, дорогой мой, вы отрицаете увеличенную квинту.

— Правда, что ей всего шестнадцать?

— Шестнадцать лет в бочке да еще несколько годков в бутылке.

— Майоль!.. Да что говорить о Майоле?.. Кончился, выдохся. И подумать только, что Опера каждый вечер платит за это две тысячи франков!

— Да, но он покупает билетов на тысячу франков, чтобы работала клака, а остальные Кадайяк отыгрывает у него в вкарте.

— Бордо... Шоколад... Шампанское...

— ...прийти и объяснить на заседании комиссии...

— ...слегка подхватив сборки белыми атласными бантиками...

Немного дальше мадемуазель Ле Кенуа, окруженная целым обществом, расхваливает тамбуринщика иностранному корреспонденту с наглым и плоским лицом *шумахера*, уговаривает его не уходить до конца, бранит Межана, который ее не поддерживает, обзывает его ненастоящим южанином, французиком, ренегатом. Рядом группа гостей, завязавших политический спор. У одного из них искаженный гримасой ненависти, брызжащий слюной рот, из которого слова вылетают, словно отравленные пули.

— Все, что может придумать самая зловердная демагогия;..

— Марат — консерватор! — произносит чей-то голос, но слова тонут в смутном гуле общего разговора, сливающегося со стуком тарелок, со звоном стаканов и вдруг покрывающегося звучащим медью голосом Руместана:

— Сударыни, скорее, сударыни!..1 Вы опоздаете на фа-минорную сонату!

Тотчас же воцаряется мертвая тишина. Снова тянется через все гостиные шествие парадных шлейфов, снова между рядами стульев шуршат атласные платья. У женщин — безнадежные лица заключенных, которых отводят в камеры после часовой прогулки в тюремном дворе. Скрипичные концерты сменяются симфониями, инстру* менты играют вовсю. Красавец Майоль снова начинает сучить неуловимый звук, Вотер — подтягивать расхлябанные струны своего голоса. И вдруг — оживление, любопытство, как при выходе на эстраду малютки Башельри. Это появился тамбурин Вальмажура, вышел на эстраду красавец крестьянин в лихо заломленной мягкой фетровой шляпе, с красным поясом вокруг талии, с

деревенской курткой через плечо. Мысль одеть её таким образом, чтобы произвести особый эффект среди черных фраков, мысль, внушенная чисто женским инстинктом, пришла в голову Одиберте. Ну, наконец-то что-то новое, непредвиденное: длинный тамбурин, раскачивающийся на руке музыканта, дудочка, по которой бегают его пальцы, и занятные мотивы на этих двух инструментах, живые, захватывающие, от которых по атласу прекрасных женских плеч пробегает муаровая дрожь. Всего наслышавшейся публике нравится эта музыка, от которой веет свежестью, веет запахом розмарина, нравятся эти напевы старой Франции.

— Браво!.. Браво!.. Бис!..

И когда он начинает играть «Марш Тюренна» в широком, торжественном ритме, которому оркестр аккомпанирует под сурдинку, усиливая, поддерживая жидковатый инструмент, зал охватывает восторг. Вальмажур повторяет еще раз, десять раз, и в первую очередь этого требует Нума, ибо успех тамбуринщика раззадорил его, и он уже записывает на свой счет «прихоть моих дам». Он рассказывает, как открыл это дарование, объясняет чудо флейты с тремя дырочками, во всех подробностях описывает старый замок Вальмажуров.

— Его действительно зовут Вальмажур?

— Разумеется... Он из рода князей де Бо... Последний в роде.

— У меня хранятся все документы, на пергаменте, — заявляет Бомпар тоном, не допускающим возражений.

Но среди всех этих светских восторгов, более или менее поддельных, одно бедное сердечко волнуется по-настоящему, одна юная головка кружится самозабвенно, всерьез принимая и крики «браво» и легенды о Вальмажурах. Не произнося ни слова, даже не аплодируя, устремив взор в одну точку, куда-то далеко, мечтательно покачивая в такт героическому маршу своим гибким станом, Ортанс перенеслась туда, в Прованс, на высокую площадку, господствующую над залитой солнцем равниной, а музыкант играет в ее честь, словно она дама времен Судов любви, и с какой-то дикой грацией украшает гранатовым цветком свой тамбурин. Это воспоминание сладостно волнует ее, и, положив головку на плечо сестры, она тихонько шепчет: «Как мне хорошо!..» — и Розали сперва не замечает глубины и искренности ее тона, только гораздо позднее они четко обрисуются у нее в памяти, и она воспримет их как неясное предвестие беды.

— Ну вот, дорогой мой Вальмажур, что я вам говорил?.. Какой успех! Ну, что скажете? — кричал Руместан в маленькой гостиной, где артистам подан был ужин а-ля фуршет. Прочие звезды, участвовавшие в концерте,

находили, что успех несколько преувеличен. Вотер, сидя в ожидании своего вкипажа, скрывала досаду под огромным кружевным капюшоном, источавшим аромат пьянящих духов. Красавец Майоль, стоя у буфета и устало, раздраженно передергивая плечами, свирепо кромсал какую-то жареную птичку, словно ему казалось, что под ножом у него сам тамбуринщик. Малютка Башельри не разделяла их раздражения. Окруженная юными хлыщами, она ребячилась, смеялась, подпрыгивала, жуя своими белыми зубками, словно проголодавшийся школьник, булочку с ветчиной. Она пробовала играть на флейте Вальмажура.

— Смотрите, господин министр!

Заметив за спиной его превосходительства Кадайяка, она сделала пируэт и, как маленькая девочка, подставила ему лобик для поцелуя.

— Здравствуйте, дядя!

Родство между ними было воображаемое, возникшее за театральными кулисами.

— Ах ты, притворная резвушка! — проворчал «хороший показчик» в свои седые усы, но не очень громко, ибо ей предстояло, по всей вероятности, войти в его труппу и притом на положении весьма влиятельного члена.

Вальмажур с победоносным видом стоял у камина в тесном окружении дам и журналистов. Иностраный корреспондент расспрашивал его бесцеремонно, отнюдь не вкрадчивым тоном, каким он разговаривал с министрами во время аудиенций. Крестьянин, нисколько не смущаясь, отвечал ему заученным рассказом:

— Меня осенило, когда я ночью соловья слушал...

Его прервала мадемуазель Ле Кенуа — она протягивала ему полный стакан и тарелку с угощением.

— Здравствуйте, сударь!.. Теперь моя очередь подать вам «большую вакуску».

Но слова ее не произвели впечатления, на которое она рассчитывала. Он ответил ей легким кивком, указав на каминную полку:

— Ладно, ладно... Поставьте сюда.

И продолжал свой рассказ:

— Птице божьей ее малой глотки...

Не смутившись, Ортанс дождалась конца рассказа, потом заговорила с Вальмажуром об отце и сестре:

— Она будет очень довольна?

— Да, получилось не так уж плохо.

Он с самодовольным видом покручивал ус, но в то же время не без

тревоги оглядывался по сторонам. Ему сказали, что директор Оперы обратится к нему с предложением. Он издала нетерпеливо наблюдал за ним и, уже охваченный актерской ревностью, удивлялся, как это можно так долго заниматься какой-то жалкой певичкой. Поглощенный своими мыслями, он не снисходил до того, чтобы отвечать красивой девушке, стоявшей перед ним с веером в руках в непринужденной, слегка вызывающей позе, свойственной женщинам, привыкшим вращаться в свете. Но он ей даже больше нравился таким, холодно — презрительным ко всему, кроме своего искусства. Она восхищалась тем, как он несколько свысока принимал комплименты, которыми вдруг принялся обстреливать его Кадайяк.

— Нет, нет... Я говорю то, что думаю... Большое дарование... Очень самобытно, очень ново... Я не хочу, чтобы какой-нибудь другой театр, кроме Оперы, первым показал вас широкой публике. Я буду искать подходящего момента. Считайте, что с этого дня вы в Оперной труппе.

Вальмажур подумал о гербовой бумаге, которая была у него в кармане пиджака, но тот словно догадался и уже протягивал ему свою мягкую руку.

— Теперь, друг мой, мы уже связаны взаимным обязательством.

Указав на Майоля и Вотер, которые, к счастью, были заняты другим, а то бы уж они посмеялись, он добавил:

— Спросите у своих товарищей, что значит слово Кадайяк а.

Он резко повернулся и ушел туда, где начинался бал. Сейчас в менее переполненных, но более оживленных залах стали кружиться пары. Замечательный оркестр отдыхал от трех часов классической музыки, наигрывая вальсы самого что ни на есть венского пошиба. Важные персоны, серьезные люди поразъехались, и помещением завладела молодежь, жадная до наслаждений, танцующая просто ради танца, ради самозабвенного опьянения разметавшимися кудрями, томными взглядами, ради того, чтобы пышные шлейфы дам путались под ногами кавалеров. Но и тут политика сохраняла все свои права, слияния, о котором мечтал Руместан, не происходило. Иа двух зал, где начались танцы, один принадлежал левому центру, другой оставался безукоризненно лилейно — белым, несмотря на все старания Ортанс связать оба лагеря. За ней, свояченицей министра, дочерью первого председателя апелляционного суда, очень ухаживали, вокруг ее приданого и связей неутомимо порхали целые стаи белых жилетов.

Лаппара, крайне возбужденный, заявил ей, вальсируя, что его превосходительство дозволил ему... Но танец кончился, она оставила его, не дослушав, и направилась к Межану, который не танцевал, но не мог ре*

шиться уйти.

— Что у вас за выражение, о серьезный, рассудительный человек?

Он взял ее за руку...

— Посидите тут со мной, мне надо вам кое-что сказать... Мой министр разрешил мне...

Он смущенно улыбался, по дрожи его губ Ортанс все поняла и тотчас вскочила..

— Нет, нет... Только не сегодня!.. Я ничего не могу слушать, я танцую...

Она убежала об руку с Рошмором, который подошел к ней и пригласил на котильон. Он тоже был сильно увлечен. Не переставая подражать Лаппара, славный юноша произнес слова, от которых она разразилась громким смехом, так и закружившимся вместе с нею по залу. Как только кончилась фигура с шарфом, она подошла к сестре и шепнула ей:

— Час от часу не легче!.. Нума обещал меня своим трем секретарям.

— Кого же ты возьмешь?

Раскат тамбурина не дал ей ответить.

— Фарандола! Фарандола!

Сюрприз министра гостям... Фарандола для завершения котильона. Юг вовсю!.. Но как же это танцуется?.. Руки тянутся, соединяются, на этот раз оба зала перемешались. Бомпар с важным видом обучает: «Вот так, милые барышни», — и отбивает антраша. И вот, во главе с Ортанс, фарандола змеится через всю длинную анфиладу гостиных, и замыкает ее Вальмажур — он с важным видом играет на тамбурине, гордый своим успехом и устремленными на него взглядами, которыми он обязан своей величественной осанке и оригинальному наряду.



— Ну не красавец ли? — говорит Руместан. — Писанный красавец. Греческий пастух!

Переходя из зала в зал, сельский хоровод вбирает в себя все больше народа, все быстрее и быстрее преследует и, наконец, отгоняет тень Фрейссиу. Разбуженные старинными напевами, оживают человеческие фигуры на огромных гобеленах, вытканых по рисункам Буше и Лайкре, и танцующим кажется, что голозадые амурчики, летающие на фризе под потолком, начинают подражать их безумной, бешеной пляске.

В самом отдаленном углу Кадайяк, прислонившись к буфету, с тарелкой и стаканом в руках слушает, ест и пьет, до глубины своей скептической души пронизанный жаркой и приятной волной.



— Помни одно, малыш, — говорит он Буассарику. — Всегда надо оставаться до конца бала... Женщины гораздо красивее, когда лица их покрывает влажная бледность, — это еще не усталость, как эта светлая полоска за окнами еще не рассвет... Воздух слегка дрожит от музыки, в нем носится благоуханная пыль, некое полуопьянение, от этого все чувства становятся более утонченными, и этим надо уметь наслаждаться, закусывая удовольствие кусочками жареной дичи и запивая охлажденным вином... Ого! Посмотри-ка!..

За стеклом без амальямы змеилась фарандола: руки вытянуты, черные фигуры перемежаются со светлыми, движения их стали легче, ибо туалеты уже помяты, волосы растрепаны — танцы продолжались два часа.

— Красиво, правда?.. А этот парень в конце шествия — ну и молодчина!

Поставив стакан на столик, он холодно добавил:
— Впрочем, он не зарабатывает ни гроша!

X. СЕВЕР И ЮГ

Председатель Ле Кенуа и его зять никогда не питали друг к другу особой симпатии. Ни время, ни частые встречи, ни родственные узы не смогли сблизить эти натуры, победить холод, от которого робел южанин в присутствии высокого молчаливого человека с бледным надменным лицом, чьи серо-голубые глаза — глаза Розали, только без ее ласковой снисходительности — замораживали весь его пыл. Нума с его легкостью и быстротой, Нума, у которого слово всегда опережало мысль, натура горячая и вместе с тем сложная, восставал против логики, прямоты, суровости своего тестя. Завидуя этим его качествам, он, однако же, относил их на счет холодности, свойственной людям Севера, а г-н Ле Кенуа был для него воплощением Крайнего Севера.

— Дальше уже белые медведи... А потом ничего — полюс и смерть.

Тем не менее он ухаживал за ним, старался обольстить своей ловкой кошачьей повадкой, всевозможными приманками, пытался поймать на них этого галла.

Но галл оказывался куда проницательнее его самого и не поддавался на обольщение. И когда по воскресеньям в столовой на Королевской площади заговаривали о политике, когда размягченный вкусной едой Нума старался уверить Ле Кенуа, что на самом деле им очень нетрудно понять друг друга, ибо они хотят, в сущности, одного и того же — свободы, надо было видеть, с каким возмущением старый юрист отбрасывал уже занесенную над ним сеть.

— О нет, нет, совсем не одного и того же!

Приведя несколько точных и жестких доводов, он сразу устанавливал правильную дистанцию, вскрывал словесную маскировку, ясно давая понять, что не поймается на их тартюфовское лицемерие.

Адвокат отшучивался, скрывая досаду, которую испытывал главным образом из-за жены, — та, никогда не вмешиваясь в политические споры, все время смотрела и слушала. Поэтому, когда вечером они возвращались домой в карете, он изо всех сил старался доказать ей, что отцу ее недостает здравого смысла. Если бы не она, он бы уж нашел, что ему сказать! Чтобы не раздражать его, Розали избегала высказываться прямо.

— Да, жаль, что у вас такие разногласия...

Но в глубине души она была на стороне отца.

С тех пор, как Руместан стал министром, отношения между тестем и

зятем охладели еще больше. Ле Кенуа отказывался бывать на приемах улицы Гренель и без обиняков объяснился по этому поводу с дочерью:

— Передай своему мужу: пусть он приходит ко мне как можно чаще, я буду очень рад, но в министерстве меня не увидят. Я знаю, что нам готовят все эти господа, и не хочу, чтобы меня можно было заподозрить хотя бы в сообщничестве.

Впрочем, в глазах света приличия были соблюдены благодаря старому трауру, который уже давно как бы замуровал стариков Ле Кенуа в их квартире. Министру народного просвещения было бы, вероятно, крайне стеснительно появление в его гостиных этого сильного противника в спорах, перед которым он чувствовал себя мальчишкой. Однако он сделал вид, что обижен решением тестя, устроил себе из этого позу — что всегда бывает весьма удобно для комедианта — и предлог лишь время от времени присутствовать на воскресных обедах. В оправдание он приводил важные поводы — заседания какой-нибудь комиссии, официальную встречу, обязательный банкет, — такие поводы обеспечивают мужьям, занимающимся политикой, полную свободу.

Розали, напротив, не пропускала ни одного воскресенья, приходила пораньше, счастливая тем, что может обрести в родительском доме семейный уют, которого ее лишала в доме мужа слишком открытая официальная жизнь. Г-жа Ле Кенуа обычно еще не возвращалась из церкви, Ортанс тоже отсутствовала: она сопровождала мать или была с друзьями на музыкальном утреннике. Розали могла быть уверена, что застанет отца в библиотеке — в этой длинной комнате с книжными полками по всем четырем стенам, сверху донизу: там он уединялся в обществе немых друзей, мудрых, безмолвных собеседников, единственных, кто не докучал ему в его неутраченном горе. Старый юрист не садился в кресло с книгой, он расхаживал вдоль полок, разглядывал какой-нибудь роскошный переплет и так, стоя, читал иногда целый час и даже не замечал этого, терял представление о времени, не ощущал усталости. Завидев старшую дочь, он слегка улыбался. Не будучи болтливой, они обменивались двумя-тремя словами, а затем она тоже принималась перебирать книги любимых авторов, выбирала одну и перелистывала ее рядом с ним при уже скуповатом дневном свете у окна, выходящего на большой двор — один из типичных дворов квартала Маре, где в воскресной тишине, не нарушаемой торговым шумом, гулко раздавался колокольный звон соседней церкви. Иногда отец протягивал ей полуоткрытую книгу.

— Прочитай...

И отмечал ногтем нужное место. А когда она дочитывала, спрашивал:

— Правда, прекрасно?..

Для молодой женщины, которой жизнь предлагала весь свой блеск, всю свою роскошь, не было большей радости, чем часок, проведенный с пожилым, всегда печальным отцом, с которым, кроме дочернего обожания, ее связывала и глубокая духовная близость.

От него Розали унаследовала прямоту, чувство справедливости, благодаря которому она всегда была такой смелой, а также тонкий вкус, любовь к живописи и к хорошим стихам. Хотя Ле Кенуа всю свою жизнь листал Уголовный кодекс, человек в нем не окостенел. Мать Розали и любила и чтילה, но в то же время всегда возмущалась ее крайней ограниченностью, чрезмерной мягкостью — мать даже в своем собственном доме как бы не существовала; возмущало Розали и то, что горе, возвышающее иные души, пригибало ее к земле, погружало в повседневные бытовые заботы, во внешнее благочестие, в хозяйственные мелочи. Она была моложе мужа, но казалась старше из-за того, что вела разговоры, на какие способна простоватая женщина да к тому же еще старая и унылая, а потому искавшая у себя в памяти теплые закоулки прошлого, образы далекого детства в южной солнечной усадьбе. Она стала очень набожной. После смерти сына она старалась убаюкать свое горе в тихой прохладе, в сумерках, в приглушенных звуках высоких церковных приделов, словно в монастырском покое, который оберегают от кипения жизни тяжелые, обитые мягким двери. Горе породило в ней благочестивый и трусливый эгоизм, опирающийся о налои, чуждый житейских забот и обязанностей.

Когда в их жизнь вошла беда, Розали, уже взрослая девушка, поражена была тем, что родители так по-разному переживали ее: мать от всего отвернулась, ушла в плаксивое благочестие, отец стал черпать силы в исполнении долга. Более нежная любовь Розали к отцу была выбором ее разума. Брак, совместная жизнь с южанином, его хвастовство, его ложь, его безумства делали для нее еще более отрадным убежище, которое она обретала в тихой отцовской библиотеке, где можно было отдохнуть от жизни в грандиозных мебелированных — в холодной, официальной казенной квартире министерства.

Пока они с отцом мирно беседовали, где-то с грохотом распахнулась дверь, зашуршали шелковые юбки — это вернулась домой Ортанс.

— А, я так и знала, что ты здесь!..

Ортанс не очень-то любила книги. Даже романы читать ей было скучно: они были для нее недостаточно романтичны. Минут пять она, не снимая шляпы, покружилась по комнате.

— Духота здесь от всей этой бумаги!.. Ты не находишь, Розали?.. Ну пойдем, посиди со мной. Ты уже довольно побывала с папой. Сейчас моя очередь.

И она увлекла ее в свою комнату — их общую комнату. Розали жила в ней до двадцати лет.

Пока они с часок приятно болтали о том, о сем, она разглядывала вещи, которые составляли часть ее самой: кровать с кретоновыми занавесками, пюпитр, этажерку, книжный шкаф, где от заглавий книг, от ребяческих безделушек, любовно сохранявшихся здесь, на нее снова пахло детством. Она встречалась со своими прежними мыслями во всех углах этой девичьей комнаты, более кокетливой и нарядной, чем в ее время: новый ковер на полу, ночная лампочка с абажуром в виде чашечки цветка под потолком, хрупкие столики — рабочий, письменный — всюду, куда ни посмотришь. Комната была наряднее, но порядка в ней было меньше: на спийках стульев висело начатое рукоделье. Ящик пюпитра был выдвинут, почтовая бумага с напечатанным в уголке вензелем разлетелась по всей комнате. При входе в эту комнату всегда в первый момент ощущалась какая-то растерянность.

— Это ветер. — Органе расхохоталась. — Он знает, что я его люблю, вот и зашел: а вдруг я дома?

— Кто-то не закрыл окно... — спокойно заметила Розали. — Как ты можешь так жить?.. Я просто не способна собраться с мыслями, когда все не на месте.

— Ну, а меня, напротив, беспорядок встряхивает. Мне кажется, что я в дороге.

Разность натур отражалась и на лицах сестер. У Розали были правильные черты, чистые линии, ясные глаза, по временам менявшие оттенок, как волна, поднимающаяся из большой глубины.

У Органс цвет лица был матовый, как у креолки, все в нем казалось неправильным, но выражало оно живость ума. Северная и южная природа отца и матери, два совершенно разных темперамента, которые соединились, не смешавшись, и каждый нашел свое воплощение в одной из двух дочерей. И тут ничего не могли поделать совместная жизнь, одинаковое воспитание в отличном пансионе, куда Органс поступила через несколько лет после Розали и где от тех же учителей восприняла именно то, что сделало ее сестру женщиной серьезной, внимательной, поглощенной заботами дня, обдумывающей малейший свой шаг, а ее так и оставило беспокойной, мечтательной, непостоянной, всегда к чему-то стремящейся. Иногда, наблюдая треволнения Органс, Розали восклицала:

— Мне посчастливилось! У меня нет воображения.

— А у меня, наоборот, только оно и есть! — говорила Ортанс.

И она напоминала ей, что на уроках г-на Бодуи, обучавшего их литературному слогу и искусству развивать мысль, словом, тому, что он высокопарно называл своим «курсом воображения», Розали не делала никаких успехов — она все выражала в немногих словах, в то время как Ортанс с жалкой горсточкой мыслей могла исписать целые тома.

— Единственные награды, которые я получала, были награды за воображение.

Тем не менее их связывала нежная привязанность, любовь между старшей и младшей сестрами, в которой есть и материнское и дочернее. Розали всюду брала с собой Ортанс — и на танцы, и к приятельницам, и в магазины, а беготня по магазинам в немалой степени содействует воспитанию вкуса у парижанок. Даже после того, как они уже кончили учение, Розали оставалась для Ортанс «мамочкой». И сейчас она озабочена была подысканием для Ортанс подходящего мужа, спокойного и надежного спутника в жизни, необходимого этой шалой головке, верной руки, которая могла бы сдерживать ее безрассудные порывы. Меяеан был бы самым подходящим человеком. Ортанс сперва как будто склонна была согласиться, потом вдруг стала проявлять явное невселание. По этому поводу они объяснились на другой день после вечера в министерстве, на котором Розали заметила волнение, душевное смятение сестры.

— О, он славный человек, мне он очень нравится!.. — говорила Ортанс. — Это верный друг, он может быть опорой в жизни... Но мне нужно не такого мужа.

— Почему?

— Ты будешь смеяться надо мной... Он слишком мало говорит моему воображению, вот и все!.. Брак с ним — это вроде квадратного буржуазного дома в конце аллеи прямой, как буква!. А ты знаешь, что мне по душе другое — непредвиденное, неожиданное...

— Кто же тогда? Лаппара?

— Спасибо! Чтобы он предпочитал мне своего портного!

— Рошмор?

— Безукоризненная канцелярская крыса... А я тер*петь не могу канцелярщины.

Розали забеспокоилась, стала тормозить сестру, расспрашивать, допытываться.

— Чего бы я хотела... — начала девушка, и легкий румянец, словно мгновенно вспыхнувшее пламя, озарил ее бледное лицо. — Чего бы я

хотела... — Тут она переменяла тон и скорчила смешную рожицу — Я бы вышла за Бомпара. Да, за Бомпара. Вот супруг — кумир моих мечта* ий!.. У него-то уж, во всяком случае, есть воображениеа есть средства против однообразия.

Она встала и принялась ходить по комнате, слегка наклоняясь вперед, благодаря чему казалась еще выше, чем на самом деле.

— Бомпара по-настоящему никто не внает. Сколько в нем гордости, сколько достоинства и сколько логики во всем его безумии!.. Нума хотел найти для него должность — он отказался. Он предпочел жить своими химерами. А еще говорят, что южане практичны, что они ловкачи!.. Вот кто опровергает все эти рассказы... Знаешь, сейчас — он мне говорил об этом вчера на балу — он будет разводить страусов... В инкубаторе... Уверяет, что наживет миллионы... И при этом он гораздо счастливее, чем если бы эти миллионы были у него на самом деле... Этот человек — сплошная феерия! Подавайте мне Бомпара, никого не желаю, кроме него!

«Ну, сегодня мне так ничего и не узнать»... — думала старшая сестра; она понимала одно: что за этим балагурством скрывается нечто серьезное.

В одно из воскресений, придя к родителям, Розали застала г-жу Ле Кенуа в прихожей; та, видимо, поджидавшая дочь, с таинственным видом сообщила ей:

— В гостиной кое-кто есть... Одна дама с Юга.

— Тетя Порталь?

— Увидишь...

В гостиной, однако, была не г-жа Порталь, а нарядная юная провансалочка, которая по-деревенски присела перед Розали и тут же расхохоталась.

— Ортанс!

Юбка, из-под которой виднелись туфли без каблуков, корсаж с ниспадающими на него складками широкой тюлевой косынки, лицо в обрамлении начесов, которые сверху придерживал чепчик, украшенный бархатной лентой, с вышитыми джёмом бабочками — в таком виде Ортанс и впрямь походила на провансальских девушек, — на тех, что по воскресеньям кокетничают в Арльском амфитеатре или прогуливаются парами, опустив глаза, между колоннами монастыря св. Трофима, чей каменный кружевной узор так хорошо оттеняет сарацинскую матовость их лиц цвета старой слоновой кости церковный изображений, на которых среди бела дня дрожит отблеск зажжённой свечи.

— Погляди, какая красота! — говорила мать, восхищенная этим живым воплощением страны, где прошла ее молодость.

А Розали вздрогнула от безотчетной тревоги, словно этот костюм далеко-далеко уносил от нее сестру.

— Что за фантазия!.. Конечно, это к тебе идет, но я больше люблю, когда ты одета, как парижанка... Кто это тебя так хорошо вырядил?

— Одиберта Вальмажур. Она только сейчас ушла.

— Что-то она зачастила! — сказала Розали, заходя в их комнату снять шляпу. — Откуда такая дружба?.. Я стану ревновать!

Ортанс, слегка смутившись, начала оправдываться... Маме так приятно было видеть головной убор южанки у них в доме! К тому же бедняжка Одиберта тоскует по родине, и ей невольно сочувствуешь, а как она преклоняется перед гением своего брата!

— Ну уж и гений!., — покачав головой, молвила старшая сестра.

— А что ж? Ты сама видела, какой был успех в тот вечер... И всюду так же.

Розали на это сказала, что надо все-таки понимать истинную цену этого успеха в свете, слагающегося в значительной мере из любезности, удивления перед чем-то необычным и минутного увлечения.

— Так или иначе его взяли в Оперу.

Бархатная лента тряслась на возмущенном чепчике, словно он и впрямь сидел на одной из тамошних головок, венчая ее гордый профиль.

— К тому же эти Вальмажуры вовсе не простые крестьяне, а последние отпрыски оскудевшего дворянского рода!..

Розали, глядевшаяся в высокое трюмо, смеясь, обернулась к сестре:.

— Как! Ты веришь в эту сказку?

— Конечно! Они же происходят по прямой линии от князей де Бо... Имеются пергаменты, герб на двери. Как только они захотят...

Розали вздрогнула от страха... За флейтистом-крестьянином скрывается князь. Сестра недаром получала награду за воображение, — во всем этом таилась опасность.

— Что за вздор! — На этот раз она уже не смеялась. — В пригороде А пса проживают десять семей, носящих ату якобы княжескую фамилию. Те, кто тебе это наболтал, заражены тщеславием, заражены...

— Но говорил-то Нума, твой муж!.. В тот вечер в министерстве он сообщил столько подробностей!

— О, Нума!.. Ты же его знаешь... Тут все дело в уточнениях, как он сам выражается.

Но Ортанс уже не слушала ее. Она прошла в гостиную и, сев за фортепьяно, во весь голос запела:

Mount' as passa va marinado,
Mourbieu, Marioun...

Это была старинная народная провансальская песня, исполнявшаяся на мотив торжественный, как церковное песнопение. Нума обучил свояченицу этой песне и очень забавлялся, когда она пела ее с парижским акцентом, который смазывал четкость южного произношения, так что все это напоминало итальянскую речь в устах англичанки.

— Куда ты утром уходила, черт побери, Марьон?
— К колодцу по воду ходила, о господи, мой друг!
— А кто там говорил с тобою, черт побери, Марьон?
— Со мной была моя подружка, о господи, мой друг!
— Но женщины в штанах не ходят, черт побери, Марьон!
— У ней перекрутилась юбка, о господи, мой друг!
— Не ходят женщины при шпаге, черт побери, Марьон!
— Веретено ее ты видел, о господи, мой друг!
— Усов у женщин не бывает, черт побери. Марьон!
— То сок от ягод ежевики, о господи, мой друг!
— А где же в мае ежевика, черт побери, Марьон?
— От осени она осталась, о господи, мой друг!
— Так принеси мне хоть немножко, черт побери, Марьон!
— Что было — поклевали птички, о господи, мой друг!
— Вот голову тебе срублю я, черт побери, Марьон!
— А с телом что ты станешь делать, о господи, мой Друг?
— Я выброшу его в окошко, черт побери, Марьон! Его собаки растерзают...

Она прервала на полуслове и, передразнивая жесты и интонацию Нумы, когда он распалялся, воскликнула:

— Это, детки мои, Шекспир!
— Да, картина провансальских нравов... — подойдя к ней, заметила Розали. — Муж грубый, жестокий, жена — хитрая и лживая... Настоящая южная семейка.

— Ах, дочка!.. — с ласковым упреком в голосе произнесла г-жа Ле Кенуа; ее тон указывал, что эти споры вошли в привычку. Но табурет у фортепьяно резко повернулся на винте, и чепчик негодующей провансалки очутился у самого лица Розали.

— Это уж слишком... Да с чего ты так ополчилась на Юг? А я его просто обожаю. Я его не знала, но когда вы повезли меня туда, я нашла

свою настоящую родину... Пусть меня окрестили здесь, в церкви святого Павла, на самом деле я тамошня. Девочка с Малой площади... Знаешь, мама, в один прекрасный день бросим мы с тобой этих унылых северян и уедем жить на наш милый Юг, где поют, где пляшут, на Юг, где ветер, солнце, миражи — все, что поэтизирует и обогащает жизнь. Вот где я жить хочу-у-у...

Ее быстрые ручки снова упали на клавиши, и мечта о Юге растеклась в хаосе оглушительных звуков.

«А о тамбуринщике ни слова, — подумала Розали. — Нет, это дело серьезное!»

Дело было гораздо серьезнее, чем она могла себе представить.

Еще в тот день, когда Одиберта увидела, как парижская барышня украшает цветком тамбурин ее брата, еще в ту минуту в ее честолюбивом уме возникло некое ослепительное видение, имевшее некоторое отношение и к их переезду в Париж. Прием, который оказала ей Ортанс, когда она пришла к ней жаловаться, поспешность, с какой свояченица министра устремилась к зятю, только укрепили ее неопределенную надежду. И с тех пор, лишь полусловом намекая брату и отцу о своих намерениях, с двуличием, которое можно встретить разве что у итальянской крестьянки, она, ползя и скользя, подготавливала почву. Смиренно дожидалась в кухне дома на Королевской площади, сидя где-нибудь в уголке на кончике стула, потом пробралась в гостиную и, всегда чистенько одетая, аккуратно причесанная, заняла местечко бедной родственницы. Ортанс по ней с ума сходила, пова- вывала ее своим приятельницам, словно безделушку, вывезенную из Прованса, о котором говорила с таким увлечением. А Одиберта изображала себя еще большей простушкой, чем была от природы, преувеличивала свое дикарское изумление и страх, нарочно сжимала кулачки, понося грязное парижское небо, и очень мило восклицала: «Господи батюшка!» — стараясь, совсем как инжению в театре, чтобы оно у нее вышло поэффектнее. Даже старик Ле Кенуа улыбался, услышав это «Господи батюшка!». А уж вызвать улыбку у председателя апелляционного суда!..

Во всю свою способность подлаживаться и льстить она применяла, когда оставалась вдвоем с Ортанс. Она внезапно падала перед нею на колени, брала за руки, восторгалась изящными мелочами ее туалета, тем, как Ортанс завязала бантик, как причесалась, говорила ей в лицо грубейшие комплименты, которые все же доставляют удовольствие, ибо кажутся простодушными и бесхитростными. Ох, в тот день, когда барышня вышла из коляски перед их хутором, ей будто сама царица небесная

привиделась, и так она оторопела, что слова вымолвить не могла! А ее брат — ух ты черт! Когда колядка, увозя парижанку, стала спускаться с холма и колеса затарахтели по камням, он сказал, что камни эти словно падали один за другим ему на сердце. В каком виде она выставляла брата, и его гордость, и его душевную тревогу! Тревога! Чего ему, по правде говоря, не хватает?.. После вечера в *менистерстве* о нем пишут во всех газетах, всюду печатают его портреты. А приглашений из Сен-Жерменского предместья столько, что на все и не отозваться. И герцогини и графини пишут ему надушенные записки с такими же коронками на бумаге, как и на каретах, что за ним присылают... А он — нет, несчастлив он, бедненький.

Все это она нашептывала Ортанс, и ту понемногу заражали и лихорадочный пыл и магнетическая воля крестьянки. И вот она, отводя глаза в сторону, спрашивала, нет ли у Вальмажура нареченной, дожидаящейся его там, на родине.

— У него? Нареченная?.. Да господь с вами! Плохо же вы его знаете... Он о себе слишком воображает, он крестьянкой не удовольствуется. Самые богатые за ним бегали — и та, что из Камбет, и еще другая, и самые видные да любезные, уж вы мне поверьте... А он а них и не глянул... Кто знает, что у него там в голове делается! Ох уж эти артисты!..

Это новое для нее словечко она произносила с каким — то необыкновенным выражением, словно латинское слово из богослужебного чина или же кабалистическую формулу, почерпнутую из книги Альберта Великого.^[29] Частенько и весьма ловко упоминала она о наследстве кузена Пюифурка.

На Юге, в ремесленной и мещанской среде, почти нет такой семьи, в которой не было бы своего кузена Пюифурка, искателя приключений, уехавшего за море, с тех пор не подававшего о себе вестей, но в представлении родственников ставшего богачом из богачей. Это — долгосрочный лотерейный билет, полет мечты в счастливое, сияющее ослепительными надеждами будущее, в которое под конец начинают твердо верить. Одиберта верила в наследство кузена и говорила о нем Ортанс не столько для того, чтобы ослепить ее, сколько с целью уменьшить разделяющее их на общественной лестнице расстояние. После смерти Пюифурка брат ее выкупит Вальмажур, реставрирует замок и предъявит права на дворянство.

После таких бесед, затягивавшихся иногда до сумерек, Ортанс надолго замолкала и, прижавшись лбом к стеклу, глядела в окно, и чудилось ей, будто в розовой дымке зимнего заката встают высокие башни восстановленного замка, площадь перед ним залита светом и звуками

песен, приветствующих хозяйку.

— Господи батюшка, поздно-то как!.. — восклицала крестьянка, убедившись, что уже достаточно взвинтила Ортанс. — А обед мужикам моим еще не готов! Пора, бегу! «Л*...

Вальмажур часто дожидался ее внизу, но зайти в дом она ему не позволяла. Она понимала, что он и неловок, и грубоват, и даже не помышляет о том, чтобы произвести впечатление на Ортанс. Пока он был здесь не нужен.

Мешал ей еще один человек, но его устранить было трудно, — на Розали не действовали ни ласкательство, ни деланная наивность. В ее присутствии Одиберта, сдвинув грозные черные брови, безмолвствовала. И в этом молчании закипала вместе с бессознательной неприязнью затаенная, мстительная злоба слабого существа, видящего перед собой самое большое препятствие на своем пути.

Истинная причина ее недоброжелательства заключалась в этом, но младшей сестре она выставляла иные: Розали не очень любит тамбурин, кроме того, «она обрядов не соблюдает, а уж если женщина не соблюдает обрядов...» Одиберта же и их соблюдала, да еще как! Она ходила на все службы и в положенные дни причащалась. Впрочем, это ей несколько не мешало оставаться продувной бестией, лживой, лицемерной, способной на любую низость, вплоть до преступления; в текстах писания она черпала *? олько поучения о возмездии и гневе. При этом она была честной в узкоженском смысле слова. Двадцативосьмилетняя хорошенькая девушка, она сохраняла в той низменной среде, в которой она теперь пребывала, строгое целомудрие, которое словно защищала плотная крестьянская косынка, стянутая у нее на груди, где сердце жило только честолюбивыми помыслами о судьбе брата.

— Ортанс меня тревожит... Посмотри на нее.

Когда в уголке министерской гостиной г-жа Ле Кенуа сообщила Розали о своем беспокойстве, та подумала, что мать озабочена тем же, что и она. Но мать имела в виду здоровье Ортанс, у которой все никак не могла пройти сильная простуда. Розали взглянула на сестру. Все тот же яркий румянец, та же веселость и живость. Она немного кашляла — что же тут такого? Летняя погода сразу ее излечит.

— А ты говорила об этом с Жаррасом?

Жаррас был приятель Руместана, завсегдатай кафе Мальмюса. Он уверял, что ничего серьезного нет, советовал поехать на Арвильярские воды.

— Вот и надо поехать... — решительно заявила Розали, ухватившись

за этот предлог удалить Ортанс из Парижа.

— Да, но папа останется один...

— Я буду навещать его каждый день.

Да и бедная мать, рыдая, призналась, что эта поездка с дочерью внушает ей ужас. Целый год она разъезжала по курортам с сыном, которого они потеряли... Неужели опять придется совершать паломничество с перспективой такого же страшного исхода? С ним тоже это случилось в двадцать лет, когда он был здоров, полон сил...

— Мама, мама!.. Да перестань же!..

Розали ласково побранила ее. Ортанс вовсе не больна. Врач ясно сказал. Поедут они просто, чтобы развлечься. Арвильяр в Дофинеиских Альпах — чудесное место! Она с удовольствием поехала бы с Ортанс. К сожалению, это невозможно. Причина серьезная...

— Да, я понимаю... Муж, министерство...

— Да нет, не в этом дело.

Она прижалась к матери, ощутив в этот миг, что та ей внутренне близка, а это бывало так редко!

— Слушай... Но я скажу это только тебе. Никто не знает, даже Нума...

И она сообщила матери, что у нее возникла надежда, правда, еще слабая, на великое счастье, о котором она уже и не мечтала, что она просто с ума сходит от радости и страха, что может быть, может быть, у нее все-таки будет ребенок...

XI. НА ВОДАХ

Арвильяр-ле-Бэн, 2 августа 76.

Знаешь, я ведь пишу тебе из довольно любопытного места. Представь себе высокий квадратный зал, с плиточным полом, с оштукатуренными стенами, куда наружный свет проникает сквозь синие занавески, которыми до самых верхних стекол затянуты оба огромных окна и где становится еще мрачнее от легких клубов отдающего серой и прилипающего к одежде пара, от которого тускнеет даже золото наших украшений. Вдоль стен этого зала, вокруг маленьких столиков, на скамьях, стульях, табуретах сидят люди — они поминутно смотрят на часы, встают, выходят, уступая место другим, и тогда за полуоткрытой дверью виднеется толпа пациентов, расхаживающих взад и вперед по светлому вестибюлю ожидания своей очереди, и развевающиеся на ходу белые передники санитарок, торопливо снующих взад и вперед. Несмотря на все это движение, кругом царит тишина, слышен только шепот приглушенных разговоров, шелест газетных листов, скрип заржавленных перьев по бумаге; сосредоточенная церковная тишина, прохладная благодаря огромному фонтану минеральной воды в середине зала — струя этого фонтана, разбиваясь о металлический диск, дробится, разделяется на более мелкие струи, распыляется над широкими, плоскими, расположенными одна под другой и непрерывно источающими воду чашами. Это ингаляционный зал.

Надо тебе сказать, дорогая, что все эти люди вдыхают пары по-разному. Так, например, пожилой господин напротив меня буквально следует указаниям врача, а я все эти указания знаю. «Ноги ставим на табурет, выпячиваем грудь, локти назад, рот открыт, чтобы дышать глубже». Ах, бедняга! Как он вдыхает, с каким доверием, а его маленькие круглые глазки, полные умиления и веры, словно говорят источнику: «О арвильярский источник! Вылечи меня получше! Видишь, как я тебя вдыхаю, как я в тебя верю...» Есть тут и скептики, которые вдыхают, как бы и не вдыхая: горбясь, пожимая плечами и глядя в потолок. Затем — отчаявшиеся, по — настоящему больные, ощущающие всю бесполезность и бессмысленность этого занятия. Несчастливая дама рядом со мной едва кашляет, сейчас же подносит ко рту палец и смотрит — не появилось ли на перчатке красное пятнышко. И тем не менее люди эти еще умудряются быть веселыми.

Дамы, живущие в одной гостинице, сдвинули свои стулья в кружок, вышивают и сплетничают, обсуждая новости курортной газеты и перебирая фамилии приехавших на воды иностранцев. Молодые девицы словно щеголяют английскими романами в красных обложках, священники уткнулись в молитвенники — в Арвильяре много священников, особенно миссионеров, длиннобородых, желтолицых, с каким-то беззвучным голосом: слишком долго проповедовали они слово божие. Ты знаешь, я не любительница романов, особенно теперешних, где все происходит, как в жизни. Вот я и пишу письма двум-трем заранее намеченным жертвам — Мари Турнье, Орел и Дансер и тебе, моя обожаемая старшая сестрица. Можете рассчитывать на целые дневники. Посуди сама: ежедневно по два часа ингаляции в четыре приема! Никто здесь не принимает столько ингаляций! Я стала притчей во языцех. Все на меня смотрят, и я даже возгордилась.

Никакого другого лечения мне не прописано, только полстакана минеральной воды утром и полстакана вечером; воду я пью у источника, и она должна снять пелену, упорно обволакивающую мой голос после той тяжелой простуды» Это — специальность арвильярских вод, а потому здесь место постоянных встреч певцов и певиц. Только что от нас уехал красавец Майоль, обновив свои голосовые связки. Мадемуазель Башельри — знаешь, эта маленькая дива, подвизавшаяся на вашем министерском празднике? — так хорошо чувствует себя после здешнего лечения, что после положенного трехнедельного курса осталась еще на три недели, за что ее очень хвалит курортная газета. Мы имеем честь жить в одной гостинице с этой юной, но уже прославленной особой, опекаемой любящей мамашей бордоского происхождения, требующей за табльдотом, чтобы в салат клали «остренькое», и разглагольствующей о шляпке за сто *сорррок* франков, которая красовалась на головке у ее девицы на последних Лонгшанских скачках. Эта парочка очаровательна, она вызывает всеобщее восхищение. Все так и млеют от милых выходок Бебе, как ее называет мать, от ее смеха, от ее рулад, от ее развевающейся юбчонки. Народ толпится у посыпанного песком гостиничного двора, чтобы поглядеть, как она играет в крокет с маленькими девочками и мальчиками — она любит играть только с малышами, — она бегает, прыгает, далеко загоняет шар, как настоящий мальчишка: «Крокирую вас, господин Поль!» Все говорят: «Она еще совсем ребенок!» А по-моему, это — деланное ребячество, часть роли, которую она играет, так же как и ее юбки с широкими бантами и косичка, словно у кучера старинной почтовой карсты. И потом, что это у нее за манера целовать свою толстую бордоскую мамашу, вешаться ей на шею,

садиться к ней на колени и заставляя ее баюкать себя при всех? Ты знаешь, я люблю ласку» но вот нагляжусь на все это, и мне потом как-то неловко целовать маму.

Любопытная тоже семейка, хотя и менее веселая, это князь и княгиня Ангальтские, их высокородная дочка с гувернанткой, горничные и прочая свита — они занимают весь второй этаж гостиницы. Они здесь самые главные постояльцы. Я часто встречаюсь с княгиней на лестнице — она медленно переступает со ступеньки на ступеньку об руку с мужем, красавцем мужчиной, лицо которого так и пышет здоровьем под полями шляпы с синим шнуром. В ванное здание она доставляется не иначе, как в кресле-носилках. Вот уж удручающее зрелище: бледное, изможденное лицо за стеклянным окошком носилок, отец и дочь, шагающие рядом; девочка очень хрупкая, вылитая мать и, наверно, со всеми ее болезнями. Ей скучно, этой восьмилетней девчурке: ей не позволяют играть с другими детьми, и она уныло глядит с балкона, как внизу затевают партию в крокет или собираются на верховые прогулки. Видимо, считают, что кровь у нее слишком голубая для таких простонародных развлечений, ее предпочитают держать в мрачной атмосфере, подле умирающей матери и подле отца, прогуливающего больную с высокомерным и раздраженным видом, или же оставлять на попечение слуг. Бог ты мой! Значит, это самое дворянство — вроде чумы, вроде заразной болезни. Эти люди едят отдельно от всех в маленькой гостиной, принимают ингаляцию тоже отдельно — здесь есть семейные лечебные помещения. Можешь себе представить, как им обеим — матери и дочке — тоскливо вдвоем в обширном, безмолвном склепе?..

Вчера вечером мы все — народу было много — собрались в большой гостиной на первом этаже, где обычно играют во всевозможные игры, поют, иногда танцуют. Мамаша Башельри только что кончила аккомпанировать своей Бебе, исполнявшей оперную каватину. — мы ведь собираемся выступить в Опере и даже приехали сюда, в Арвильяр, «подлечить для такого дела голосок», по изящному выражению мамаша. Вдруг открывается дверь, и с величественным видом, который она сохраняет и при смерти, входит княгиня, изящно завернувшись в кружевное манто, под которым менее заметно, насколько сузились и опустились — так ужасно и так красноречиво! — ее плечи. За нею дочка и муж.

— Продолжайте, прошу вас! — кашляя, проговорила несчастная.

И надо же было, чтобы эта дура-певичка выбрала из своего репертуара самый унылый и самым сентиментальный итальянский романс *Vorrei morire*^[30] — нечто вроде наш и ж «Опавших листьев» — песню больной,

которая хочет умереть осенью, чтобы ей казалось, будто вместе с нею умирает вся природа, окутанная, как саваном, первым осенним туманом.

Vorrei morire Bella stag ion dell' anno...[\[31\]](#)

Мелодия очень приятная, ее грустное благозвучие словно дополняет нежные переливы итальянской речи. И здесь, в большой гостиной, куда через открытые окна проникали запахи, легкие, освежающие дуновения летнего вечера, это желание прожить хотя бы до осени, эта обращенная к болезни мольба об отсрочке, о продлении жизни острой болью входили в душу. Княгиня молча встала и вышла из комнаты. Из ночного сада до меня донеслось рыдание, протяжный стон, потом негодующий мужской голос и жалобный плач ребенка, который видит, что у матери горе.

Самое печальное на водах — это страдания больных, упорный кашель, которого почти не заглушают стены гостиниц, платки, предусмотрительно прижатые к губам, чтобы свежее дуновение ветра не раздражило легких, приглушенные разговоры, признания, смысл которых угадываешь по горестным жестам, указывающим на грудь или на плечо у ключицы, сонливая походка людей, поглощенных мыслями о болезни и еле волочащих ноги. Мама, хорошо знающая все курорты для больных грудью, бедная наша мама говорит, что в О-Бонн или в Мондоре еще хуже, чем здесь. В Арвильяр посылают только выздоравливающих, вроде меня, или уж совсем безнадежных, которым ничто не поможет. К счастью, в нашей гостинице «Дофинеиские Альпы» находятся только трое таких больных: княгиня и двое молодых лионцев, брат и сестра, говорят, очень богатые сироты и оба, видимо, в крайне тяжелом состоянии. Особенно плоха сестра: цвет лица у нее, как вообще у лионок, какой-то под во дно-бледный, и всегда она закутана в пеньюары, в вязаные шали — ни единой драгоценности, ни бантика, никакой заботы о внешности. От этой богачки пахнет бедностью, она погибает, она знает это, пришла в полное отчаяние и уже не сопротивляется. Молодой человек, наоборот, хоть и сутулится, затянут в модный пиджак; в нем чувствуется огромная воля к жизни, невероятная сопротивляемость.

— У сестры нет сил для борьбы... А у меня они есть, — говорил он как-то за табльдотом уже до того хриплым голосом, что его почти не было слышно, как «до» старухи Вотер, когда она поет. И это правда: сил для борьбы у него хоть отбавляй. Он в гостинице главный заводила, организатор игр, сборищ, прогулок. Он ездит верхом, катается в санках —

это такие маленькие, заваленные свежими ветками санки, на которых горцы спускают вас с самых крутых склонов, — вальсирует, фехтует и ни на миг не прекращает всего этого, даже когда его сотрясают ужасающие приступы кашля. Есть тут у нас и светило медицины, доктор Бушро, — помнишь, тот самый, к которому мама обращалась насчет нашего бедного Андре?

Трудно сказать, узнал он нас или нет, — во всяком случае, он никогда с нами не здоровается. Старый волк — отшельник.

...Только что ходила к источнику выпить свои полета — хана. Этот драгоценный источник находится в десяти минутах ходьбы от нашего местечка, если подниматься к нему со стороны доменных печей, в ущелье, где с рокотом катится пенящаяся горная речка, спускаясь с ледника, замыкающего ущелье и такого же сверкающего, ясного среди голубых альпийских вершин. Кажется, что в белизне вскипающей пены беспрерывно тает, испаряется ее невидимая снежная основа. Кругом высокие черные скалы, с которых все время по капле сочится вода среди папоротников и лишаяев, сосны и другие темные деревья, на земле — сверкающие в угольной пыли осколки слюды. Вот какое это место. Но чего я не в состоянии передать — это мощного гула и грохота реки, прыгающей по камням, стука парового молота в ближайшей лесопильне, который вода приводит в движение, и, на единственной, всегда вапуженной дороге, зрелища двухколесных тележек с каменным углем, которые тащит длинная цепочка лошадей и ослов, верховых экскурсантов, больных, идущих к источнику или возвращающихся обратно. Забыла упомянуть, что в дверях убогих хижин вдруг появляется какой-нибудь страхолюдный кретин или кретинка с болтающимся отвратительным зобом, с тупым, бессмысленным выражением на широком лице, с открытым ртом, из которого вырывается хриплое ворчание. Кретинизм — одна из особенностей местного населения. Кажется, будто природа здесь не по силам человеку, что все эти ископаемые — железо, медь, сера — давят его, коверкают, душат, что воды, стекающие с гор, замораживают его, словно несчастное деревцо, скрюченное, с трудом вылезшее из земли между скал. По приезде сюда это сразу производит ужасное, тягостное впечатление, но через несколько дней оно рассеивается.

Теперь я уже не избегаю зобатых, у меня даже есть среди них любимчики, особенно один — жуткий маленький уродец, сидящий у обочины дороги в креслице для трехлетнего ребенка, а ему все шестнадцать — возраст мадемуазель Башельри. Когда я подхожу, он начинает кивать своей тяжелой каменной головой, хрипло, сдавленно

кричит, без всякого смысла, без всякого выражения и, получив серебряную монетку, торжественно показывает ее угольщице, присматривающей за ним из окошка. Этот несчастный — источник дохода и предмет зависти для многих матерей: он собирает больше денег, чем зарабатывают три его брата, вместе взятые, которые работают у домен Ла Дебу. Отец ничего не делает. Он чахоточный, зимой сидит у своего убогого очага, а летом устраивается вместе с другими несчастными на скамейке в теплом влажном облаке мелких брызг, которое поднимается в этом месте над пенящимся источником. Местная нимфа с мокрыми руками, в белом переднике, наполняет протянутые ей стаканы, а рядом во дворе, отделенном от дороги невысокой стенкой, одни головы без тел, которых не видно, откидываются назад, лица, искаженные усилием, строят гримасы солнцу, рты широко открыты. Иллюстрация к «Аду» Данте: грешные души, обреченный вечно полоскать горло.

Иногда на обратном пути мы делаем крюк и спускаемся к курорту через селение. Маму утомляет гостиничная суетня, а главное, она беспокоится, как бы я не стала злоупотреблять танцами в гостинице, и потому она мечтала снять маленький буржуазный домик в Арвильяре, а сделать это нетрудно. На каждой двери, на каждом этаже раскачиваются среди глициний, между светлыми, уютными, манящими занавесками объявления о сдаче внаем. Недоумеваешь: куда же деваются жители Арвильяра во время курортного сезона? Переселяются ли они, словно стада, в ближние горы, или уходят жить в гостиницы и платят по пятьдесят франков в сутки? Это было бы удивительно, ибо мне представляется очень жадным тот магнит, что появляется у них в глазах, когда они смотрят на курортника, — что-то блестящее, так и старающееся подцепить. И я всюду нахожу этот блеск, эту внезапную искру на лбу моего зобатого — отсвет поданной ему серебряной монетки; в очках маленького, вертлявого доктора, который выслушивает и выстукивает меня по утрам, во взгляде приторно-любезных хозяек, приглашающих вас осмотреть их дом, где в первом этаже кухня для жильцов третьего этажа, их садик, такой удобный, где всюду столько воды; во взгляде извозчиков в "оротких блузах и клеенчатых шляпах с бантами, которые знаками зазывают вас с козел; во взгляде мальчугана — погонщика ослов, стоящего в широко раскрытых дверях конюшни, где — издали видно — движутся длинные уши; даже во взгляде самого ослика, да, в этом долгом, упрямом, кротком взгляде! Твердый металлический блеск, порожденный сребролюбием, существует — я его видела.

Вообще-то дома их ужасны: унылые, стоят впритык друг к другу,

никакого кругозора, неудобств масса, и они бросаются в глаза, да и может ли быть иначе, когда в соседнем доме на них уже позаботились обратить ваше внимание? Нет уж, мы останемся в своем караван-сараяе «Дофинейские Альпы», который, стоя на высоком месте, греет на солнышке свои бесчисленные зеленые жалюзи на красных кирпичных стенах посреди английского парка, еще молодого, с зеленым кустарником, с лабиринтом песчаных аллей, парка, которым пользуются постояльцы еще пяти или шести хороших гостиниц — «Козочки».

«Лайты», «Бреды», «Планты». Все эти гостиницы с названиями на савойском диалекте поглощены жестокой конкуренцией — следят, наблюдают одна за другой из — за густых деревьев, стараются перещеголять одна другую звоном колокольчиков, звуками фортепьяно, щелканьем кнутов на козлах почтовых карет, взрывами ракет фейерверка, каждая старается как можно шире раскрыть свои окна, чтобы, услышав оживление, смех, пение, топот пляшущих ног, постояльцы конкурента сказали:

— Как им там весело! Сколько же там, значит, народу!

Но самая жаркая борьба между соперничающими гостиницами разыгрывается на страницах курортной газеты вокруг списков вновь прибывших, которые этот листок печатает аккуратно два раза в неделю.

Какая бешеная зависть начинает грызть «Лайту» или «Плаиту». когда, например, читаешь в таком списке: «Князь и княгиня Ангальтские со свитой... «Дофинейские Альпы». Все бледнеет перед этой подавляющей строчкой. Чем ответить? Начинают искать, изощряться. Если ваша фамилия снабжена приставкой «де», каким — нибудь титулом, их выпячивают или стараются прожужжать ими уши. «Козочка» уже три раза подавала нам на стол одного и того же инспектора лесных угодий под разными видами — в качестве инспектора, маркиза, кавалера орденов святого Маврикия и Лазаря. Но «Дофинейские Альпы» все же на первом месте, и уверяю тебя, мы здесь ни при чем. Ты знаешь маму — она скромница всегда старается быть тише воды, ниже травы. Поэтому она запретила Фанни говорить, кто мы такие, чтобы положение отца и твоего мужа не вызвало к нам любопытства и не подняло вокруг нас целое облако светской пыли. В газете было сказано просто: «Г-жи Ле Кенуа (из Парижа)... «Дофинейские Альпы», а так как парижане здесь встречаются редко, наше инкогнито остается нераскрытым.

Мы устроились без всякой роскоши, но довольно удобно: у нас две комнаты на третьем этаже, перед нами вся долина, дальше, полукружием, горы, черные от соснового леса у подножия, а чем выше, тем светлее, тем

богаче оттенками, с пятнами вечного снега, со склонами, где голые каменистые участки перемежаются с возделанными, образующими зеленые, желтые, розовые квадратики, на которых стога сена кажутся не больше пчелиных ульев. Но этот чудесный вид не удерживает нас дома.

Вечера мы проводим в гостиной, днем бродим по парку — от одной процедуры к другой, что в сочетании с этой жизнью вообще, внешне как будто бы очень заполненной, а в сущности, пустой, занимает все наше время, поглощает нас целиком. Интереснее всего бывает после завтрака, когда все располагаются за столиками пить кофе под развесистыми липами у входа в сад. Это время приездов и отъездов. Остающиеся прощаются с отъезжающими, толпясь вокруг их экипажа, все пожимают друг другу руки, гостиничная прислуга тут как тут, и глаза ее излучают блеск, пресловутый савойский блеск. Люди, едва знакомые друг с другом, целуются, машут платками, бубенчики звякают, и тяжелый, перегруженный экипаж исчезает за поворотом узкой дороги, унося какие-то имена, какие-то лица, недолго жившие общей жизнью, которые вчера были никому здесь не ведомы, а завтра забудутся.

Прибывают новые постояльцы, устраиваются, стараясь не нарушать своих привычек. Я представляю себе, что так же однообразна жизнь на большом океанском пароходе с такой же сменой лиц в каждом новом порту. Меня вся эта суета забавляет, но мамочка все грустит, задумывается, несмотря на старания изображать улыбку, когда я на нее гляжу. Я догадываюсь, что любая подробность нашей жизни вызывает у нее мучительные воспоминания, мрачные образы. Навидалась она этих караван-сараев для больных в тот год, когда сопровождала умирающего с курорта на курорт, — то на равнину, то в горы, то под сосны морского побережья, тая обманчивую надежду и храня вечную покорность, к которой она принуждала себя, чтобы переносить свою муку.

По правде говоря, Жаррас мог избавить ее от этих тягостных воспоминаний. Я-то ведь не больна, теперь почти не кашляю и чувствую себя превосходно, не будь только этой противной хрипоты, от которой у меня голос, как у уличной торговки. Представь себе, аппетит у меня волчий, временами так есть хочется, что нет сил терпеть. Вчера после завтрака, где в меню, более сложном, чем китайская грамота, было указано тридцать блюд, я увидела, как одна женщина, сидя у своего порога, чистила малину. Мне страшно захотелось этой самой малины, и я съела две глубоких чашки, да, моя дорогая, две глубоких чашки крупных, только что сорванных ягод —... как говорит наш официант.

Во всяком случае, родная моя, какое это счастье, что ни ты, ни я не

заболели так, как наш бедный брат, которого я не знала! А ведь здесь на чужих лицах я узнаю те же изможденные черты, то же безнадежное выражение, что у него на портрете в маминой и папиной комнате! А доктор, который лечил его тогда, знаменитый Бушро, — какой он оригинал! На днях мама хотела познакомить меня с ним, чтобы попасть к нему на прием, и мы все время бродили по парку вокруг да около этого высокого старика с суровым и грубым лицом. Но к нему не пробиться из-за арвильярских врачей, которые обхаживают его и, словно примерные школьники, слушают, что он им говорит. Мы решили подождать его при выходе из ингаляционного вала. Безнадежно: он так помчался, точно хотел от нас убежать. С мамой, ты сама понимаешь, скорости не развить, и на этот раз мы его опять упустили. Наконец, вчера Фанни пошла узнавать от нашего имени у его домоправительницы, может ли он нас принять. Он велел передать, что приехал на воды лечиться, а не принимать больных. Ну и грубиян! Правда, ни у кого еще не видела я такой бледности — настоящий воск. Папа по сравнению с ним просто краснощекий господин. Он питается одним молоком, никогда не спускается в столовую, а тем более в гостиную. Наш вертлявый маленький доктор, которого я прозвала «Господин Так и должно быть», уверяет, что у него очень опасная сердечная болезнь и он тянет последние три года исключительно благодаря арвильярской воде.

— Так и должно быть! Так и должно быть!

Только это и бормочет все время забавный человечек, тщеславный, болтливый, вертящийся по утрам у нас в комнате. «Доктор, у меня бессонница... По-моему, лечение действует на меня возбуждающе». «Так и должно быть!» «Доктор, меня все время ко сну клонит... Наверно, это от вод». «Так и должно быть!» А вот он должен поскорее обойти пациентов, чтобы еще до десяти часов попасть в свой кабинет, в эту крошечную коробочку для мушек, которая не вмещает всех больных, и они толпятся на лестнице до самых нижних ступенек, до тротуара. Поэтому он не задерживается и второпях пишет рецепт, не переставая вертеться и подпрыгивать, как больной «на реакции» после ванны.

Ох уж эта «реакция»! Тоже целая история. Я не принимаю ни ванн, ни души, и «реакция» мне не нужна. Но иногда я добрые четверть часа простаиваю под липами в парке и наблюдаю за всеми этими людьми, которые с сосредоточенным видом прохаживаются широким, мерным шагом взад и вперед, не произнося ни слова при встречах друг с другом. Мой старый господин из ингаляционного зала, тот, что строит глазки фонтану, проделывает и это упражнение с той же добросовестной

пунктуальностью. У входа в аллею он останавливается, закрывает свой белый зонт, опускает воротник, смотрит на часы — и марш! Ноги ступают твердо, локти прижаты к телу — раз, два! раз, два! — до длинной светлой полосы, пересекающей темную аллею в том месте, где не хватает одного дерева. Дальше он не идет, три раза поднимает руки над головой, словно вытягивает гири, потом возвращается таким же аллюром, опять поднимает руки, и так пятнадцать раз подряд. Наверно, отделение для буйных в Шарантоне^[32] смахивает на то, что представляет собой моя аллея около одиннадцати утра.

6 августа.

Значит, это правда. Нума приедет проведать нас. Как я рада, как я рада! Твое письмо пришло с почтой, которую доставляют в час дня и раздают в конторе гостиницы. Это торжественная минута, от нее зависит, в какой цвет будет окрашен день. В конторе полным-полно народу, все располагаются полукругом, в центре которого — толстая г-жа Ложерон, весьма внушительная в своем синем фланелевом капоте. Наставительным, слегка жеманным тоном бывшей компаньонки она возглашает пестро звучащие имена тех, кому адресованы письма. Каждый приближается по вызову, и должна тебе сказать, что толстая пачка писем льстит самолюбию получателя. Но что только не льстит самолюбию тщеславных и недалеких людей, находящихся в непрерывном общении друг с другом! Представь себе: я почти горжусь своими двумя часами ингаляции!.. «Князь Ангальтский... Г-н Вассер... Мадемуазель Ле Кенуа...» Разочарование: для меня всего-навсего модный журнал. «Мадемуазель Ле Кенуа...» Смотрю, нет ли еще чего — нибудь, бегу с твоим драгоценным письмом в самую глубь сада и опускаюсь на скамейку, скрытую от постороннего взора могучим ореховым деревом.

Это моя скамейка, уголок, где я уединяюсь, чтобы мечтать и сочинять романы. Как это ни странно, мне совсем не нужно обширных горизонтов, чтобы интересно выдумывать и развивать свою выдумку по правилам г-на Бодун. Когда слишком много простора, я теряюсь, разбрасываюсь, и все идет к черту! Единственный недостаток моей скамейки — это соседство качелей, где обычно проводит добрую половину дня мадемуазель Башельри, летая вверх и вниз с помощью того молодого человека, у которого есть силы для борьбы с болезнью. Да у него и впрямь должно хватать сил: он часами раскачивает ее. А она раскатисто кричит и визжит по-ребячьи: «Выше, еще выше!» Боже, как эта девица раздражает меня, хоть бы качели забросили ее за облака, да так основательно, чтобы она осталась там навеки!

Когда ее нет, мне так хорошо на моей скамейке, я так далеко от всех! Я пробежала твое письмо, а дойдя до приписки, стала кричать от радости.

Благословен будь Шамбери, и его новый лицей, и закладка первого камня, на которую прибывает в наши места министр народного просвещения! Здесь у него будет самая подходящая обстановка для сочинения речи: либо на прогулке в аллее «реакции» — смотри, какая получилась игра слов! — либо в моем орешнике, когда его безмолвия не нарушает мадемуазель Башельри. Милый Нума! Он такой живой, веселый, мы с ним так хорошо понимаем друг друга! Мы побеседуем о нашей Розали и о важной причине, по которой она сейчас не может никуда ехать... Ах ты, господи, это же секрет — Мама брала с меня клятву... Вот кто тоже доволен, что повидается с Нумой. Она сразу излечилась от робости, от скромничанья и уж так величественно вплыла в контору гостиницы снять номер для своего зятя, министра!

Ты бы видела выражение лица нашей хозяйки, когда она услышала эту новость!

— Как, сударыни! Вы, оказывается... вы были...

— Да, мы были... Мы и сейчас...

Ее круглая физиономия становилась лиловой, пунцовой, ни дать ни взять — палитра художника-импрессиониста. И г-н Ложе рой и прислуга... Мы с самого своего приезда тщетно выпрашивали дополнительный подсвечник, а сейчас на каминной доске выстроилось целых пять штук. Можешь быть уверена, Нума будет отлично устроен и обслужен. Ему предназначают второй этаж князя Ангальтского, который через три дня освободится. Похоже, что от арвильярских вод княгине становится гораздо хуже. И даже наш маленький доктор считает, что ей надо как можно скорее уехать. Вот уж именно «так должно быть», ибо, случись беда, «Доф и невским Альпам» капут.

Тяжело смотреть на спешку, на то, как торопят эту несчастную семью, как ее подталкивают с помощью той неуловимой враждебности, которую как бы источает само место, где ты нежеланен. Бедная княгиня Ангальтская! Какое ликование было здесь в связи с ее приездом! А сейчас ее только что не выдворяют за пределы департамента в сопровождении двух жандармов... Вот оно, курортное гостеприимство!

Кстати, а что Бомпар? Ты не пишешь, приедет ли он с Нумой. Опасная личность Бомпар! Если он появится здесь, я, чего доброго, улечу с ним на ледник. В каком мощном порыве устремились бы мы с ним к вершинам!.. Я смеюсь, я так счастлива!.. И я ингалирую, ингалирую, хотя несколько смущена близким соседством грозного Бушро, — он только что вошел и

уселся в двух шагах от меня.

Какой же он должно быть, суровый человек! Он стиснул руками набалдашник трости, уперся в них подбородком и громко говорит, уставившись в пространство и ни к кому не обращаясь. Не по моему ли адресу все его разглагольствования о неосторожности больных дам и девиц, об их легких батистовых платьях, о безумии послеобеденных прогулок в местности, где вечерняя прохлада может оказаться смертельной? Злой человек! Можно подумать, ему известно, что сегодня я собираю в арвильярской церкви пожертвования в миссионерский фонд. О. Оливьери будет рассказывать о Тибете, о том, как он попал в плен, как его мучили, мадемуазель Ба- шельри поет *Ave Maria* Гуно. И я предвкушаю, как праздник, возвращение домой с фонариками в руках по узким темным улочкам — настоящее факельное шествие.

Если Бушро имел намерение дать мне таким способом медицинский совет, то я в нем не нуждаюсь, слишком поздно. Во-первых, милостивый государь, мой маленький доктор, который куда любезнее вас, предоставил мне полную свободу. Он даже разрешил мне напоследок сделать тур вальса в гостиной. Правда, только один. Впрочем, когда я слишком уж растанцовываюсь, все наперебой начинают меня удерживать. Никому и невдомек, какая я здоровая при моей фигуре, вроде веретена, никто не понимает, что парижанка никогда не заболит от увлечения танцами... «Берегите себя... Не утомляйтесь...» Одна приносит мне шаль, другой закрывает за моей спиной окно, чтобы я не простудилась. Но больше всего старается молодой человек, у которого есть сила сопротивления, ибо он считает, что у меня, черт побери, этой силы куда больше, чем у его сестры. Бедная девушка! Нетрудно быть сильней, чем она. Между нами говоря, мне кажется, что этот юнец, придя в отчаяние от холодного обращения Алисы Башельри, решил обратить свое внимание на меня и теперь ухаживает за мной... Но увы! Напрасны его старания, сердце мое занято, оно принадлежит Бомпару... Ах нет, нет, не Бомпар-^—ты это отлично понимаешь, — не Бомпар — герой моего романа. Герой... Герой... Нет, время прошло, я скажу тебе это в другой раз, госпожа ледышка.

XII. НА ВОДАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В то утро, когда «Курортная газета» сообщила, что его превосходительство господин министр народного просвещения со своим помощником Бомпаром и свитой остановился в «Дофинеиских Альпах», гостиницы всей округи охватило величайшее смятение.

В «Лайте» уже два дня как проживал женевский католический епископ, о чем должно было быть сообщено в надлежащий момент, а также генеральный советник департамента Ивер, помощник судьи с острова Таити, архитектор из Бостона, словом, целый набор видных гостей. «Козочка» тоже ожидала прибытия «депутата от департамента Роны с семьей». Но и депутата и помощника судьи — всех затмила пламенеющая славой борозда, которую всюду оставил за собой Нума Руместан. Интересовались только им, говорили только о нем. Любые предлоги годились для того, чтобы проникнуть в «Дофинеиские Альпы», пройти мимо малой гостиной первого этажа, окнами в сад, где министр изволил трапезовать в обществе своих дам и помощника, поглядеть, как он играет в шары — любимую игру южан — с миссионером патером Оливьери, необыкновенно волосатым при своей святости, который так долго жил среди дикарей, что перенял их повадки, не своим голосом орал, когда целился, а кидая шары, поднимал их над головой, словно томагавк.

Привлекательная внешность министра и его обходительность покоряли все сердца, но особенно располагала к нему его симпатия к простым бедным людям. На следующий же день после того, как он поселился в гостинице, два лакея, обслуживавшие второй этаж, сообщили в людской, что министр берет их в Париж в качестве своих слуг. Так как слуги они были отличные, г-жа Ложерон состроила довольно кислую гримасу, но и виду не показала его превосходительству, чье пребывание так высоко подняло ее гостиницу. Префект и ректор университета приехали из Гренобля в парадных мундирах приветствовать Руместана.

Аббат монастыря Гранд-Шартрез — Нума выступал на стороне монахов во время процесса между ними и орденом премонстрантов, которые тоже занимались производством ликера, — торжественно прислал ему ящик шартреза высшего сорта. Наконец, к нему явился префект Шамбери за распоряжениями по случаю предстоящего торжества — закладки нового лицея. На этом торжестве министр должен был произнести речь — декларацию насчет радикального изменения университетских

порядков. Но министр попросил, чтобы ему дали отдохнуть: прошедшая парламентская сессия его крайне утомила, он котел бы немного отдышаться, отоити среди своих близких и на досуге подготовить эту пресловутую шамберийскую речь, которая должна была иметь такое важное принципиальное значение. Префект отлично это понял, он только просил, чтобы его предупредили за двое суток, дабы он успел придать торжеству должный блеск. Закладки ждали уже два месяца, можно было еще подождать момента, удобного для прославленного оратора.

На самом же деле Нуму удерживала в Арвильяре не потребность в отдыхе, не досуг, якобы необходимый этому изумительному импровизатору, на которого время и размышление действовали, как сырость на фосфор, а присутствие Алисы Башельри. После пятимесячного страстного флирта с малюткой Нума не продвинулся ни на шаг вперед с позиций, на которых находился в первый день их встречи. Он бывал у них в доме, наслаждался изысканной рыбной похлебкой, приготавливаемой г-жой Башельри, и шансонетками бывшего директора Фоли-Борделез, вознаграждал за эти мелкие удовольствия подарками, букетами, присылкой билетов в министерские ложи, на заседания Академии, Палаты депутатов, вплоть до пожалования автору песенок академического значка. Но все это нисколько не продвинуло его личных дел. А ведь он был не из новичков, что ходят ловить рыбку в любое время дня, не измерив глубины вод и не насадив на удочку солидной приманки. Беда была в том, что охотился он на очень увертливую золотую рыбку, которая забавлялась его предосторожностями, захватывала приманку, порою делала вид, что она поймана, и тут же выскальзывала из рук одним рывком, так что во рту у него пересыхало от желания, а сердце в груди трепыхалось от изгибов ее стройной талии и соблазнительных бедер. Игра эта донельзя раздражала его. Только от Нумы зависело прекратить ее, ублаготворив малютку тем, чего она добивалась, — назначением на амплу первой певицы Оперы с пятилетним контрактом, большим жалованьем, с блеском и треском, притом так, чтобы все это было перечислено на гербовой бумаге, а не ограничивалось одними разговорами да обычным у Кадайяка «по рукам». В это она верила не больше, чем во все «Можете мне поверить... Считайте, что все в порядке...», которыми Руместан вот уже пять месяцев пытался обвести ее вокруг пальца.

Нума находился между двух огней. «Хорошо, — говорил Кадайяк, — но в том случае, если вы возобновите договор со мной». Между тем Кадайяк был конченный человек: то обстоятельство, что он возглавлял первый в стране музыкальный театр, являлось скандалом, пятном, гнилым наследием имперской администрации. Пресса наверняка ополчится на

трижды продувшегося игрока, не смеющего носить офицерский крест Почетного легиона, на циничного «показчика», бессовестно швыряющего на ветер государственные средства. Устав от того, что ей надо все время увертываться, Алиса в конце концов сломала удочку и уплыла с крючком и приманкой во рту.

Однажды, придя к Башельри, министр нашел дом опустевшим. На месте был только папаша, который в утешение спел ему свой последний рефрен:

Ты мне дай-ка свое.
Променяй на мое.

Он с трудом перетерпел месяц, потом возвратился к старому шансонье, который угостил его своим новым произведением:

Пойдет колбаска — все пойдет...—

и сообщил, что обе дамы превосходно чувствуют себя на водах и намерены остаться еще на один срок. Вот тогда — то Руместан и вспомнил, что его ждут на закладку шамберийского лица — данное им неопределенное обещание так и висело бы в воздухе, не находишь Шамбери по соседству с Арвильяром, куда по счастливой случайности Жаррас, врач и приятель министра, только что послал мадемуазель *Ле Кену*.

Они встретились в первый же день в саду гостиницы. Она изумилась, увидев его, как будто не прочитала утром высокопарного сообщения «Курортной газеты», словно вся долина вот уже целую неделю не предвозвещала тысячеголосым шумом своих лесов и звоном источников о прибытии его превосходительства. — Как? Вы здесь?



— Я приехал проведать свояченицу, — напуская на себя министерскую важность, ответил он.

Впрочем, и он выразил удивление, что мадемуазель Башельри еще в Авильяре. Он полагал, что она уже давно уехала.

— Что поделаешь? Приходится лечиться, раз Кадайяк говорит, что голос у меня хромает.

Затем парижское прощание, одними кончиками ресниц, — и она удалилась со звонкой руладой, с милым воробьиным чириканьем, которое слышишь еще долго после того, как птички уже не видно. С этого дня ее повадка изменилась. Она уже не изображала преждевременно развившуюся девчонку, которая непрерывно носится по гостинице, крокирует г-на Поля,

качается на качелях, играет в детские игры, водится только с малышами, обезоруживает самых строгих маменек и самых угрюмых духовных отцов невинностью своего смеха и усердным посещением церкви. Снова появилась Алиса Башельри, дива театра Буфф, бывалый весельчак — поваренок, окруженная молодыми вертопрахами, душа празднеств, пикников, ужинов, которые неизменное присутствие мамы лишь наполовину спасало от дурной славы.



Каждое утро, за целый час до того как дамы в светлых платьях спускались вниз, у подъезда останавливалась плетеная коляска с белым полотняным верхом, обитым фестончатой бахромой, а вокруг нее фыркали

кони веселой кавалькады, в которой участвовала вся свободная мужская молодежь «Дофинеи́ских Альп» и соседних гостиниц: помощник судьи, американский архитектор и прежде всего молодой человек с силой сопротивления, — сейчас певичка уже, видимо, не приводила его в отчаяние невинным ребячеством. В коляску запихивали верхнюю одежду для вечернего возвращения, ставили на переднее сиденье громадную корзину с провизией, и все на рысях мчались через селение по дороге в Шартрез де Сен-Югон — три часа езды по горам, по крутым извивам шоссе, чуть ли не по вершинам, черным от сосновых лесов, спускающихся в пропасти, к белым от пены горным речкам или же в направлении Брамфарин, где можно поест сыру и запить его местным кларетом, очень крепким, от которого начинают плясать Альпы, Монблан, весь чудесный кругозор с ледниками, синими обрывистыми склонами, которые так хорошо видно сверху, с озерками — этими блестящими осколками неба у подножья скал. Спускались в сплетенных на веток санках без спинок, в которых надо крепко держаться за ветки, стремительно летя по крутым склонам. На более гладких местах санки тащит горец, бегущий, не разбирая дороги, по бархату пастбищ, по щебнистым, сухим руслам, одинаково скоро и по каменным глыбам и по широкой излучине ручья, так что под конец, уже добравшись донизу, чувствуешь себя ошалелым, избитым, еле дышишь, во всем теле трясучка, в глазах все ходит ходуном — ощущение такое, будто остался жив после ужасающего землетрясения.

День можно было считать удавшимся лишь в том случае, если вся кавалькада промокала до нитки, застигнутая в горах грозой, так, чтобы молнии и град пугали лошадей, придавали драматизм пейзажу и обеспечили сенсационное возвращение с прогулки: на козлах малютка Башельри, в мужском пальто, с перышком рябчика на берете, держит в руках вожжи и яростно погоняет лошадей, чтобы согреться. Потом, спустившись с козел, она пронзительно звонким голосом, возбужденно рассказывает об опасностях, которым они подвергались во время экскурсии, глаза у нее блестят, и сразу видно, что нипочем ее молодости и холодный ливень и пережитый легкий страх.

И если бы еще она в результате ощутила потребнoсть хорошенько выспаться, заснуть мертвым сном, как бывает после таких горных прогулок. Нисколько: в номере мамы и дочки Башельри до самого утра раздавались смех, пенье, хлопанье пробок, в самые неподходящие часы к ним поднимались официанты с блюдами, передвигались столы для игры в баккара — и все это над головой министра, чьи апартаменты находились как раз под ними.

Не раз жаловался он г-же Ложерон, которая разрывалась между стремлением угодить его превосходительству и боязнью рассердить клиентов, от которых был такой хороший доход. Да и кто имеет право быть требовательным в курортных гостиницах, где неизменно царит суэта отъездов, приездов глухою ночью, где с грохотом тащат по коридорам сундуки, где стучат горными сапогами и стальными наконечниками палок альпинисты, еще до рассвета готовящиеся к походу, где все время раздается кашель больных, ужасный, надрывающий душу непрерывный кашель, напоминающий то предсмертный хрип, то рыдание, то пение осипшего петуха.

В эти бессонные душные июльские ночи Руместана, ворочавшегося с боку на бок в своей постели, донимали докучные мысли, а сверху доносился ввонкий, прерываемый песенными трелями смех его соседки. В такие ночи он мог бы заниматься своей шамберийской речью, но его одолевали раздражение, бешенство, он еле удерживался, чтобы не устремиться наверх, не выгнать пинками в зад молодого человека, обладавшего силой сопротивления, американца и гнусавого помощника судьи, бесчестившего французскую колониальную администрацию, не схватить за горло, за птичье горлышко, набухшее музыкальными руладами, эту маленькую злую негодницу и не сказать ей раз и навсегда:

— Да перестанешь ты меня терзать?

Чтобы успокоиться, отогнать эти видения и другие, еще более яркие, еще более мучительные, он зажигал свечу, звал Бомпара, спавшего в соседней комнате, — своего наперсника, свое эхо, — всегда готового явиться по первому зову, и они разговаривали о малютке. Только ради этого он и привез его с собой, не без труда оторвав от устройства страусовых инкубаторов. Бомпар вознаграждал себя тем, что излагал свои планы патеру Оливьери, который досконально знал, как разводить страусов, ибо долгое время жил в Кэйптауне. Рассказы монаха об его путешествиях, о пережитых им муках, о разнообразных пытках, которыми в разных странах терзали его мощное тело охотника на буйволов: жгли, пилили, колесовали, так что на нем можно было демонстрировать все ухищрения человеческой жестокости, — все это и вдобавок мечты о навевающих прохладу опахалах из пышных шелковистых перьев было куда занятнее для богатого воображения Бомпара, чем история малютки Башельри. Однако он так хорошо знал свое ремесло наперсника, что даже в поздние часы готов был вместе с Нумой умиляться и возмущаться. Его благородное чело, над которым торчали уголки шелкового ночного платка, все черты лица принимали выражение гневное, ироническое или горестное, в зависимости

от того, шла ли речь о наклеенных ресницах плутовки, о ее шестнадцати годах, которые стоили двадцати четырех, или о безнравственности мамыши, принимавшей участие во всех скандальных оргиях. И под конец, когда Руместан, уже достаточно надекламировав, нажестикулировав, предельно обнажив всю слабость своего влюбленного сердца, тушил свечу со словами: «Ну, ладно... Попробуем заснуть...»— Бомпар, воспользовавшись темнотой, говорил ему напоследок:

— Я знаю, что бы я сделал на твоём месте...

— Что?

— Возобновил бы договор с Кадайяком.

— Никогда!

И он резким движением укрывался с головой одеялом, спасаясь от шума на верхнем этаже.

Однажды в предвечерний час, когда в парке играет музыка, когда на водах принято красоваться друг перед другом и болтать, когда больные толпятся перед ванным зданием, как на палубе океанского парохода, прохаживаются взад и вперед, кружат или занимают места на трех рядах тесно приставленных одно к другому стульев, министр, стремясь избежать встречи с мадемуазель Башельри, приближавшейся в ослепительном, синем с красным, туалете, вместе со всем своим штабом свернул в пустынную аллею, присел на уголок скамейки и, погруженный в свои мысли, которым так соответствовала и меланхолия вечернего часа и отдаленная грустная музыка, принялся машинально чертить кончиком своего зонтика по обрызганному закатным пламенем песку аллеи. Внезапно, заслоня солнце, проплыла чья-то тень. Он поднял глаза. Перед ним был Бушро, знаменитый врач; бледный, одутловатый, он передвигался с трудом. Они были знакомы: все жители Парижа, занимающие определенное общественное положение, знают друг друга. Случилось так, что Бушро, который несколько дней подряд не выходил, сегодня проявил общительность. Он подсел к Руместану, они разговорились.

— Вы, значит, больны, доктор?

— Очень болен, — взглянув на него своим обычным взглядом, как у дикого кабана, ответил тот. — Наследственность... расширение сердца. От этого умерла моя мать, сестры... Но я не проживу столько, сколько они, из-за моего проклятого ремесла. Мне остался год, самое большее — два.

Большой ученый, безукоризненный диагност так спокойно и уверенно говорил о своей близкой смерти, что ответить ему можно было только бесполезными банальными фразами. Руместан, поняв это, подумал, что тут беда посерьезней его огорчений. Бушро, не глядя на него, уставив взор в

пространство, продолжал развивать свои мысли с беспощадной логичностью, свойственной профессорам, привыкшим читать лекции:

— Из-за того, что мы, врачи, напускаем на себя этакий бесстрастный вид, считается, будто мы народ бесчувственный, что в больном нас занимает лишь сама болезнь, а не страдающий человек. Величайшее заблуждение!.. Я видел, как мой учитель Дюпюитран, слывший человеком, которого трудно разжалобить, горькими слезами плакал у постели мальчика, который умирал от дифтерита и кротко говорил, что ему досадно умирать. А раздирающие вопли страдающих матерей, их пальцы, впивающиеся вам в руки: «Мой мальчик! Спасите моего мальчика!» А отцы — они стараются взять себя в руки, говорят спокойно и не замечают слез, которые катятся у них по щекам: «Вы уж выцарапаете его, правда, доктор?..» Как ни хорохорься, а это отчаяние — словно нож в сердце. Что, кстати, очень полезно, когда и без того сердце уже сдает!.. Сорок лет практики, и с каждым годом становишься все уязвимее, все чувствительнее... Убивают меня мои больные. Я умираю от чужих страданий.

— Я полагал, что вы уже не практикуете, доктор, — заметил взволнованный министр.

— О нет, не лечу и никого никогда не буду лечить! Пусть на моих глазах упадет кто угодно. Я даже не нагнусь... Понимаете, это же в конце концов возмутительно — заболеть от чужих болезней! Я хочу жить... Мы живем только один раз.

Его бледное лицо с заострившимся от болезни носом оживилось, ноздри втягивали легкое дуновение вечернего ветра, приносившего с собой теплое благоухание, отделенные звуки фанфар и птичий крик. Бушро продолжал со скорбным вздохом:

— Я не практикую, но остаюсь врачом, сохраняю свой роковой дар диагностики, ужасную способность распознавать даже скрытые симптомы страдания, в которых больной не хочет признаваться и которые в случайном прохожем, в человеческом существе, движущемся, говорящем, действующем в полную силу, заставляют меня видеть того, кто завтра будет лежать на смертном одре, станет неподвижным трупом... Я вижу все это так же ясно, как и тот припадок, который покончит со мной, то последнее беспомыслие, из которого меня ничто уже не выведет.

— Как это страшно! — прошептал Нума.

Он чувствовал, что бледнеет; он как все ненасытно жизнелюбивые южане, трусил перед болезнью и смертью и инстинктивно отворачивался от этого пугающего врача, не решался смотреть ему в глаза, чтобы тот, не

дай бог, не прочел на его румянном лице предвестие близкой кончины.

— Ах, эта проклятая способность к диагностике, которой все они завидуют! Как она огорчает меня, как она портит мне жалкий остаток жизни!.. Послушайте: здесь есть одна несчастная женщина, у которой лет десять — двенадцать назад умер от горловой чахотки сын. Я смотрел его раза два и, единственный из всех врачей, установил, насколько серьезно заболевание. Теперь я опять встречаю мать с ее юной дочерью и могу с полным основанием сказать, что присутствие здесь этих несчастных сводит на нет мое пребывание на водах, причиняет мне больше вреда, чем могло бы принести пользы лечение. Они преследуют меня, хотят со мной посоветоваться, а я решительно отказываюсь. Не к чему и осматривать эту девушку для того, чтобы вынести приговор. Мне достаточно было видеть на днях, как она жадно набросилась на миску с малиной, достаточно было разглядеть во время ингаляции ее лежащую на коленях руку, худенькую ручку с чрезмерно выпуклыми ногтями, которые словно приподнимаются над пальцами и вот-вот отделятся от них. У нее та же болезнь, что у ее брата, она погибнет меньше чем через год... Но пусть им скажут об этом другие. Я больше не хочу наносить людям удары ножом в сердце — потом эти удары оборачиваются против меня. Не хочу!

Руместан встал; он был в ужасе.

— Вы знаете, доктор, как зовут этих дам?

— Нет. Они прислали мне свою карточку, но я даже не стал смотреть. Знаю только, что они в нашей гостинице.

Бросив случайный взгляд в глубь аллеи, он вскочил со скамейки.

— Ах, боже мой, вот и они!.. Я убегаю.

Отовсюду звонили к обеду; там, у эстрады, где раздался последний аккорд музыки, запестрели, зашевелились между ветвями зонтики и яркие платья. От одной оживленно беседовавшей группы отошли мать и дочь Ле Кенуа. Освещенная вечерним солнцем, стройная, высокая, Ортанс была в муслиновом платье, отделанном валансьенскими кружевами, в шляпе с розами и с букетом таких же роз, купленных в парке.

— С кем ты разговаривал, Нума? Это не Бушро?

Она стояла перед ним, вся сияя в лучах своей счастливой юности, так что даже старушку мать покинул страх, и ее поблекшее лицо, казалось, тоже оживилось отблеском этой покоряющей веселости.

— Да, Бушро рассказывал мне о своих горестях... Он очень плох, бедняга!..

Глядя на Ортанс, Нума постепенно успокаивался: «С ума он сошел. Ерунда! Он не может избавиться от мыслей о своей близкой смерти и всем

ставит тот же диагноз».

В этот момент появился Бомпар; он направлялся к ним быстрым шагом, размахивая газетой.

— Что там такое? — спросил министр.

— Важная новость. Дебют тамбуринщика...

Ортанс прошептала:

— Наконец-то!

Нума просиял.

— Успех, не так ли?

— А как же!.. Я не читал статьи... Но на первой странице «Мессаже» целых три столбца!..

— Еще одного я открыл! — произнес министр, засунув пальцы за проймы жилета. — Ну, прочти.

Г-жа Ле Кенуа заметила, что уже звонили к обеду, но Ортанс живо возразила, что был только первый звонок, и, подперев рукой щеку, в красивой позе улыбчивого ожидания стала слушать.

— «Позволительно спросить: кому обязана парижская публика тем, что стала вчера вечером жертвой смехотворной мистификации: директору Оперы или же министру изящных искусств?»

Все вздрогнули, кроме Бомпара, который, увлекшись своим краснобайством, убаюканный мурлыканьем прочитанной фразы, переводил взгляд с одного слушателя на другого, словно его поражало их удивление.

— Дальше, дальше! — сказал Нума.

— «Во всяком случае, мы полагаем, что ответствен за это господин Руместан — не кто иной, как он, привез нам из недр своей провинции эту странную дикую флейту, эту козлиную свирель...»

— Есть же на свете злые люди!.. — прервала девушка, побледневшая под розами своей шляпки.

Бомпар продолжал чтение, но глаза у него стали совсем круглые от той чудовищной брани, которую он уже видел дальше.

— «...из-за которой наша Музыкальная академия напоминала в тот вечер возвращение народа с ярмарки в Сен-Клу. Что говорить, флейта знатная, раз кому-то могло прийти в голову, что Париж...»

Министр вырвал из рук Бомпара газету.

— Не хватало только, чтобы ты до конца дочитал всю эту чушь! Довольно и того, что ты нам ее принес.

Он пробежал глазами статью, как искушенный в политике человек, привыкший к нападкам прессы: «Министр-провинциал... ловко выделяет антраша... освистать министерство и продавить его

тамбурин». Потом ему надоело, он сунул злобный листок в карман, встал и тяжело дыша, отдуваясь, взял под руку г-жу Ле Кенуа.

— Пойдемте обедать, мама... Вперед мне наука: не надо увлекаться всем подряд, без разбора.

Все четверо шли рядом. Ортанс, расстроенная, уставила глаза в землю.

— Речь идет об очень талантливом артисте, — сказала она, стараясь, чтобы ее хрипловатый голос звучал уверенней. — Нельзя возлагать на него ответственность за несправедливость публики и клеветнические выпады газет.

Руместан остановился.

— Талант... талант... Да... конечно... Согласен-. Но слишком уж экзотичный.

Он поднял зонтик.

— Надо остерегаться Юга, сестричка, надо остерегаться Юга... Не будем злоупотреблять... Иначе Париж устанет.

И он двинулся дальше мерным шагом, уже не уступая в невозмутимости и холодности жителю Копенгагена. Молчание нарушалось похрустыванием гравия под ногами — в определенных обстоятельствах это звучит так, словно дробится, распыляется чей-то гнев или чья-то мечта. Когда они подошли к гостинице и из всех десяти окон огромного ресторанного вала до них донесся голодный стук ложек по глубоким тарелкам, Ортанс остановилась и подняла голову:

— Значит, ты оставляешь беднягу на произвол судьбы?

— А что же делать?.. Бороться нет смысла... Раз Париж его отвергает...

Она бросила на него негодующий, почти презрительный взгляд:

— Это просто ужасно. Но знай, что у меня больше самолюбия, чем у тебя, и увлечения проходят у меня не так скоро.

Она взбежала на крыльцо гостиницы.

— Ортанс, был уже второй звонок!

— Да, да, я знаю... Я сейчас.

Она поднялась к себе в комнату и заперлась изнутри, чтобы ей не помешали. Открыв свой переносный пюпитр, одну из тех безделушек, благодаря которым парижанка может придать оттенок чего-то своего, личного, даже номеру гостиницы, Ортанс вынула из ящичка фотографию, на которой снята была с бантом и косынкой арлезианки, начертала внизу одну строчку и подписалась. Пока она написала адрес, на арвильярской колокольне в сиреневом сумраке долины пробили часы, словно торжественно подтверждая то, что она осмелилась сделать.

— Шесть часов.

От горной речки блуждающими белыми клубами поднимался туман. Ортанс отмечала все, что бросалось ей в глаза в этот миг покоя и тишины, как отмечают в календаре особенно важную дату, как подчеркивают в книге поразившее место, — амфитеатр лесов и гор, серебряный убор ледника в розовой дымке вечера. Затем подумала вслух:

— Я ставлю на карту свою жизнь, всю свою жизнь.

И она брала в свидетели торжественную тишину вечера, величие природы, грандиозную сосредоточенность всего, что ее окружало.

Она ставила на карту всю свою жизнь! Бедняжка! Если б она только догадывалась, как это было мало!

Через несколько дней Ортанс закончила курс лечения, и обе дамы Ле Кенуа выезжали из гостиницы. Хотя мать успокоили отличный вид дочки и все, что маленький доктор говорил о чуде, совершенном нимфами здешних вод, ей хотелось как можно скорее отсюда уехать, ибо малейшая подробность курортной жизни пробуждала в ней память о былой муке.

— А вы, Нума?

О нет, он задержится здесь недельки на две, продолжит начатое, не слишком серьезное лечение и воспользуется спокойствием одиночества после их отъезда, чтобы написать наконец пресловутую речь. Она наделает шуму, его услышат и в Париже. Ничего не поделаешь! Его тесть Ле Кенуа будет от нее не в восторге.

И вдруг Ортанс, уже совсем готовая к отъезду, счастливая тем, что вернется домой, увидит близких и дорогих людей, ставших ей из-за разлуки еще дороже, ибо дар воображения жил у нее в сердце, ощутила грусть оттого, что покидает эти чудесные места и постояльцев гостиницы, друзей трехнедельной давности; она и не подозревала, что так привязалась к ним. Ах, натуры, в которых заложена способность любить! Как вы умеете предаваться своему чувству, как все вас захватывает и как тяжело вам разрывать потом незримые чувствительные нити! К ней все были так добры, так внимательны, а в последнюю минуту вокруг их коляски оказалось столько протянутых рук, столько растроганных лиц! Девушки целовались с ней.

— Без вас будет не так весело.

Давали обещания писать друг другу, обменивались сувенирами — надушенными ларчиками, перламутровыми ножами для бумаги с надписью «Арвильяр, 1876», хранившими в себе голубой отсвет здешних озер. Г-н Ложе рон потихоньку совал ей в сумку бутылочку шартреза высшего качества, а она смотрела на окно своей комнаты, видела в нем

прислуживавшую ей горянку, которая вытирала глаза большим темно-красным носовым платком, и слышала, как надтреснутый голос шептал ей на ухо: «Сила сопротивления, мадемуазель, прежде всего...» Ее чахоточный друг, вскочив на ось колеса, устремлял на нее прощальный взгляд, его глубоко запавшие, лихорадочно блестящие глаза выражали энергию, волю и отчасти нежное чувство к ней... Какие милые люди, ах, какие милые!..

Боясь расплакаться, Ортанс никому не сказала ни слова.

Министр, провожавший обеих дам до железнодорожной станции, до которой было отсюда далеко, уселся напротив них. Щелканье кнута, звон бубенцов... Вдруг Ортанс крикнула:

— Зонтик!

Он ведь только что был тут. Человек двадцать бросаются на поиски.

— Зонтик!.. Зонтик!..

В комнате нет, в гостиной нет... Хлопают двери, гостиницу обыскивают сверху донизу.

— Не ищите... Я знаю, где он.

Девушка выскакивает из коляски и бежит в сад, в орешник, где еще сегодня утром она добавляла несколько слов к роману, развертывавшемуся в ее взбаламученной головке.

Зонтик действительно там, лежит поперек скамейки, как что-то оставшееся от нее самой, на месте излюбленном ею и чем-то подобном ей. Сколько чудесных часов провела она среди светлой зелени этого уголка, сколько признаний унесли отсюда пчелы и бабочки! Конечно, она никогда сюда не вернется, и эта мысль сжимала ей сердце, аставляла медлитель. Даже скрип качелей был ей сейчас мил.

— Отстань! Вот пристала!..

Это был голосок мадемуазель Башельри, взбешенной тем, что отъезд Ле Кенуа оторвал от нее всю компанию молодежи. Она была уверена, что, кроме нее и матери, здесь никого нет, не стеснялась в выражениях. Ортанс вспомнила жеманные дочерние ласки мадемуазель Башельри, которые так ее раздражали, и, идя к коляске, посмеивалась втихомолку. Внезапно на повороте в одну из боковых аллей девушка очутилась лицом к лицу с Бушро. Она отстранилась, но он удержал ее за руку.

— Вы покидаете нас, мадемуазель?

— Ничего не поделаешь, сударь.

Она растерялась от этой встречи, оттого, что он впервые заговорил с ней, и не знала, о чем говорить. Он взял ее руки в свои, раздвинул их и, удерживая ее прямо перед собой, стал пристально всматриваться в ее лицо

своими острыми глазами из-под лохматых седых бровей. Потом его губы и его руки дрогнули, по бледному лицу разлилась краска.

— Что ж, прощайте!.. Счастливого пути!

Он молча привлек ее к себе, прижал к груди с нежностью деда — и сейчас же убежал, держа руки у сердца, разрывавшегося от жалости.

XIII. ШАМБЕРИЙСКАЯ РЕЧЬ

*Нет, нет, я птичкой быть хо-о-о-чу,
Я в небо ла-а-сточкой ле-е-е-чу!*

Малютка Башельри, стоя перед зеркалом в дождевом плаще «фантазия» с голубым шелковым капюшоном, выбранным под статью беретику, обернутому широкой газовой вуалью, и, застегивая перчатки, заливалась своим серебристым голосом, который, проснувшись нынче утром, был ясен и весел. От нее приятно пахло после утреннего туалета, веяло жизнерадостью; ее маленькая фигурка была затянута в новый, предназначавшийся специально для экскурсий костюм с иголки, необыкновенно аккуратный в полную противоположность беспорядку, царившему в номере, где остатки вчерашнего ужина красовались на столе среди жетонов, игральных карт, свечей, в самом близком соседстве с неубранной постелью и большой ванной, в которой ослепительно белела арвильярека я сыворотка — лучшее средство для того, чтобы успокаивать нервы и придавать атласный блеск коже купальщиц.

Внизу ее ждала запряженная плетеная коляска, звеневшая бубенцами, и гарцевавший у подъезда почетный конвой молодежи.

Когда она была уже почти совсем готова, в дверь постучали.

— Войдите!..

В комнату, еле сдерживая волнение, шагнул Руместан и протянул ей большой конверт.

— Вот, мадемуазель... Прочтите... Пожалуйста, прочтите...

Это был ангажемент в Оперу на пять лет, с жалованьем, которого она добивалась, с положением артистки на первых ролях — словом, все, чего ей хотелось. Хладнокровно, не спеша прочитала она документ, пункт за пунктом, до самой подписи, в которой чувствовались толстые пальцы Кадайяка, и тогда — только тогда! — приблизилась к министру, откинула вуаль, уже опущенную во избежание дорожной пыли, и, подняв розовый носик, почти прижалась к нему.

— Вы добрый!.. Я вас люблю!..

Этого было достаточно, чтобы государственный муж забыл все неприятности, которые должны были воследовать для него из-за этого ангажемента. Однако он сдержался и стоял прямой, холодный, хмурый, как

скала.

— Я сдержал свое слово, а теперь мне остается уйти... Я не хочу мешать вашей прогулке...

— Прогулке?.. Ах да, верно!.. Мы собираемся в замок Баярда.^[33]

Обняв его обеими руками за шею, она ласково протянула:

— Вы поедете с нами... Да, да!..

Она щекотала ему лицо ресницами, длинными, как кисти художника, покусывала ему подбородок, но слегка, кончиками передних зубов.

— Со всей этой молодежи?.. Что вы!.. Как это вам могло прийти в голову?

— Молодежь?.. Плевать мне на этих юнцов!.. Не поеду я с ними, вот и все... Мама им скажет... Они к этому привыкли... Слышишь, мама?

— Иду, — скаала г-жа Башельри. Видно было, как она в соседней комнате, поставив ногу в красном чулке на стул, силится втиснуть ее в узкий ботинок с матерчатым верхом. Она сделала министру глубокий реверанс в стиле Фоли-Борделез, а затем поспешила сойти вниз, чтобы спровадить молодых людей.

— Одну лошадь для Бомпара!.. Он поедет с нами! — крикнула ей вслед девушка.

Нума, тронутый этим знаком внимания, упивался своим счастьем: держа в объятиях красотку, он слушал, как расходятся не солоно хлебавши ретивые юнцы, которые так часто топтали ему сердце копытами своих гарцевавших коней. Долгим поцелуем обжег он ее улыбочивые губы, обещавшие ему все. Затем она выскользнула из его объятий.

— Идите одеваться... Мне уже хочется быть в пути.

Все вагудело, все засуетилось от любопытства, когда стало известно, что министр принимает участие в поездке в замок Баярда, когда в плетеной коляске напротив певички появились широкий белый жилет и панاما, затенявшая его римский профиль. Но в конце-то концов, как говорил патер Оливьери, которого очень оживили путешествия, что тут худого? Ведь их сопровождает мамаша. А замок Баярда — исторический памятник, подведомственный министру народного просвещения. Не будем так уж нетерпимы, друг мой, в особенности по отношению к людям, которые всю жизнь свою посвятили защите благородных принципов и нашей святой веры.

— Бомпара нет как нет. Ну что он там возится? — бормотал Руместан, раздосадованный тем, что ему приходится ждать у крыльца гостиницы, где, несмотря на балдахин над коляской, его без конца расстреливают все вти понижающие взгляды.

Но вот в одном из окон второго этажа появилось нечто необыкновенное — белое, круглое, экзотичное — и крикнуло голосом предводителя черкесов:

— Поезжайте!.. Я вас догоню!

Пара впряженных в коляску мулов с низким загривком, но крепкими ногами, словно только этого сигнала и дожидалась, она рванулась вперед, тряхнув бубенчиками, вылетела из парка, промчалась мимо ваннх зданий.

— Берегись!

Сторонятся испуганные больные и носильщики портшезов; у входа в галереи появляются санитарки в белых фартуках с огромными карманами, набитыми разменной мелочью и разноцветными билетиками; массажисты, голые, как бедуины, под своими шерстяными одеялами, высовываются по пояс на лестнице парилен; в ингаляционных валах приподнимаются голубые занавески: все хотят видеть, как едут министр и певичка. Но те уже далеко, мчатся во всю прыть, спускаясь по извилам черных арвильярских улочек, по густому острому щебню с прожилками серы и огня, на котором коляска подпрыгивает, высекая искры, сотрясая низкие домишки, покрытые пятнами, словно язвами проказы, притягивая любопытные головы к окнам с объявлениями о сдаче в наем, к порогам лавок, торгующих альпенштоками, зонтиками, горной обувью с шипами на подошвах, сталактитами, кристаллами горного хрусталя и другими приманками для курортников, — головы, почтительно склоняющиеся или почтительно обнажающиеся при виде министра. Даже зобатые кретины узнают его и приветствуют своим бессмысленным хриплым смехом главу Французского университета, а его спутницы, с достоинством выпрямившись, сидят напротив него, в высшей степени гордые оказанной им честью.

Они позволяют себе принять более удобные позы, лишь отъехав от жилых мест, на красивой дороге в Поншарра, где мулы наконец останавливаются, тяжело дыша, у подножья Трейльской башни: тут назначил им свидание Бомпар.

Но минуты текут, а Бомпара нет. Известно, что он отличный наездник, он сам так часто хвастался этим. Они удивляются, потом раздражаются, особенно Нума, которому не терпится отъехать как можно дальше по этой белой ровной дороге, кажущейся бесконечной, войти поглубже в этот день, открытый перед ним, как целая жизнь, полная надежд и приключений. Наконец — облако пыли, из которого доносится задыхающийся испуганный голос: «Эй!.. Эй!..» — и появляется голова Бомпара в пробковом, обтянутом белым полотном шлеме, отдаленно напоминающем

водолазный скафандр (такие шлемы приняты в англо-индийской армии). Южанин взял его с собой, чтобы путешествие выглядело внушительнее и драматичнее и чтобы торговец головными уборами подумал, будто бы его клиент направляется в Бомбей или Калькутту.

— Наконец-то! Чего ты застрял?

Бомпар с трагическим видом качает головой. Видимо, его отъезд был сопряжен с какими-то событиями, и черкесу не удалось создать у постояльцев и служащих гостиницы благоприятное представление о своей способности сохранять равновесие, ибо его рукава и спина покрыты пылью.

— Норовистая лошадь, — говорит он, приветствуя дам (их плетеная коляска уже тронулась), — но я заставил ее идти шагом.

Очевидно, очень тихим шагом, а теперь этот удивительный конь и вовсе не желал двигаться вперед. Несмотря на все усилия седока, он топтался и кружился на месте, как больной кот. Коляска была теперь уже далеко.

— Ну что же ты, Бомпар?

— Поезжайте, поезжайте... Я догоню!.. — крикнул он еще раз с ярко выраженным марсельским акцентом. Внезапно он сделал жест отчаяния и снова помчался в сторону Арвильяра, так что издали видны были только яростно вздымающиеся копыта. «Наверно, что-нибудь забыл», — решили все и перестали о нем думать.

Дорога, широкая французская дорога, обсаженная ореховыми деревьями, огибала высокие холмы. Слева от нее темнели каштановые и сосновые рощи, справа возвышались горы, а по их склонам до самого подножья, где в складках тесно залегали дереушки, расстились виноградники, посеvy пшеницы и кукурузы, тутовые и миндальные плантации, ослепительные ковры желтого дрока, чьи семена лопались от зноя с легким непрерывным треском, как будто потрескивала охваченная огнем почва. И этому можно было поверить — такая тяжкая стояла жара, так пылал воздух — словно не от солнца, затянутого дымкой и почти невидимого, но от горячих испарений земли, из-за которых таким восхитительно прохладным казался издали Глезен, особенно его венчанная снегом макушка: до нее, казалось, можно было дотронуться кончиком зонта.

Равного этому пейзажу Руместан не мог вспомнить даже в своем родном Провансе. Не мог он вообразить себе и большей полноты счастья. Ни забот, ни угрызений совести. Для него перестало существовать все: верная и верящая ему жена, надежда на отцовство, предсказание Бушро

насчет Органс, неблагоприятное впечатление, которое произведет повсюду появление в «Офисьель» декрета о назначении Кадайяка. Вся судьба его была в руках этой прелестной девушки; недаром сейчас в ее глазах отражались его глаза, ее коленки обхватывали его колени. Голубая вуаль зарозовела от румянца ее щек. Держа его за руки, она напевала:

Теперь любовь твоя сильней.
Бежим, бежим под сень ветвей!

Они мчались, словно подхваченные ветром, лента дороги разматывалась все быстрее, кругозор расширялся, и перед ними открывалась полукругом необъятная равнина с озерами, селами, а еще дальше меняли окраску в зависимости от расстояния горы: отсюда начиналась Савойя.

— Как прекрасно! Как величественно! — говорила певица.

А он шептал:

— Как я люблю вас!

На последней остановке снова появился Бомпар — он с весьма жалким видом вел своего коня под уздцы.

— Удивительная животино... — сказал он и ничего больше не прибавил, а на вопрос дам, не упал ли он, ответил — Нет... Открылась моя старая рана.

Рана? Где и когда он был ранен? Он никогда об этом не упоминал, но с Бомпаром всегда можно было рассчитывать на какую-нибудь неожиданность. Ему дали место в коляске, коня, кстати сказать — смирнехонького, спокойно привязали сзади, и все направились к замку Баярда — две его плохо реставрированные башенки, напоминавшие перечницы, уже виднелись на плоской возвышенности.

Навстречу им вышла служанка, хитрая жительница гор, состоявшая при старом приходском священнике, которого послали «на покой» в замок Баярда с обязательством обеспечить туда свободный доступ туристам. Когда появляются посетители, если только это не какие —нибудь важные птицы, священник с достоинством удаляется в свою комнату. Но, оказавшись тут в сугубо частном порядке, министр отнюдь не собирался открывать свое инкогнито, и служанка, нараспев произнося заученные фразы, показала им, как самым обыкновенным посетителям, все, что осталось от старинного замка рыцаря без страха и упрека, куда кучер расставлял привезенную для завтрака снедь в беседке садика.

— Вот здесь старинная часовня, где добрый рыцарь каждое утро и каждый вечер... Попрошу дам и господ обратить внимание на толщину стен.

Но они ни на что не обращали внимания. В помещении было темно, свет проникал сюда из бойницы на уровне сеновала, устроенного между балками, и они натыкались на кучи мусора. Нуме, державшему под руку свою малютку, наплевать было на рыцаря Баярда и его «досточтимую матушку, госпожу Элен дез Альман». Им надоел этот запах старья, и когда г-жа Башельри, желая проверить, гулкое ли эхо в сводчатой кухне, запела последнюю песенку своего супруга, песенку, откровенно говоря, забористую: «У меня это от папы, у меня это от мамы», — никто не возмутился, наоборот, все развеселились.

Но когда они вышли из замка, когда им подали завтрак на массивном каменном столе и первый голод был утолен, мирное великолепие развернувшегося перед ними кругозора — долина Трезиводана, высоты Бож, суровые контрфорсы обитатели Гранд-Шартрез и состав- *аявший* контраст с этими крупными масштабами маленький, расположенный террасками фруктовый садик отшельника, всецело посвятившего себя богу, своим тюльпанным деревьям, своим пчелам, — все это вызывало у них ощущение чего-то значительного и вместе с тем кроткого, похожего на глубокую душевную сосредоточенность. За десертом министр приоткрыл путеводитель, чтобы освежить память, и заговорил о Баярде, о «бедной его матушке, которая плакала от горя и нежности», когда ее сын-отрок, уезжавший в Шамбери, чтобы стать пажом герцога Савойского, гарцевал на гнедом коньке перед северными воротами, на том самом месте, куда сейчас ложится величественная и зыбкая тень главной башни, как призрак исчезнувшей древней твердыни.

Нума прочел им благородные слова, которые г-жа Элен сказала на прощание сыну:

— «Пьер, друг мой! Наказываю тебе прежде всего любить и бояться бога и стараться служить ему так, чтобы никоим образом не прогневить его».

Стоя на террасе замка, Нума простер руку по направлению к Шамбери:

— Вот что надо говорить детям, вот что все родители, все учителя.

Тут он остановился и хлопнул себя по лбу.

— Моя речь!.. Да вот же она, моя речь!.. Я нашел ее... Великолепно! Замок Баярда, местное предание... Две недели ищу... А она тут как тут!

— Перст божий! — в восторженном порыве вскричала г-жа Башельри; впрочем, в глубине души она находила, что конец завтрака получился

слишком серьезный.

— Какой человек! Какой человек!

Малютка тоже, казалось, была крайне взволнована. Но впечатлительный Руместан не обращал на это внимания. Слова оратора уже закипали в его уме, в его груди, и сейчас он весь был поглощен одной мыслью.

— Лучше всего было бы, — говорил он, что-то ища глазами вокруг себя, — если бы я мог пометить речь сегодняшним числом и указать место — замок Баярда.

— Если господину адвокату нужен укромный уголок, чтобы писать....

— Да мне только набросать... Вы разрешите, милые дамы?.. Пока вы будете пить кофе... Я сейчас... Только, чтобы без обмана поставить дату.

Служанка устроила его в старинной комнатке на первом этаже; на ее закругленных в виде купола сводах еще можно было различить следы позолоты; существует мнение, что здесь была молельня самого Баярда, а соседнее просторное помещение, где стоит большая крестьянская кровать с балдахинном и тиковыми занавесками, выдают за его опочивальню.

Приятно было писать за этими толстыми стенами, куда не проникала царившая на дворе духота, у полуоткрытой стеклянной двери, из которой на листок бумаги падал свет и вливались ароматы садика. Вначале перо оратора не попевало за бурным разворотом идей. Он бросался общими фразами, ничего не уточнял, и они летели стремглав, — это были фразы адвоката-южанина, общеизвестные, но красноречивые, в их банальности был скрытый жар и местами вспыхивали искры, как в металлическом литье. Внезапно он остановился, не находя больше слов, — голова у него либо вовсе опустела, либо отяжелела от дорожной усталости и обильного завтрака. Он стал прохаживаться из молельни в комнату и обратно, громко говорил сам с собой, старался вдохновиться, прислушивался к своим шагам в гулкой тишине, словно к шагам чьей-нибудь великой тени, потом опять сел за стол, но так и не написал ни строчки... Вокруг него все кружилось — выбеленные известкой стены, гипнотизирующий луч света, бьющий из стеклянной двери... Из сада донеслись звон тарелок и смех — из далекого-далекого далека! — и под конец он заснул глубоким сном, уткнувшись носом в свой черновик.

...Сильный удар грома заставил его подскочить. Сколько же времени он адесь? Слегка смущенный, он вышел в опустевший сад, где не трепетал ни один листок. Тяжелый воздух был перенасыщен запахом тюльпанных деревьев. В пустой беседке над стаканами, из которых пили шампанское, и не расставшим в чашках сахаром лениво кружились осы. Служанка,

охваченная нервным страхом животного перед грозой, крестясь при каждой вспышке молнии, бесшумно убирала со стола. Она сообщила Нуме, что у барышни после завтрака разболелась голова, она отвела ее поспать в опочивальню Баярда и «тихохонько» закрыла дверь, чтобы не помешать господину адвокату. А двое других — полная дама и тот, в белом шлеме, — спустились в долину, и уж их, как пить дать, намочит, потому сейчас такая грозища начнется...

— Смотрите!

Там, куда она указывала, над искромсанной цепью высот Бож, над известковыми вершинами Гранд — Шартрез, венчанными блеском молний, словно некий таинственный Синай, по небу расползлось огромное, разраставшееся на глазах, чернильное пятно, под которым вся долина, влажная зелень деревьев, золото хлебов, линии дорог, отмеченные легкими шлейфами поднятой ветром белой пыли, серебряная скатерть Изеры — все приобретало необыкновенную яркость окраски, словно освещалось косым ярко-белым лучом рефлектора по мере того, как все расширялась и расширялась темная грохочущая угроза. Вдалеке Руместан разглядел полотняный шлем Бомпара, сверкавший, словно грань фонаря.

Он зашел в дом, но не мог сесть за работу. Теперь уже не сон парализовал его перо: напротив, он чувствовал какое-то странное возбуждение от присутствия Алисы Башельри в соседней комнате. Но там ли она сейчас? Он приоткрыл дверь и не решился закрыть, чтобы не потревожить прелестный сон певицы, которая, едва успев раздеться, бросилась на кровать, и теперь он мог издали видеть волнующий беспорядок постели — смятые/ откинутые простыни и одеяла, растрепавшиеся волосы, неясную белизну ее округлых форм.

— Ладно, ладно, Нума, берись за ум! Это, черт побери, комната Баярда!

Он в буквальном смысле слова схватил себя, как преступника, за шиворот, заставил себя сесть за стол, сдавил голову руками, закрыл глаза и заткнул уши, чтобы как можно глубже уйти в последнюю фразу, которую он повторял про себя:

«И вот, господа, мы бы хотели, чтобы высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья, Французский университет...»

Гроза действовала ему на нервы, давила на него, сковывала все его тело, как это бывает, когда стоишь под тенью некоторых тропических деревьев. Голова кружилась, одурманенная дивным ароматом, который струили горькие цветы тюльпанного дерева, а быть может, и пышный сноп

светлых кудрей, разметавшихся на кровати в соседней комнате. Несчастный министр! Тщетно цеплялся он за свою речь, взывал о помощи к рыцарю без страха и упрека, к народному просвещению, к вероисповеданиям, к шамберинекому, ректору — ничто не помогало... Он снова зашел в опочивальню Баярда, на этот раз приблизился к спящей настолько, что слышал ее легкое дыхание, и коснулся рукой опущенных полосатых занавесок, которые скрывали спящую и весь соблазн ее сна, скрывали ее перламутровое тело с розовыми тенями и изгибами, как на шаловливой сангине Фрагонара.^[34]

Даже тут, на грани искушения, министр еще боролся и. машинально шевеля губами, бормотал высокие наставления, которые Французский университет... Но тут внезапный и уже очень близкий раскат грома разбудил певицу. Она так и подскочила на кровати.

— Ой, как я испугалась!.. Ах, это вы?

Ясные глазки пробудившегося ребенка узнали его, она улыбалась, нисколько не смущаясь беспорядком в своем туалете. Оба они замерли, опаяя друг друга безмолвным пламенем желания. И вдруг в комнате воцарилась полная темнота — ветер одну за другой закрыл высокие ставни. Слышно было, как где-то хлопнули двери, упал какой-то ключ, взвихренные жалобно свистящим шквалистым ветром, полетели по песку дорожек к порогу дома опавшие листья и сломанные цветы.

— Гроза-то какая! — тихо произнесла она и, взяв его горячую руку, почти втянула его под опущенные занавески...

«И вот, господа, высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья...»

В Шамбери, перед старым замком герцогов Савойских, перед изумительным амфитеатром зеленых холмов и снежных вершин, о которых вспоминал Шатобриан, глядя на Тайгетский хребет,^[35] выступал на этот раз глава Французского университета в окружении шитых золотом мундиров, горностаевых мантий, пышных эполет, возвышаясь над огромной толпой, увлеченной силой его красноречия и жестами его могучей руки, ежесжимавшей лопаточку с ручкой из слоновой кости, — этой лопаточкой он цементировал первые камни нового лица...

«Мы бы хотели, чтобы Французский университет общался к каждому из своих питомцев: «Пьер, друг мой! заказываю тебе прежде всего...»

И когда он приводил эти трогательные слова, его рука, его голос, его плотные щеки дрожали от одного воспоминания о большой благоуханной комнате, где в смятении, вызванном той достопамятной грозой, составлена

была его шамберийская речь.

XIV. ЖЕРТВЫ

Утро. Десять часов. Приемная министра народного просвещения, длинный, плохо освещенный коридор с темными обоями и дубовыми панелями, переполнена толпой просителей — одни сидят, другие топчутся на месте. Их становится с каждой минутой все больше и больше; вновь входящие протягивают свои карточки важному служителю с цепью, он берет их, осматривает и, не говоря ни слова, благоговейно кладет справа от себя на прикрытый промокательной бумагой столик, где он пишет при скудном дневном свете у окна, по которому стекают струйки мелкого октябрьского дождика.

Впрочем, некий посетитель, явившийся одним из последних, имел честь расшевелить его величественную невозмутимость. Это плотный мужчина, загорелый, опаленный, просмоленный, с серьгами в виде двух серебряных якорьков, с голосом, как у охрипшего тюленя, — такие голоса можно часто слышать в прозрачной утренней дымке провансальских портов.

— Скажите, что пришел лоцман Кабанту. Он знает... Он меня ждет.

— Вы тут не один, — отвечает служитель, скромно улыбаясь своей шутке.

Кабанту не оценил его тонкого остроумия. Но он доверчиво смеется, растянув рот до ушей, украшенных якорьками. Работая плечами, он пробирается сквозь толпу, расступаящуюся перед его мокрым зонтиком, и садится на скамье рядом с другим ожидающим, обладателем почти так же основательно выдубленной кожи.

— Эй, глянь! Да это Кабанту!.. Здорово!..

Лоцман извиняется. Он никак не может припомнить соседа.

— Да вы же меня знаете — Вальмажур... Мы познакомились там, в амфитеатре...

— А ведь и верно... Ну, парень, Париж тебя здорово изменил!

Тамбуринщик превратился в господина с длинными черными волосами, на артистический манер отброшенными назад, что при его смуглоте и иссиня-черных усиках, которые он все время крутит, делает его похожим на цыгана с ярмарки. При всем том — неизменно поднятый гребень деревенского петуха: тщеславие смазливового парня и музыканта, тщеславие, в котором переливается через край склонность к преувеличению, свойственная южанину, внешне, однако, спокойному и

немногословному. Неудача в Опере не отрезвил Вальмажура. Как все актеры, он приписывает неудачу проискам враждебной «шатни». Для него и его сестры слово это приобрело какой-то особый варварский оттенок, оно звучит как-то по-санскритски — *шшаттия*, словно название таинственного зверя, представляющего собой *помесь* очковой змеи и апокалиптического коня. Он говорит Кабанту, что через несколько дней состоится его первое выступление в большом кафешантане на бульваре — на *эскетинге*, во! — там он будет участвовать в живых картинах, и ему будут платить двести франков за вечер.

— Двести франков за вечер!

Глаза у лоцмана стали круглыми от изумления.

— А на улицах будут выкрикивать мою *биографию* и наклеют на всех парижских стенах мой портрет в натуральную величину, в костюме трубадура былых времен, который будет на мне вечером, когда я буду выступать со своей музкой.

Костюмом он особенно гордится. Как жаль, что он не надел фуражку с зубцами и ботинки с длинным острым носком! Он пришел показать министру великолепный ангажемент, и на этот раз на прекрасной бумаге, которая была подписана без него. Кабанту смотрит на лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и вздыхает.

— Тебе везет!.. А у меня вот уже больше года только одни надежды на медаль... Нума велел мне прислать бумаги, я и послал... А потом молчок — и насчет медали, и насчет бумаг, и насчет всего... Написал в морское ведомство — там обо мне ничего не знают... Написал министру — министр не ответил... А самая-то чертовина в том, что теперь я без бумаг, а у меня по поводу вождения начинается спор с капитанами судов, так они и слушать не хотят. Ну вот, раз такое дело, поставил я свою шляпку на причал и решил: поеду-ка я к Нуме.

Несчастный лоцман чуть не плачет. Вальмажур утешает его, успокаивает, обещая поговорить о нем с министром, обещает вполне уверенным тоном, бодро крутя усы, как человек, которому ни в чем нет отказа. Впрочем, подобная самонадеянность свойственна не ему одному. Все, добивающиеся здесь аудиенции, — старые священники с благостными лицами, в парадных накидках, подтянутые, важные преподаватели, хлыщеватые, подстриженные на русский манер художники, грузные скульпторы с пальцами, похожими на лопаточку для глины, — все здесь держатся победоносно. Все они личные друзья министра, все убеждены, что их дело в шляпе, и все, входя в приемную, говорят служителю:

— Он меня ждет.

Знай Руместан о том, что они пришли, то, конечно... Это обстоятельство придает приемной министерства народного просвещения особый вид — здесь не увидишь, как в приемных других министров, бледных от волнения лиц, дрожащих от страха рук и колен.

— А кто у него сейчас? — громко спрашивает Вальмажур, подходя к столику служителя.

— Директор Оперы.

— Кадайяк?.. Знаю, знаю... Он как раз по моему делу.

После неудачи тамбуринщика в Опере Кадайяк отказался выпускать его. Вальмажур намеревался обратиться в суд, но министр, опасавшийся адвокатов и бульварных листков, передал музыканту просьбу взять жалобу назад, гарантировав ему порядочную сумму в возмещение ущерба. Именно эта сумма сейчас, видимо, и обсуждается, и не без горячности, ибо трубный глас Нумы поминутно раздается из-за двойной двери кабинета, которую, наконец, кто-то отворяет рывком.

— Не я ей покровительствую, а вы.

С этими словами толстый Кадайяк выходит из кабинета, сердито шагает через приемную и сталкивается со служителем, который направляется между двумя рядами просителей к кабинету.

— Вам надо только назвать мою фамилию!

— Ему бы только знать, что я здесь!

— Скажите, что пришел Кабанту!

Служитель никого не слушает; зажав в руке несколько визитных карточек, он с важным видом заходит в кабинет. Дверь остается полуоткрытой; в широкую щель видна внутренность кабинета, отлично освещенного тремя большими окнами, выходящими в сад, и нижняя часть большой картины, изображающая подбитую горностаем мантию де Фонтана,^[36] написанного во весь рост.

Затем служитель снова появляется в дверях. На его мертвенно-сером лице написано нечто вроде удивления. Он вызывает:

— Господин Вальмажур!

Сам музыкант несколько не удивлен тем, что его принимают раньше других.

С сегодняшнего утра его портреты висят на всех парижских стенах. Он теперь персона, и министр уже не заставит его томиться ожиданием на вокзальных сквозняках. Самодовольно улыбаясь, он стоит посреди роскошно обставленного кабинета, где несколько секретарей, торопливо и растерянно ища что-то, переворачивают вверх дном ящики и картонные папки. Взбешенный Руместан, засунув руки в карманы, гроыхает и

бранится:

— Да найдите же, черт побери, эти бумаги!.. Затеряли их, что ли, бумаги этого лоцмана? Право же, господа, у вас тут такой беспорядок...

Он замечает Вальмажура. — Ах, это вы!.. — И тут же набрасывается на него, а за боковыми дверьми исчезают испуганные спины секретарей, уносящих целые груды папок.

— Слушайте! Долго еще вы будете донимать меня своей собачьей музыкой?.. Вам недостаточно одного провала? Сколько же вам их нужно?.. Теперь, говорят, вы красуетесь на стенах в маскарадном костюме... А это что за бред мне только что принесли? — Это ваша биография!.. Смесь пошлостей и вранья. Вы отлично знаете, что вы такой же князь, как я, что пергаменты, о которых столько разговора, существуют лишь в вашем воображении.

Грубым жестом человека, забывшегося в резком споре, он изо всех сил ухватил несчастного за борта пиджака и тряс его, не переставая говорить... Прежде всего у этого скетинга нет ни гроша. Это обманщики. Ему не заплатят, все, что он заработает, — это стыд и позор на его грязно размалеванном имени и на имени его покровителя. Газеты опять начнут издеваться: Руместан и Вальмажур, министерская свирель... При воспоминании об этих оскорблениях у Руместана тряслись полные щеки в порыве гнева, столь похожем на порывы тетушки Порталь, но еще более страшном в торжественной обстановке правительственного учреждения, где личности должны стушевываться перед званиями.

— Да убирайтесь вы, убирайтесь вон! — кричал он ему во весь голос. — Никому вы не нужны, всем осточертела ваша свиристелка!

Совершенно ошалевший Вальмажур не сопротивлялся. Он бормотал: «Ладно, ладно!..» — умоляюще глядя на Межана, лицо которого выражало искреннюю жалость, ибо только Межан не бежал от лика разгневанного хозяина, и на огромный портрет Фонтана, по — видимому, крайне возмущенного подобной распущенностью и все сильнее подчеркивавшего свои величественный министерский вид по мере того, как Руместан его утрачивал. Наконец мощные пальцы Нумы разжались, музыкант высвободился, рванулся к дверям, зажав в кулаке билеты на скетинг, и давай бог ноги.

— «Лоцман Кабанту»!.. — прочел Нума на карточке, протянутой ему невовмутимым служителем. — Еще один Вальмажур!.. Нет, хватит с меня!.. Довольно морочить мне голову!.. На сегодня хватит... Я прекращаю прием.

Он продолжал шагать взад и вперед по кабинету, и остатки гневной вспышки, несправедливо ивлившейся на одного Вальмажура, постепенно

рассеивались. А Кадайяк — этакий наглец! Явиться к нему с упреками по поводу малютки, сюда, в министерство, наговорить невесть чего в присутствии Межана, Рошмора!

— Да, я действительно слабохарактерен... Назначение этого человека в Оперу — огромная ошибка.

Правитель министерской канцелярии был с этим совершенно согласен, но он ни под каким видом не стал бы высказывать своего мнения, ибо Нума уже не был теперь прежним добродушным парнем, который сам подсмеивался над своими увлечениями, которого не выводили из себя ни насмешки, ни наставления. Превратившись благодаря шамберийской речи и другим ораторским подвигам в фактического главу правительства, он резко изменился: хмель величия, атмосфера царской власти, от которой кружатся даже самые крепкие головы, сделали его нервным, раздражительным, самодуром.

Открылась оклеенная обоями дверь, и появилась г-жа Руместан, готовая к выезду, изящно причесанная, в широком мантио, скрывававшем округлость ее талии. С обычной для нее в эти последние пять месяцев спокойной и ясной улыбкой она спросила:.

— Сегодня у тебя Совет министров?.. Добрый день, господин Межан!

— Ну да... Совет... Заседание Палаты... Чего только нет!

— А я было хотела просить тебя поехать вместе со мной к маме... Я у нее завтракаю... Органс была бы так рада!

— Что ж делать, это невозможно.

Он взглянул на часы.

— В двенадцать я должен быть в Версале.

— Тогда я подожду и завезу тебя на вокзал.

Он колебался секунду, только одну секунду.

— Хорошо. Я подпишу бумаги, и мы поедем.

Пока он писал, Розали шепотом сообщала Межану о самочувствии сестры. Приближение зимы плохо сказывалось на ней, врачи запретили ей выходить. Почему он не зайдет проведать ее? Ей нужна поддержка друзей. Межан грустно и безнадежно пожал плечами:

— Но я...

— Да нет же, нет!.. Насчет вас еще далеко не все решено. Это просто каприз, я думаю, это ненадолго.

Ей все представлялось в радужном свете, и она хотела, чтобы все кругом тоже были счастливы, ибо она ощущала такую полноту счастья, что ив неясного суеверного чувства не решалась в этом признаться даже самой себе. А Руместан всюду трубил о предстоящем счастливом событии — и

посторонним и близким — с какой-то комической гордостью.

— Мы назовем его «дитя министерства»! — говорил он и до слез смеялся собственной шутке.

Каждому, кто знал, какую жизнь он вел вне дома, в своей бесстыдно существовавшей на виду у всех второй семье, где давались приемы и всегда был открытый стол, этот заботливый и нежный супруг, со слезами на глазах говоривший о своем будущем отцовстве, представлялся человеком необъяснимым, поразительно невозмутимым в своей лживости, искренним в своих излияниях, и это сбивало с толку всех, кто не имел понятия о пагубных противоречиях, которые возникают у людей с южным темпераментом.

— Нет, знаешь, лучше я тебя завезу... — сказал он жене, садясь в карету.

— Но ведь тебя ждут?..

— Подумаешь!.. Пусть подождут... Зато мы подольше побудем вместе.

Он взял Розали под руку и прижался к ней, как мальчик.

— Видишь ли, мне только с тобой по-настоящему хорошо. Твоя мягкость успокаивает меня, твое хладнокровие придает мне сил... Этот Кадайяк довел меня до исступления... Человек без совести, без всяких моральных основ...

— Разве ты его не знал?

— Как он ведет театр! Позор!

— Да, пригласить девицу Башельри... Как ты допустил?.. У этой особы все поддельное — и молодость, и голос, и даже ресницы.

Нума почувствовал, что краснеет. Ведь теперь это он своими толстыми пальцами укреплял малюткины ресницы! Мамаша Башельри быстро его этому обучила.

— С кем связано это ничтожество?.. Недавно в «Месс а же» писалось о весьма влиятельных и таинственных покровителях...

— Не знаю... Наверно, с самим Кадайяком.

Он отвернулся, чтобы скрыть смущение, и вдруг в ужасе откинулся назад.

— Что там такое? — спросила Розали и тоже выглянула в окошко кареты.

На каждом перекрестке, на каждом свободном местечке любой стены или дощатого забора красовалась громадная кричаще-пестрая афиша скетинга, особенно заметная под дождливым сереньким небом, и на каждой такой афише повторялось гигантское изображение трубадура и сцен из живых картин, выделявшихся желтыми, зелеными, синими пятнами, а

поперек всего этого охрой был намалеван тамбурин. Длинный палисадник перед ратушей, мимо которого проезжала сейчас их карета, весь был заклеен этой грубой, яркой рекламой, от которой обалдевали даже парижские ротозеи.

— Мой палач! — произнес Руместан с комическим отчаянием.

Розали ласково пожурела его:

— Нет... не палач, а жертва... И если бы только единственная! Но ведь твоей восторженностью загорелся и кое-кто другой...

— Кто это?

— Ортанс.

И тут Розали поведала ему о том, в чем наконец вполне уверилась, несмотря на таинственное молчание девушки, — о ее любви к этому крестьянину, любви, которую она, Розали, считала сперва причудой, но которая теперь тревожила ее как ненормальность.

Министр вознегодовал:

— Да не может быть! Мужик, простофиля!..

— Она видит его таким, каким рисует в своем воображении, и прежде всего — в ореоле твоих легенд, твоих выдумок, которых она не сумела оценить по достоинству. Вот почему эта реклама, эта раздражающая тебя шутовская пестрота меня, наоборот, радует. Я надеюсь, что ее герой покажется ей настолько смешным, что она разлюбит его. Иначе я даже не представляю себе, к чему все это могло бы привести. Вообрази себе отчаяние отца... Вообрази, наконец, самого себя в качестве Вальмажурова шурина... Ах, Нума, Нума! Ты вводил в заблуждение людей, сам невольно поддавшись обману.

Он не защищался, он возмущался собой, «проклятым Югом», который никак не мог в себе побороть.

— Знаешь, тебе бы всегда сидеть вот так, прижавшись ко мне, — ты ведь моя родная советчица, моя священная защита. Только ты по-настоящему добра и снисходительна ко мне, только ты одна меня понимаешь и любишь.

Прижимая к губам ее руку в перчатке, он говорил так убежденно, что на глаза у него навертывались слезы, самые настоящие слезы. Согревшись, успокоившись после этого порыва, он почувствовал себя лучше. И когда они добрались до Королевской площади и он с бесконечно нежной заботливостью помог жене выйти из кареты, то теперь ему оставалось веселым, свободным от угрызений совести тоном бросить кучеру:

— На Лондонскую! Скорей!

Розали шла медленно; до нее донесся этот адрес, и она огорчилась. Не

то чтобы у нее возникло подозрение. Но ведь он только что сказал, что едет на вокзал Сен-Лазар. Почему он всегда делает не то, что говорит?

В комнате сестры ее ожидало новое волнение. Войдя туда, она сразу почувствовала, что с ее приходом прервался спор между Ортанс и Одибертой, на лице у которой были еще заметны следы крупного разговора, а на ее растрепанных, как у фурии, волосах еще дрожал черный бант. В присутствии Розали она сдерживалась: это видно было по ее злобно поджатым губам и сдвинутым бровям. Но так как Розали стала расспрашивать ее, как им живется, то ей пришлось отвечать, и она с лихорадочным возбуждением заговорила об «эскетинге», о предложенных им великолепных условиях, а затем, удивляясь спокойствию Розали, спросила почти дерзким тоном:

— А вы, сударыня, не пойдете послушать моего брата? Пойти стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть, какой он в костюме.

Ее по-крестьянски наивное описание этого нелепого костюма, от разрезов на берете до загнутых острых носков обуви, было для Ортанс настоящей пыткой — она не решалась поднять глаза на сестру. Розали извинилась: по состоянию здоровья она лишена возможности ходить в какие бы то ни было увеселительные места. А потом, в Париже немало таких заведений, куда не всякая женщина может пойти. Но крестьянка прервала ее:

— Извините... Вот я, например, пойду, а я женщина порядочная... Я никогда худыми делами не занималась. И насчет церковных обрядов все выполняю, что полагается.

Она говорила повышенным тоном; от прежней ее робости не осталось и следа, как будто в этом доме у нее уже были какие-то права. Но Розали была так добра, она была настолько выше этой бедной невежественной девушки, что не решалась оборвать ее, а главное, она помнила об ответственности, лежавшей на Нуме. Призвав на помощь всю чуткость своего доброго сердца, весь свой такт, она попыталась внушить ей правдивыми словами, которые лечат, хотя и слегка обжигают, что брат ее потерпел неудачу, что он не добьется успеха в неумолимом Париже, что им нет смысла упорствовать в унижительной борьбе, опускаться на дно артистической жизни — гораздо лучше вернуться на родину, выкупить свою ферму — средства на это им дадут — и забыть в труде, на лоне природы разочарование, постигшее их из — за этого злосчастного переезда в Париж.

Крестьянка дала ей договорить до конца, ни разу не прервав ее, — она только метала в Ортанс жалящие злобной иронией стрелы своего взгляда,

словно вызывая ее на ответ сестре. Наконец, убедившись, что девушка не хочет говорить, она холодно заявила, что они не уедут, что у брата ее появились в Париже разного рода обязательства... самые разнообразные обязательства... от которых он отказаться не может. С этими словами она бросила себе на руку тяжелую, влажную от сырости накидку, висевшую на спинке стула, и с лицемерной почтительностью присела перед Розали.

— Счастливо оставаться, сударыня... Во всяком случае, благодарим вас.

Ортанс пошла ее проводить.

В передней, понизив голос, чтобы не расслышала прислуга, Одиберта сказала:

— В воскресенье вечером, да?.. В половине одиннадцатого, без опоздания.

И властно, настойчиво прибавила:

— Вы должны это для него сделать, для вашего бедного друга... Чтобы влить в него мужество... Ну чем вы рискуете? Я за вами зайду, я вас провожу домой.

Видя, что Ортанс колеблется, она сказала уже почти громко, с угрозой в голосе:

— Да что в самом деле! Вы ведь его суженая, да или нет?

— Приду, приду... — в страхе пролепетала девушка.

Когда она вернулась, Розали, заметив ее рассеянность и грусть, спросила:

— О чем ты задумалась, родная? Все твой роман? Он, наверно, у тебя очень продвинулся! — весело сказала она, обнимая сестру за талию.

— О да, он очень продвинулся...

Помолчав немного, Ортанс проговорила печально и глухо:

— Только я что-то не вижу, какая будет развязка.

Она уже не любила его, а может быть, и вообще никогда не любила. В разлуке и в том «нежном ореоле», который Абенсеррагу придавало несчастье, он издали показался ей человеком, с которым ее связывает сама судьба. Посвятить свою жизнь тому, кто все утратил — и успех и покровительство сильных людей, — это казалось ей гордым и благородным вызовом. Но в каком беспощадном свете предстало ей все по возвращении, какой ужас охватил ее, когда она поняла свою ошибку!

Прежде всего в первое же посещение Одиберты ее покорили новые повадки этой девицы, ее беззастенчивость, фамильярность и тот взгляд сообщницы, который она бросала ей, шепча: «Он за мной зайдет... Тсс!.. Никому не говорите!» Все это показалось ей слишком поспешным,

слишком дерзким, особенно попытка ввести молодого человека в дом ее родителей. Но крестьянке во что бы то ни стало хотелось ускорить события. И при виде этого комедианта, который с нарочито вдохновенным видом откидывал назад свою шевелюру, заламывал то так, то этак провансальское сомбреро на своей характерной голове, который был все так же красив, но теперь старался что-то из себя изобразить, Ортанс поняла, в каком она была заблуждении.

Вместо того, чтобы проявить некоторую робость, постараться как-то заслужить ее благородный порыв к нему, он хранил победоносный и самодовольный вид покорителя сердец и, не тратя времени на разговоры, — да и о чем он стал бы с ней говорить? — начал вести себя с утонченной парижанкой, как с какой-нибудь девкой из Камбет, — обнял ее за талию жестом вояки-трубадура и попытался притянуть к себе. Она тотчас высвободилась и обрела в этом движении разрядку для натянутых нервов, он же выказал лишь глуповатую растерянность, — тогда вмешалась Одиберта и принялась на чем свет стоит бранить своего братца: что это у него за манеры? Уж не в Париже ли он их перенял, в *Сен-Жермейнском* предместье, у своих герцогинь?

— Подождал бы хоть, пока она станет твоей женой!

А затем начала уговаривать Ортанс:

— Он так вас любит!.. Он просто сохнет по вас, вот беда-то!

Когда Вальмажур пришел за сестрой, он счел нужным напустить на себя мрачный и роковой вид, словно на картинке с изображением сцены из оперы:

Я — всадник Гаджута, и ждет меня море.

Девушку могло бы это растрогать, но бедный парень был, по правде говоря, таким ничтожеством! Он способен был только отглаживать ворс на своей фетровой шляпе, рассказывать о своих успехах в благородном предместье или об актерской зависти. Однажды он битый час разглагольствовал о невежливости прекрасного Майоля, который не поздравил его после какого-то концерта, и все повторял:

— Вот он какой, ваш Майоль! Не очень-то он учтив, ваш Майоль.

Одиберта неизменно играла роль надзирательницы и проявляла суровость полиции нравов по отношению к этой довольно-таки холодной влюбленной парочке. Ах, если бы она могла заглянуть в душу Ортанс и увидеть, какой ужас, какое отвращение испытывает девушка при мысли о

своей роковой ошибке!

— Ну же, трусишка, ну же, трусишка!.. — говорила она ей, стараясь выдать из себя добродушный смешок, в то время как глаза ее пылали гневом. Она считала, что дело слишком затягивается, что девушка не решается бросить вызов родителям, которые, конечно, пришли бы в ужас от подобного союза. Как будто это имело значение для такого свободного и гордого существа, — была бы только в сердце настоящая любовь! Но как сказать «Я люблю его» и вооружиться, настроить себя на борьбу, как бороться, когда на самом деле не любишь?

Однако она обещала, и каждый день ее донимали новыми требованиями. Так обстояло и с премьерой «Скетинга», куда крестьянка силой готова была затащить ее, рассчитывая, что успех, рукоплескания помогут ей сразу добиться всего. После длительного сопротивления бедняжка согласилась выйти вечером потихоньку от матери, прибегнув для этого ко лжи, к унижительному заговору с прислугой. Она уступила из страха, по слабости характера, а, может быть, и в надежде, что там она вновь обретет те первые впечатления, тот исчезнувший мираж, что там снова вспыхнет безнадежно угасшее пламя.

XV. СКЕТИНГ

Где это?.. Куда она едет?.. Карета катилась долго-долго. Одиберта, сидя рядом с ней, держала ее за руки, успокаивала, говорила с каким-то лихорадочным оживлением... Органс ни на что не смотрела, ничего не слушала. В словах, произносимых визгливым голосом, сливавшимся со стуком колес, она не улавливала никакого смысла; улицы, бульвары, фасады домов являлись перед ней не в знакомом своем виде, а обесцвеченными, словно она смотрела на них, принимая участие в чьей-то траурной или свадебной процессии, — настолько захвачена была она своими внутренними переживаниями.

Наконец толчок, и они остановились у широкого тротуара, залитого белым светом, в котором особенно отчетливо вырисовывалось мелькание черных теней. Окошечко билетной кассы у входа в широкий коридор, беспрерывно хлопающая дверь, обитая красным бархатом, и непосредственно за ней зал, огромный зал, напомнивший ей своей обширной средней частью, круговыми проходами и оштукатуренными стенами англиканскую церковь, где она однажды была на свадьбе. Только здесь стены были увешаны афишами, размалеванными объявлениями с изображением пробковых шлемов и сорочек любого размера за 4 франка 50 сантимов — рекламой магазинов готового платья вперемежку с портретами тамбуринщика. Воюющие голоса продавцов программ пытаются рассказать его биографию, вырываясь из оглушительного шума, где над говором движущейся туда — сюда толпы, над гуденьем волчков на сукне английских биллиардов, над голосами надрывающихся официантов, над отдельными музыкальными аккордами, прерываемыми доносящейся из глубины зала патриотической ружейной стрельбой, — словом, над всем господствует несмолкаемый шум роликовых коньков, мчавшихся взад и вперед по окруженной балюстрадой широкой асфальтированной арене, где волнами ходят цилиндры и дамские шляпы фасона «директория».

Испуганная, растерянная, то бледнея, то краснея под вуалью, Органс с трудом поспевала за провансалкой в лабиринте окаймлявших арену круглых столиков; облокотившись на них, положив ногу на ногу, сидели женщины и со скучающим видом пили и курили — их было по две за каждым столиком. У стен, на определенном расстоянии одна от другой, помещались уставленные закусками и напитками стойки, а за ними стояли девицы с густо подведенными глазами, с кроваво-красными губами, со

стальным блеском шпилек в черной или рыжей гриве, со взбитым чубом, закрывавшим лоб. Белые и черные пятна грубой косметики, густо намалеванная улыбка были у всех без исключения девиц, — такова была ливрея у этих свинцово-белесоватых ночных призраков.

Какой-то зловещий вид имели и мужчины, наглые, грубые; натыкаясь друг на друга, они медленно прохаживались между столиками, дымили толстыми сигарами и цинично торговались, подходя ближе, чтобы лучше рассмотреть выставленный товар. Впечатление рынка еще усиливалось от космополитичности всей этой публики, от ее разноязычного говора, оттого, что это были словно постояльцы гостиницы, только накануне прибывшие и явившиеся сюда в измятом дорожном платье: тут были шотландские колпаки, полосатые костюмы, еще пропитанные туманами Ла-Манша, московские меха, старавшиеся поскорее оттаять, длинные черные бороды, надменные маски с берегов Шпрее, за которыми скрывалась похотливая гримаса фавна или неистовая жадность татарина, были и оттоманские фески над сюртуками без воротников, были негры во фраках, лоснившиеся, как ворс их цилиндров, маленькие японцы с морщинистыми лицами, безукоризненно одетые под европейцев, похожие на модные картинки, попавшие в огонь.

— Господи батюшка! Ну и урод!.. — говорила Одиберта, завидев важного китайца, прятавшего длинную косу под синим халатом.

А то вдруг останавливалась и локтем толкала в бок спутницу.

— Гляньте, гляньте: невеста!

Она показывала на женщину в белом платье с глубоким вырезом на груди и пышным шлейфом, с веточкой флердоранжа, которая придерживала на волосах короткую кружевную фату; женщина полулежала на двух стульях, — второй был подставлен под ее ноги в белых атласных туфлях с серебряными каблучками. Потом, придя в благородное негодование от донесшихся до нее слов, прояснявших смысл этого своеобразного флердоранжа, провансалка таинственным шепотом проговорила:

— Вот падаль! Как вам это понравится!..

Чтобы перед глазами Ортанс не маячил дурной пример она поспешила увлечь ее в огороженное пространство посреди вала, где, словно амвон в церкви, высилась эстрада, по которой скользил электрический свет, падавший из двух иллюминаторов со стеклами в мелких пупырышках. Эти два прожектора, установленные там, высоко, под фризом купола, напоминали лучезарные очи предвечного отца на благочестивых картинках.

Здесь можно было отдохнуть от шумного скандального зрелища, какое являли собой галереи. В отгороженных ложах сидели семьи мелких

буржуа, по всей вероятности, торговцев этого квартала. Женщин было немного. Можно было подумать, что сидишь в обыкновенном зрительном вале, если бы не все тот же невообразимый шум, в котором по-прежнему, словно некое наваждение, преобладал шум катавшихся по асфальту роликовых коньков, заглушавший даже духовые инструменты и барабаны оркестра, так что для зрителей существовала лишь мимика живых картин.

Как раз в этот момент занавес опускался. Кончилась патриотическая сцена с огромным Бельфорским львом^[37] из папье-маше, окруженным на развалинах укреплений солдатами в воинственных позах, с фуражками на ружейных дулах, — сцена шла под звуки Марсельезы, но их не было слышно. Вся эта кутерьма так возбуждала провансалку, что глаза у нее вылезали из орбит, когда она усаживала Ортанс на место.

— Ну, здесь нам будет хорошо, правда? Да поднимите же вуаль!.. Не дрожите... Не надо дрожать... Со мной вам нечего бояться.

Девушка ничего не отвечала; она не могла прийти в себя от медленного оскорбительного блуждания между столиками, где она смешивалась с этими страшными свинцово-бледными масками. И вот сейчас прямо перед собой, на эстраде, она видела те же маски с кроваво — красными губами, но теперь это были гримасы двух клоунов в трико, которые выламывались друг перед другом, держа в руках колокольчики и вызванивая мелодию из «Марты»^[38] в виде аккомпанемента своим прыжкам: это была настоящая музыка гномов — бесформенная, косноязычная, вполне подходящая для вавилонского столпотворения, какое представлял собой скетинг. Затем занавес снова упал, крестьянка раз десять вставала и садилась, поправляла свой головной убор и, наконец, крикнула, заглянув в программу:

— Гора Корду!.. Цикады!.. Фарандола!.. Сейчас начинается, вот-вот!..

Занавес поднялся еще раз, и перед зрителями на заднем плане открылся лиловый холм, где минаретами, террасами возносились здания странной архитектуры — то ли замки, то ли мечети — со стрельчатыми арками и бойницами, где под неподвижными башнями на фоне ярко-индигового неба красовались алоэ и пальма из цинка. Творения такой вот шутовской архитектуры можно видеть в предместьях Парижа, застроенных вилами разбогатевших торговцев. Несмотря на все это, несмотря на кричащую окраску холмов, поросших тимьяном, несмотря на экзотические растения, фигурировавшие здесь из-за слова «Корду»,^[39] Ортанс испытывала волнение и вместе с тем чувство неловкости. Этот пейзаж будил в ее душе светлые воспоминания. Мавританский дворец на горе из

розового порфира рядом с восстановленным средневековым замком казался ей воплощением ее мечты, но только уродливым, карикатурным, как видения сна, превращающегося в мучительный кошмар. Заиграл оркестр. Откуда-то сверху упал луч электрического света, и на сцену, размахивая длинными перепончатыми крыльями, стуча и скрипя трещотками, устремились долговязые стрекозы — девицы, казавшиеся совсем раздетыми в плотно обтягивавших фигуру изумрудно-зеленых трико.

— И это цикады!.. Ну и ну!.. — с возмущением сказала провансалка.

Но они уже выстроились полукругом, аквамаринным полумесяцем, продолжая размахивать трещотками, которые теперь трещали довольно громко, ибо грохот скетинга утих и говор толпы в круговых проходах на миг умолк. Прижатые друг к другу, склоненные головы, со всевозможными прическами, в самых разнообразных головных уборах, смотрели теперь на сцену.

Грусть, сжимавшая сердце Органс, еще усилилась, когда она услышала сперва отдаленный, затем все приближавшийся глухой рокот тамбурина.

Ей хотелось убежать, хотелось не видеть того, что должно было сейчас появиться на сцене. Вот стала рассыпать негромкие звуки флейта, и, поднимая мерным плясовым шагом пыль с ковра цвета земли, уже развертывалась фарандола в пестроте причудливых одежд, ярких коротких юбок, красных с золотым узором чулок, обшитых блестками безрукавок, шапочек с цехинами, головных уборов из цветного шелка, как будто напоминавших по форме итальянские, бретонские, нормандские национальные уборы и вместе с тем свидетельствовавших о полном, чисто парижском пренебрежении к подлинному местному колориту. А сзади мерным шагом выступал, подкидывая коленом оклеенный золотой бумагой тамбурин, тот самый трубадур, который изображен был на афишах в обтягивавшем фигуру двухцветном костюме; одна штанина была у него голубая, а другая — желтая, один башмак — желтый, а другой — голубой; куртка на нем была атласная, с буфами на рукавах, берет — бархатный с разрезами, затенявший лицо, по — прежнему смуглое, несмотря на грим; хорошо видны были только его усы, густо намазанные венгерской помадой.

— О!.. — восторженно выдохнула Одиберта.

Фарандола разместилась по обе стороны эстрады перед длиннокрылыми цикадами. Трубадур, один на середине сцены, раскланялся с самоуверенным и победоносным видом под лучистым взором предвечного отца, осыпавшим его куртку искристым инеем. Заструились высокие нежные звуки сельской утренней песни, едва перелетавшие за рампу, на миг взмывавшие под пестрые хоругви, нарисованные на потолке,

чтобы разбиться о столбы нефа и снова упасть вниз, в равнодушную тишину зрительного зала. Публика смотрела, ничего не понимая. Вальмажур принялся наигрывать другую мелодию — ее встретили смешками, ропотом, отдельными восклицаниями. Одиберта схватила Органс за руку.

— Вот она, шатия!.. Слушайте!

Но шатия проявила себя лишь случайными: «Тсс!.. Громче!..» — да шуточками, вроде той, которую хриплым голосом отпустила какая-то девка, отозвавшаяся таким образом на сложную мимику Вальмажура:

— Скоро ты кончишь, ученый кролик?

Скетинг снова загрохотал роликами, шарами английского биллиарда, топотом и говором, заглушавшими и флейту и тамбурин, на которых музыкант упорно играл до тех пор, пока не кончилась его «утренняя песня». Затем он раскланялся и подошел к рампе, неизменно освещаемый таинственным лучом, так и не сползавшим с него. Видно было, как шевелятся его губы, как он пытается произнести какие-то слова:

— Меня осенило... одна дырочка... три дырочки... Птще божьей...

Его заключительный безнадежный жест, хорошо понятый оркестром, явился сигналом для балета: нормандские гурии сплетались со стрекозами в пластических позах, в плавных сладострастных движениях, залитых светом бенгальских огней, радужно озарявших все, вплоть до остроносых башмаков трубадура, который продолжал беззвучно ударять в тамбурин перед замком своих предков, сиявшим во славе театрального апофеоза.

Вот что представлял собой роман Органс! Вот что из него сделал Париж.

Когда старые стенные часы, висевшие в ее комнате, звонко пробили час пополуночи, она встала с диванчика, на который упала, вконец намученная, по возвращении домой, и оглядела все свое мягкое девичье гнездышко, согретое догоравшим в камине огнем и дремотным светом ночника.

— Что это я тут делаю? Почему я не в постели?

Она ничего не помнила, все тело у нее было словно избито, в голове шумело, в висках стучало. Она сделала два шага по комнате, обнаружила, что на ней шляпа, пальто, и тогда в ее памяти все разом воскресло.

Уход из зрительного зала после того, как занавес опустился, возвращение через тот же гнусный рынок, оживившийся к концу представления, пьяные, дравшиеся у стойки, циничные голоса, нашептывавшие ей на ухо какую-то цифру, а затем у выхода сцена с Одибертой, требовавшей, чтобы она пошла поздравить ее брата, вспышка

крестьянки в карете, брань, которой осыпала ее эта особа, вскоре, впрочем, начавшая униженно молить о прощении, целовать ей руки... Все это перемешалось в ее памяти, все это бешено плясало, прыгало по-клоунски, гудело какофонией колокольного звона, сливавшегося с неистовым звоном цимбал и скрежетом трещоток, взметалось многоцветным пламенем фейерверка вокруг смехотворного трубадура, которому она отдала свое сердце. При этой мысли ее затошнило от физического отвращения.

«Нет, нет, никогда!.. Лучше умереть».

И вдруг в зеркале, стоявшем напротив, она увидела призрак со впалыми щеками, узкими, к тому же еще зябко съежившимися плечами. Он немного походил на нее, но еще больше на княгиню Ангальтскую, которую она с жалостливым любопытством наблюдала в Арвильяре, отмечая зловещие симптомы неизлечимой болезни, и которая недавно, поздней осенью, умерла.

«Вот оно что! Вот оно что!»

Она еще ближе подошла к зеркалу, нагнулась, припомнила необъяснимую доброту, с какой все относились к ней там, тревогу матери, припомнила, как растрогался старый Бушро, встретив ее в момент отъезда, и поняла все... Вот она, развязка... Сама пришла к ней... Незачем было так долго искать ее.

XVI. ПРОДУКТЫ ЮГА

«Барышня тяжело больна... Барышня никого не хочет видеть».

В десятый раз на протяжении десяти дней получала Одиберта все тот же ответ. Она как вкопанная стояла перед тяжелой сводчатой дверью, — такие двери можно теперь увидеть только под аркадами Королевской площади, — казалось, эта дверь раз навсегда закрыла для всех старинный дом Ле Кенуа.

«Что ж, ладно, — подумала она. — Больше я сюда не приду... Теперь пусть сами меня зовут».

И она ушла, приятно возбужденная оживлением, царившим в этом торговом квартале, где ломовые телеги, груженные тюками, бочками, полосами железа, гнувшимися и тарахтевшими, поминутно встречались с тележками, катившимися в подворотни, в глубь дворов, где сколачивали упаковочные ящики. Но крестьянка не замечала этого адского шума и грохота, этих судорог трудового дня, от которых дрожали стены домов до самых верхних этажей: в ее озлобленном уме еще громче кричали мстительные замыслы, еще резче содрогалась ее натолкнувшаяся на препятствия воля. И она шла, не ощущая усталости, чтобы не тратиться на омнибус, она проделала пешком весь длинный путь от Маре до Аббе Монмартр.

Совсем недавно, сменив необычайно быстро разного рода жилища — гостиницы, меблированные комнаты, откуда их неизменно выселяли из-за тамбурина, они наконец осели в новом доме, который задешево сдавали всем, кто готов был сушить своими боками еще сырую штукатурку стен, всякому сомнительному лицу: проституткам, артистической богеме, маклерам, семьям авантюристов, какие часто встречаются в морских портах, где они бездельничают на балконах гостиниц от прихода до отплытия кораблей, глядя в морскую даль, от которой всегда чего-нибудь да ждут. Здесь, в этом доме, жильцы поджидали удачи. Провансальцам квартирная плата была слишком дорога, особенно теперь, когда скетинг обанкротился: приходилось с помощью гербовой бумаги взыскивать гонорар, причитавшийся Вальмажуру за его выступления. Но в этом только что оштукатуренном бараке, где занимавшиеся не слишком почтенными делами жильцы круглые сутки держали открытой входную дверь, где вечно затевались шумные ссоры и перебранки, тамбурина никого не беспокоил. Зато в постоянном беспокойстве пребывал сам тамбурищик: рекламы,

афиши, двухцветное трико и великолепные усы сбили с панталыку многих дам скетинга, менее жеманных, чем та недотрога из господ. Он знался с актерами из Батиньоля, с кафешантанными певицами — честной компанией, которая собиралась в притончике на бульваре Рошешуар, именовавшемся «Половичок».

Этот «Половичок», где публика бездельничала и распутничала, перекидывалась в картишки, потягивала пиво, пережевывала сплетни маленьких театриков и дешевых публичных домов, был для Одиберты врагом, кошмаром, причиной диких вспышек, от которых мужчины пригибались, словно под тропической грозой, дружно проклиная своего деспота в зеленой юбке, о котором они говорили тоном затаенной ненависти, как говорят школьники об учителе или слуги о хозяине: «Что она сказала?.. Сколько она тебе выдала?..» — я стараюсь как-нибудь незаметно улизнуть в ее отсутствие. Одиберта это знала, следила за ними, спешила справиться с делами в городе, торопилась домой. В этот день она особенно спешила, так как ушла с утра. Поднимаясь по лестнице, она остановилась и прислушалась: тамбурин и флейта молчали.

— Ах, бесстыжий!.. Опять в своем «Половичке»!

Но не успела она войти, как отец выбежал ей навстречу и не дал взорваться.

— Не ори!.. К тебе тут пришли... Господин из *министерства*.

Господин дожидался ее в гостиной. Как бывает в домах, на скорую руку построенных из всякой дряни, где все этажи скопированы друг с друга, у них была гостиная в виде вафли со сбитыми сливками или пирожного с заварным кремом, которой крестьянка тем не менее очень гордилась. А Межан сочувственно смотрел на провансальскую обстановку, которой было явно не по себе в этой приемной зубного врача, слишком ярко освещенной двумя большими окнами без занавесок, на глиняные сосуды, на квашню, на большую корзину с ушками, потрепанные от путешествия и переездов с квартиры на квартиру, и грустно осыпавшие свою деревенскую пыль на позолоту и клеевую краску. Гордый точеный профиль Одиберты под бантом воскресного головного убора, тоже казавшийся совсем не к месту здесь, на пятом этаже парижского доходного дома, окончательно разжалобил Межана, озабоченного судьбой этих жертв Руместана, и он очень мягко начал объяснять цель своего визита... Министр, желая, чтобы Вальмажуры избежали новых невзгод, за которые он до некоторой степени несет ответственность, посылает им пять тысяч франков, чтобы возместить им потери, связанные с переездом в Париж, и дать возможность вернуться на родину... Межан вынул из бумажника

кредитные билеты и положил их на старинное корыто орехового дерева.

— Значит, нам надо будет уехать? — раздумчиво спросила крестьянка, не двигаясь с места.

— Господин министр желал бы, чтобы это произошло как можно скорее... Ему хочется убедиться в том, что вы у себя дома и что все у вас по-прежнему благополучно.

Вальмажур-старший бросил робкий взгляд на кредитные билеты.

— По-моему, это благоразумно... А как ты?..

Одиберта ничего не говорила; она ждала, что еще предложит Межан, а тот явно подыскивал слова и вертел в руках бумажник.

— К этим пяти тысячам франков мы добавим еще пять тысяч — вот они, — если вы согласитесь возвратить... возвратить...

Он не мог справиться со своим волнением.

Жестокое поручение возложила на него Розали! Ах, иногда приходится дорого расплачиваться за то, что слынешь спокойным и сильным человеком: от тебя и требуют больше.

...карточку мадемуазель Ле Кенуа, — скороговоркой добавил он.

— Наконец-то! Ну вот и дошли до сути дела... Карточку... Я так и знала, черт возьми!

При каждом слове она подпрыгивала, как коза.

— Стало быть, вы думаете, что можно было вытащить нас в Париж с другого конца страны, наобещать нам с три короба, хотя ничего сами-то мы не просили, а потом выгнать, как собак, которые всюду наследили?.. Забирайте деньги, сударь. Никуда мы не уедем, будьте уверены, и карточку тоже им не вернем... Это, виаете ли, документ... Она у меня в сумочке... Я с ней не расстанусь и буду показывать ее в Париже всем и каждому, и надпись, которая на ней, — пусть все знают, что эти самые Руместаны, вся ихняя семья — обманщики... лжецы...

Она брызгала слюной от злобы.

— Мадемуазель Ле Кенуа тяжело больна, — очень серьезно сказал Межа и.

— Ладно, знаем!..

— Она уезжает из Парижа и, по всей вероятности, уже не вернется обратно... живая.

Одиберта ничего на это не ответила, но беззвучная насмешка в ее взгляде, беспощадный отказ, написанный на ее лбу, как у римской статуи, низком и упрямом, под маленькой остроконечной шапочкой, достаточно ясно говорили, что она непоколебимо стоит на своем. Межана подмывало наброситься на нее, сорвать у нее с пояса ситцевую сумочку и убежать. Все

же он сдержался, снова принялся просить и уговаривать, проговорил, наконец, тоже дрожа от бешенства: «Вы в этом раскаетесь», — и, к великому сожалению старика Вальмажура, вышел.

— Подумай, девочка!.. Накличешь ты на нас новую беду.

— Вот еще! Не они нас, а мы их допечем... Пойду посоветуюсь с Гийошем.

ГИЙОШ.^[40] ХОДАТАЙ ПО ДЕЛАМ

За пожелтевшей визитной карточкой, прикрепленной к двери напротив них, скрывался один из тех подозрительных маклеров, все деловое оборудование которых состоит из огромного кожаного портфеля, где папки, с сомнительного свойства делами, писчая бумага для доносов и шантажистских писем соседствуют с корками от пирогов, фальшивой бородой, а порой и с молотком, которым можно хватить по голове молочницу, как это выяснилось на недавнем процессе. Этот тип — а такие типы в Париже встречаются часто — не заслуживал бы и одной строчки, если бы означенный Гийош, обладатель фамилии, стоящей целого списка примет — так густо было испещрено мелкими симметричными морщинками его лицо, — не добавил к своей профессии новую и характерную подробность. Гийош зарабатывал, выполняя за школьников назначенные им в наказание штрафные письменные работы. По его поручению нищенствующий писец ходил по окончании школьных занятий предлагать свои услуги наказанным и до поздней ночи переписывая песни «Энеиды» или парадигмы XV о во всех трех залогах.^[41] Когда его не было под рукой, холостяк Гийош мог и сам впрягаться в эту оригинальную работу, из которой он тоже извлекал выгоду.

Посвященный Одибертой в суть дела, он нашел, что все обстоит превосходно. Можно будет притянуть к суду министра, можно пропечатать кое-что в газетах. Фотография — это уже золотая жила. Только на все это нужно время, нужно ходить туда-сюда, и он требовал вознаграждения вперед, в звонкой монете, ибо наследство Пюифурка представлялось ему миражем. Требование это смущало жадную крестьянку, тем более, что Вальмажур, которого наперебой приглашали в аристократические салоны в течение их первой парижской зимы, теперь и носа не показывал в Сен-Жерменское предместье...

«Что ж!.. Буду работать... Помогать домашним хозяйкам, вот!»

Арльская шапочка энергично шныряла по новому дому, поднималась и спускалась по лестнице, разносила по всем этажам историю с министром, захлебывалась, визжала, а затем вдруг таинственно понижала голос: «А к

тому же еще и портрет...» И когда она показывала карточку, глаза у нее бегали и косили, как у женщин, продающих фотографии в торговых рядах старым распутникам, требующим «дамочек в трико».

— Одно слово — красotka!.. Прочтите, прочтите, что там вниву написано...

Такие сцены происходили в сомнительных семейках, населявших этот дом, у потаскушек из скетинга или «Половичка», которых она важно именовала «мадам Мальвина», «мадам Элоиза», ибо находилась под сильным впечатлением от их бархатных платьев, от их сорочек с кружевами, прошивками и лентами, вообще от их профессионального инвентаря, и не очень интересовалась, в чем же именно состоит эта профессия. Портрет милой девушки, такой порядочной, благовоспитанной, переходил из рук в руки любопытных, критически настроенных девиц! Изображение Ортанс они обсуждали подробнейшим образом и со смехом читали ее наивное признание; затем провансалка забирала свое сокровище и, спрятав в сумочку с деньгами, затягивала на ней шнурки злобным жестом душительницы:

— Теперь они у нас попляшут!

И она ходила по судам: и по поводу скетинга, и по поводу Кадайяка, и по поводу Руместана. А так как этого было, видимо, недостаточно для ее воинственного нрава, то она затевала распри с консьержками — и все из-за тамбурина. На сей раз вопрос разрешился тем, что Вальмажура сослали в один из винных погребов, где фанфары охотничьих рожков чередовались с уроками ножной борьбы и бокса. Отныне в этом подвале при свете газового рожка, за который взимали почасовую плату, тамбуринщик, бледный, одинокий, словно арестант, проводил время, посвященное упражнениям, созерцая висевшие на стене веревочные сандалии, кожаные перчатки и медные рога, и из погреба на тротуар вылетали звуки вариаций на флейте, пронзительные и жалобные, как пенье сверчка за печкой у булочника.

Однажды утром Одиберту вызвали к полицейскому комиссару их квартала. Она устремилась туда без промедления, убежденная, что речь будет идти о кузене Пюифурка, вошла с улыбкой, высоко держа голову в арльской шапке, а через пятнадцать минут вышла перебудораженная чисто крестьянским страхом перед жандармами, страхом, который заставил ее сейчас же вернуть портрет Ортанс и дать расписку в получении десяти тысяч франков и в том, что она отказывается от каких — либо дальнейших претензий. Уперлась она только в одном: она ни за что не хотела уезжать из Парижа, она упрямо верила в гениальность брата, и перед глазами у нее все еще мелькала блестящая вереница карет, следовавшая в тот зимний вечер

под ярко освещенными окнами министерства.

Вернувшись домой, Одиберта заявила мужчинам, еще сильнее напуганным, чем она, что надо прекратить всякие разговоры о карточке, но ни слова не сказала о том, что получила деньги. Гийош подозревал, что деньги у нее есть, и применил все средства, чтобы выманить свою долю, но получил лишь малую толику и был теперь крайне враждебно настроен по отношению к Вальмажурам.

— Ну-с, — сказал он как-то утром Одиберте, которая чистила на площадке лестницы самый парадный костюм еще почивавшего музыканта, — можете быть довольны... Наконец-то он помер.

— Кто?

— Да Пюифурка, ваш родственник!.. Об этом в газете написано...

Она громко вскрикнула и ворвалась в квартиру, зовя своих и чуть не плача:

— Отец!.. Брат!.. Скорее!.. Наследство!

Взволнованные, задыхающиеся, окружили они сатанински коварного Гийоша, а тот развернул свежий номер «Офисьель» и медленно прочел им нижеследующее:

— «1 октября 1876 года Мостаганемский суд по представлению Палаты государственных имуществ постановил обнародовать и объявить о розыске наследников нижепоименованных лиц... Попелино, Луи — чернорабочий»... Это не то... «Пюифурка — Дозите...»

— Это он... — сказала Одиберта.

Старик Вальмажур из приличия отер глаза.

— Ай-ай-ай! Бедняга Дозите!..

— «...Пюифурка, скончавшийся в Мостаганеме 14 января 1874 года, родом из Вальмажура (община Апса)...»

— Сколько? — с нетерпением в голосе перебила его Одиберта.

— Три франка тридцать пять сантимов!.. — выкрикнул Гийош на манер газетчика и, бросив им газету, чтобы они могли убедиться в постигшем их разочаровании, убежал с громким хохотом и заразил им все этажи до самой улицы, развеселил всю большую деревню, какую представляет собой Монмартр, где всем была хорошо известна легенда Вальмажуров.

Три франка тридцать пять сантимов — вот оно, наследство Пюифурка! Одиберта старалась смеяться громче других. Но ненасытное желание отомстить Руместанам, виновникам, по ее мнению, всех их несчастий, только усилилось, и она стала искать любого выхода, любого средства, любого оружия, какое попадется под руку.

Странный вид был на фоне этого бедствия у папаши Вальмажура. Пока дочка изматывала себя работой и бессильной яростью, пока пленник-музыкант изнывал в своем подвале, он, румяный, беззаботный, позабыв даже профессиональную зависть к сыну, по-видимому, устроил себе где-то на стороне мирную и приятную жизнь, в которой его близкие никакого участия не принимали. Он исчезал, едва успев проглотить за завтраком последний кусок. Рано утром, когда Одиберта чистила щеткой его одежду, из карманов у него выпадала иногда сушеная винная ягода, карамелька, молоки голавля; при этом старик довольно путано объяснял, откуда все это у него взялось.

Встретил, мол, на улице землячку, женщину оттуда, она обещала к ним зайти.

Одиберта качала головой.

— Ладно, ладно! Надо бы за тобой последить...

А дело было в том, что, блуждая по Парижу, он обнаружил в квартале Сен-Дени большой продуктовый магазин и зашел туда, поддавшись на приманку вывески и соблазнившись экзотической витриной с разноцветными плодами в серебряной и гофрированной бумаге, которые яркими пятнами пламенели в тумане людной улицы. Это предприятие, где он стал сотрапезником и лучшим другом, хорошо известное всем южанам, превратившимся в парижан, именовалось:

ПРОДУКТЫ ЮГА

Более правдивой вывески еще не видел свет. Там были сплошные продукты Юга, начиная — с хозяев — г-на и г-жи Мефр, уроженцев плодородного Юга, с таким же крючковатым носом, как у Руместана, с пламенным взором, с акцентом, с выражениями, с восторженностью истинных провансальцев — и кончая их приказчиками — фамильярными, «тыкающими» хозяев и способными без всякого стеснения крикнуть, картавя, глядя в сторону прилавка: «Эй, Мефр!.. Куда ты засунул колбаски?»; кончая маленькими Мефрами, плаксивыми, грязными, которые, поминутно слыша, что их выпотрошат, оскальпируют, сварят в кипятке, тем не менее продолжают залезать пальцами во все раскупоренные бочонки; кончая бурно жестикулирующими покупателями, способными несколько часов кряду болтать по поводу покупки сухого пирожного за два су или же рассаживающимися на стульях в кружок для обсуждения преимуществ колбасы с чесноком и колбасы с перцем, громогласно обменивающимися всевозможными «Ну-ну, ладно-ладно, это уж на худой конец, совсем даже напротив» — в духе тетушки Порталь. Во время этого разговора какой-нибудь «братец», друг дома, в черном, уже

перекрашенном халате, торгуется из-за соленой рыбы, а неисчислимое количество мух, привлеченных засахаренными фруктами, конфетами, печеньем, почти таким же, как на восточных базарах, жужжит даже в середине зимы, ибо они и не думали умирать в такой жаре и духоте. И если забредший сюда парижанин начинает возмущаться медлительностью обслуживания покупателей, рассеянностью и безразличием лавочников, которые, разговаривая с несколькими собеседниками одновременно, небрежно взвешивают и кое-как упаковывают товар, — вы бы послушали, как его осаживают с самым что ни на есть южным акцентом.

— Но-но! Если вам недосуг, пожалуйста, — дверь открыта, и тут же, как вы знаете, конка проходит.

Старика Вальмажура земляки приняли с распростертыми объятиями. Г-н и г-жа Мефр припомнили, что видели его в свое время на Бокерской ярмарке и на соревновании тамбуринщиков. Бокерская ярмарка, ныне пришедшая в упадок, ярмарка, от которой осталось одно название, для стариков южан все еще служит связующим звеном, это для них своего рода масонское братство. В наших южных провинциях то была ежегодная феерия, развлечение для неудачников, к ней готовились задолго, а потом ее длительное время обсуждали. Ее обещали в награду жене, детям, а если их почему-либо нельзя было повезти на ярмарку, им непременно привозили оттуда накидку, отделанную испанскими кружевами, или игрушку, которую доставали со дна сундука.

Под предлогом торговых операций ярмарка в Бокере сулила, кроме того, две недели, а то и целый месяц свободной, роскошной, непредвиденно яркой жизни, словно в цыганском таборе. Ночлег находили случайный — у местных жителей в лавках, на стойках, а то и просто на дворе, под натянутым холстом крытых повозок, под теплыми лучами июльских звезд.

Как приятно делать дела, если это не сопровождается лавочной скукой, если переговоры можно вести за обедом или на крыльце, сняв пиджаки! О вереницы ярмарочных балаганов вдоль Луговины на берегу Роны, которая и сама-то была текучей ярмарочной площадью, покачивавшей на своем лоне всевозможные суда, «лапо» с латинским парусом,^[42] приплывшие из Арля, Марселя, Барселоны, Балеарских островов с грузом вин, анчоусов, пробки, апельсинов, украшенные пестрыми флагами и плакатами, которые хлопали на вольном ветру и отражались в быстрых водах реки! А возгласы, крики, пестрая толпа испанцев, сардов, греков в длинных рубашках и вышитых туфлях, армян в меховых шапках, турок в расшитых золотом безрукавках и широких серых холщовых шароварах, с веерами в руках, толпа, суetyающаяся в ресторанах под открытым небом, у ларьков с детскими

игрушками, тростями, зонтами, ювелирными изделиями, фуражками, курительными свечами! А то, что именовалось «прекрасным воскресеньем», то есть первое воскресенье после открытия ярмарки, попойки на набережных, на судах, в прославленных трактирах — в «Виноградской беседке», «Большом саду», «Кафе Тибо»! Кто видел все это хоть раз, тот не мог забыть о Боке рекой ярмарке до конца своих дней.

У Мефров народ чувствовал себя совершенно свободно, почти как на Бокерской ярмарке. Да лавка их и впрямь напоминала своим живописным беспорядком импровизированную ярмарочную выставку южных продуктов. Здесь громоздились доверху наполненные, сползавшие набок мешки с золотистой мукой, турецким горохом, крупным и твердым, как охотничья дробь, сладкими каштанами, пыльными, морщинистыми, словно личики старушек, собирающих в лесу хворост, глиняные сосуды с маслинами, зелеными, черными, консервированными, сушеными, бидоны с золотистым растительным маслом, у которого фруктовый привкус, бочонки с апсскм вареньем из дынной и апельсинной корки, из инжира, из айвы, с залитыми патокой отбросами фруктового рынка. Повыше, среди солений и консервов в бесчисленных стеклянных и жестяных баночках, можно было найти лакомства, являющиеся специальностью каждого города, — засахаренные орехи и сухие пирожные Нима, нуга Монтелимара, сушеные молоки и сухарики Экса — все в позолоченной упаковке с этикетками и с факсимильными подписями фабрикантов.

Затем первины, груды фруктов, словно только что собранных в южном, не знающем тени саду, где каждый плод, еще окруженный мелкими зелеными листиками, кажется самоцветным камнем, плотная ююба цвета только что отлакированного красного дерева рядом с бледно-желтыми ягодами итальянского боярышника, инжир разных сортов, сладкие лимоны, зеленый и красный перец, пузатые дыни, крупный лук в цветастом оперенье, мускатный виноград с продолговатыми прозрачными ягодами, с мякотью, переливающейся, словно вино в прозрачном мехе, связки полосатых, черных с желтым, бананов, груды апельсинов, красных гранат с золотисто-коричневыми пятнами, похожих на ядра из красной меди, с торчащим из них, зажатым в плотном венчике фитилем. Наконец, всюду — на стенах, на потолке, по обе стороны двери, среди хаоса сухих пальмовых ветвей — ожерелья чеснока и лука, сладких рожков, связки печеночных колбас, гроздь кукурузы, словом, целый водопад ярких теплых красок, все лето, все солнце Юга в коробках, мешках, глиняных сосудах, улыбающееся сквозь запотевшие стекла витрин тем, кто идет мимо по тротуару.

Старик Вальмажур расхаживал по магазину веселый, с

раздувающимися от возбуждения ноздрями. Дома он ворчал на сына и на дочь, если ему надо было хоть что — нибудь сделать; пришив пуговицу к жилетке, он поток часами отирал со лба пот и хвастался, что «работал, как вол». Здесь он всегда готов был подсобить, снять пиджак, чтобы забить или распаковать ящики, и при этом походя засовывал себе в рот конфетку, маслину, развлекая всех, кто работал тут же, своими ужимками и прибаутками, и даже раз в неделю, когда Мефры получают из Прованса «брандаду», допоздна задерживался в магазине, помогая упаковывать посылки клиентам.

«Брандада» — самое что ни на есть южное блюдо: треска под острым соусом — бывает только в «Продуктах Юга», но зато самая настоящая, белая, как сливки, очищенная от костей, с чесночком, такая, как ее готовят в Ниме, откуда она и доставляется Мефрам. Она прибывает в Париж в четверг вечером со скорым семичасовым поездом, а в пятницу утром ее получают постоянные клиенты Мефров, те, что записаны в приходо-расходную книгу. В этом торговом журнале с мятыми страницами, пахнущими пряностями и растительным маслом, изложена история завоевания Парижа южанами, в него занесены целыми столбцами фамилии людей с большим состоянием, видным общественным положением, фамилии владельцев крупных предприятий, знаменитых адвокатов, депутатов, министров и, между прочим, имя Нумы Руместана, южанина вандейца, опоры алтаря и трона.

За одну эту строчку, где записан Руместан, Мефры швырнули бы в огонь всю книгу. Он лучше, чем кто-либо еще, выражает их воззрения в области религии, политики, да во всем! Г-жа Мефр, еще более пылкая и страстная, чем ее муж, говорит так:

— Понимаете: за этого человека можно душу свою погубить!

Они любят вспоминать то время, когда Нума, уже находясь на верном пути к славе, не считал ниже своего достоинства самому ходить за провизией. И уж он-то умел выбрать на ощупь хорошую дыню, умел разобраться, какая колбаса будет истекать соком под ножом! А сколько в нем доброты, а лицо у него красивое, выражение — величавое! И всегда-то у него находился комплимент для хозяйки, доброе слово «братцу», ласка маленьким Мефрам, которые несли за ним в экипаж свертки. С тех пор как он возвысился до министерского поста, с тех пор как у него столько забот в обеих Палатах из-за мерзавцев «красных», чтоб их, они его совсем не видят! Но он остался верным постоянным покупателем «Продуктов Юга». И его они снабжают в первую очередь.

Однажды в четверг вечером, около десяти часов, когда все горшочки с

«брандадой» были перевязаны, завернуты и в полном порядке стояли на скамьях, семейство Мефров, приказчики, старик Вальмажур — словом, все «Продукты Юга» в полном составе, отдуваясь и отирая пот, отдыхали с блаженным видом людей, справившихся с тяжелой работой, и освежались «кошачьими язычками»,^[43] сухими пирожными, которые они макали в варенное с сахаром вино, оршадом — «давайте сладенького», ибо крепких напитков южане не любят. И в городе и в деревне опьянение алкоголем им почти незнакомо. Вся эта порода ощущает перед ним инстинктивный страх, испытывает перед ним отвращение. Ведь она от природы пьяная, пьяная без вина.

И это святая истина, что тамошний ветер и тамошнее солнце перегоняют для нее мощный естественный алкоголь, воздействие которого ощущают в той или иной степени все, рожденные на Юге. Для одних это всего-навсего лишний глоток, который развязывает языки, придает подвижность рукам и ногам, заставляет все видеть в радужном свете и всюду находить сочувствие, зажигает в глазах огонь, расширяет улицы, устраняет препятствия, удваивает смелость и еще больше тормозит робких. Натуры более страстные, вроде дочери Вальмажура и тетушки Порталь, сразу впадают в неистовство, начинают захлебываться и трястись всем телом. Нужно видеть, что творится в нашем Провансе на храмовых праздниках, когда крестьяне вскакивают на столы, топчут по ним грубыми желтыми ботинками, вопят, зовут: «Человек, сельтерской!» — и вот вся деревня лежит пьяная от нескольких бутылок лимонада. А прострация, в какую впадают тотчас после опьянения, полное бессилие после прилива ярости или восторга, наступающее так же внезапно, как переход от солнечной к пасмурной погоде в марте месяце, — кто из южан с этим не внаком?

Не отличаясь полуденным неистовством своей дочери, папаша Вальмажур тоже не был от природы лишен пыла. И в этот вечер, освежаясь оршадом, он пришел в состояние столь бурного веселья, что со стаканом в руке выскочил на середину лавки и заплетающимся языком, с дикими гримасами принялся выкладывать все свои шуточки старого клоуна, внося таким образом в эту вечеринку свой даровой вклад. Чета Мефров и их приказчики корчились от смеха на мешках с мучкой.

— Ох уж этот Вальмажур, ну и ну!

Но вдруг весь задор старика погас, рука, которой он размахивал, словно паяц, опустилась — перед ним возникла дрожащая от волнения знакомая провансальская шапочка.

— Что вы тут делаете, отец?

Г-жа Мефр воздела руки к свисавшим с потолка колбасам:

— Как? Это ваша барышня? — И вы нам ничего не говорили?.. Да какая же она крошка!.. Да какая же миленькая, ну и ну!.. Будьте, как дома, мадемуазель.

Желая чувствовать себя свободнее, а равно и по привычке ко лжи, старик не говорил здесь о своих детях, выдавая себя за холостяка, живущего на скромную ренту. Но он имел дело с южанами, а они привыкли к любым выдумкам и не придают им значения. Если бы вслед за Одибертой к ним вошла целая орава малолетних Вальмажуров, прием был бы не менее шумным и радушным.

Вокруг Одиберты засуетились, нашли ей местечко.

— Вы с нами тоже закусите, не иначе!

Провансалка растерялась. Она пришла с улицы, с холода, из мрака декабрьской ночи, в которой, несмотря на позднее время, лихорадочная жизнь Парижа продолжала свое безумное кружение в густом тумане, который про* рывали мятущиеся быстрые тени, цветные фонари омнибусов и хриплые гудки трамваев. Она пришла с Севера, из недр зимы и вдруг, без всякого перехода, очутилась в самом сердце итальянского Прованса, в магазине Мефров, который на подступах к Рождеству так и сиял роскошью рожденных солнцем лакомств, очутилась среди родного говора и родных запахов. Это была внезапно обретенная родина, это было возвращение домой после целого года изгнания, тягостных испытаний, жестокой борьбы там, в далеком мире варваров. Ей стало тепло, она макала кусочек сухого пирожного в рюмочку картахенского вина, отвечала на вопросы всех втих славных людей, которые обращались с ней так непринужденно, словно знали ее лет двадцать, и нервы у нее успокаивались. Она чувствовала себя так, словно вернулась в прежнюю жизнь, к прежним привычкам, и слезы подступали к ее глазам, жестким, метавшим пламя глазам, которые никогда не плакали.

Но тут она услышала имя Руместана, и все то, что в ней начало было смягчаться, снова сжалось. Это г-жа Мефр, проверявшая адреса на посылках, внушала приказчикам, чтобы они, не дай бог, не ошиблись и не отнесли предназначавшуюся Нуме «брандаду» на улицу Гренель вместо Лондонской улицы.

— Похоже, что на улице Гренель «брандаду» не очень-то одобряют, — заметил один из «Продуктов Юга».

— Ясное дело... — сказал г-н Мефр. — Хозяйка — дама с Севера, самого что ни на есть северного Севера... там готовят на сливочном масле, да, да!.. А на Лондонской улице — родимый Юг, веселье, песни, и все на

оливковым масле... Понятно, что Нуме там больше по себе.

Здесь очень легко говорили о второй семье Нумы, жившей в маленьком уютном гнездышке, в двух шагах от вокзала, где он мог отдохнуть от схваток в Палате, где так свободно дышалось после приемов и всяких торжественных церемоний. Разумеется, восторженная г-жа Мефр подняла бы отчаянный крик, случись что-либо подобное в ее семействе. А у Нумы это было вполне естественно и даже очень мило.

Что ж, полюбился ему бутончик! А разве все наши короли не волочились за бабьей юбкой? И Карл X и Генрих IV, веселый распутник? У Нумы ведь тоже бурбонский нос, черт возьми!

И к этой легкости, к этому насмешливому тону, каким принято говорить на Юге о сердечных делах, примешивалась кровная ненависть, антипатия к женщине Севера, чужой, у которой готовят на сливочном масле. Все снова оживились, посыпались «анекдоты», стали расписывать прелести малютки Алисы и ее успехи в Большой Опере!

— Я знавал мамашу Башельри во времена Бокерской ярмарки, — говорил старик Вальмажур. — Она пела романсы в «Кафе Тибо».

Одиберта слушала, затаив дыхание, стараясь не упустить ни слова, стараясь запечатлеть в мозгу имя, адрес. И ее глазки горели дьявольским хмелем, в котором картаженское вино было неповинно.

XVII. ДЕТСКОЕ ПРИДАНОЕ

Услышав легкий стук в дверь своей комнаты, г-жа Руместан вздрогнула, словно ее застали за чем-то нехорошим, и, вдвинув в комод стиля Людовика XV изящно прогнутый ящик, над которым она только что низко-низко склонялась, спросила:

— Кто там?.. Что вам, Полли?

— Вам письмо, мадам... Срочное, — ответила англичанка.

Розали взяла письмо и поспешила закрыть дверь... Чьи-то незнакомые каракули на плохой бумаге с надписью «Лично, срочно», как на всех обращениях с просьбой о вспомоществовании. Горничная-парижанка никогда не побеспокоила бы ее из-за такого пустяка.

Она бросила конверт на комод, решив, что распечатает позднее, и вернулась к ящичку, в котором были спрятаны чудесные вещи, нашитые в свое время для новорожденного. После драмы, происшедшей восемь лет назад, она не открывала его, боясь, что снова вернутся былые слезы. Не открывала и после того, как опять забеременела, из вполне понятного у будущей матери суеверного страха накликать беду, перебирая вещицы, сшитые для ее неродившегося ребенка, и тем самым как бы преждевременно лаская его.

Эта стойкая женщина была такой же нервной, как и все прочие, она так же трепетала, так же зябко сжималась, подобно мимозе. Свет, судящий о людях, ничего в них не смысля, считал ее холодной, — так неучи воображают, будто цветы не живут. Но теперь, когда чаяниям ее исполнилось уже полгода, надо было наконец извлечь вти вещицы из ящичка, где у них был траурный вид, осмотреть их, может быть, переделать, ибо мода меняется и для новорожденных и их украшают не всегда одинаковыми лентами. Именно для этого дела, такого глубоко личного дела, и заперлась от всех Розали. И во всем огромном здании министерства, занятого своим бумажным производством, наполненного немолчным жужжанием докладов и лихорадочной беготней чиновников из кабинета в кабинет, из отдела в отдел, не было, без сомнения, ничего более значительного, более волнующего, чем эта женщина с бьющимся сердцем и дрожащими руками, ставшая на колени перед раскрытым ящичком комода.

Она подняла слегка пожелтевшие кружева, которые вместе с сухими духами предохраняли, оберегали белизну этих непорочных одежек — чепчиков, лифчиков, сложенных по размерам, соответствующим разным

возрастам малыша, крестильного платья, нагрудника в мелкую складку, кукольных чулочков. Она вспомнила себя такой, какой была там, в Орсе, когда, охваченная сладким томлением, часами работала над этим приданым в тени катальпы, чьи белые венчики опадали в ее рабочую корзину на клубки, на тонкие ножницы для вышивки, припоминала, как все мысли ее сосредоточивались на каком —нибудь стежке, отмерявшем и ее время и ее мечты. Сколько тогда было иллюзий, сколько веры! Какой стоял веселый шелест и щебет в листве над ее головой, и как в ней самой встрепенулась неведомая дотоле нежность! И вот в один день жизнь внезапно отняла у нее все. И сейчас, когда она развертывала детское приданое, в сердце ее оживало былое отчаяние, ей представлялась измена мужа, гибель ребенка.

От одного вида первой вещицы, совсем готовой для того, чтобы надеть ее на ребенка, которую кладут в колыбельку перед самым рождением, от вида рукавов, засунутых один в другой, распрямленных плечиков, развернутых круглых чепчиков она разразилась слезами. Ей казалось, что ребенок ее жив, что она целует его, держит на руках. Мальчик — о, разумеется, мальчик! — здоровенький, красивый, и на его пухленьком молочном — нежном личике уже можно узнать серьезные, глубокие глаза деда. Сейчас ему было бы лет восемь, его локоны падали бы на широкий кружевной воротник. В этом возрасте мальчики принадлежат еще матери: она гуляет с ними, наряжает их, учит грамоте. Ах, до чего жестока, до чего жестока жизнь!..

Вынимая и перебирая вещицы, перевязанные узенькими ленточками, разглядывая вышивку цветочками и белоснежные кружева, она мало-помалу успокаивалась. Нет, нет, жизнь не так уж зла, и, пока она длится, надо сохранять мужество. Она утратила его, когда совершился этот роковой поворот, она вообразила, что ей уже не во что верить, некого любить, что ей уже не быть ни женой, ни матерью, что ей остается только оглядываться на лучезарное прошлое, исчезающее вдали, как дорогие сердцу берега. Потом, после нескольких мрачных лет под холодным снегом, покрывшим ее сердце, снова стали прорастать весенние побеги, и вот уже весна расцвела в этом малыше, которому предстояло появиться на свет, чью силу она уже ощущала ночами по его нетерпеливым толчкам в ее чреве. А Нума так изменился, так подобрел, излечился от своих вспышек! Правда, у него еще оставались слабости, которых она не одобряла, этикие итальянские увертки, от которых он никак не мог избавиться. Но ведь «это же политика», как он выражался. Впрочем, она изжила первоначальные иллюзии; она знала, что для того, чтобы чувствовать себя счастливой, нужно уметь довольствоваться приблизительным соответствием желаемого

возможному, уметь из полусчастья, которым наделяет нас жизнь, лепить счастье полноценное...

В дверь снова постучались. Это Межан, он хочет поговорить с мадам.

— Хорошо... Я сейчас приду...

Она вышла к нему в малую гостиную, где он в сильном волнении шагал взад и вперед.

— Мне нужно вам кое-что сообщить... — заговорил он без обиняков, на правах старой дружбы, которая не по их вине не превратилась в более тесные узы. — На днях я покончил с тем злополучным делом... Я не сказал вам сразу, чтобы подольше не расставаться с этим...

Он протянул ей портрет Ортанс.

— Наконец-то!.. Как она будет счастлива, бедняжка!..

Роаали с умилением взглянула на красивое личико сестры, пышущей молодостью и здоровьем, снявшейся в провансальском наряде, затем прочитала внизу надпись, сделанную мелким, но твердым почерком: «Я в вас верю, и я вас люблю. Ортанс Ле Кенуа». Потом, сообразив, что влюбленный Межан тоже прочел это и что он взял на себя весьма грустное поручение, она с дружеской признательностью пожала ему руку.

— Спасибо!..

— Не надо меня благодарить... Да, мне это было тяжело. Но я целую неделю живу вгим: «Я в вас верю, и я вас люблю»... Порою мне казалось, что надпись относится ко мне...

Понизив голос, он робко спросил:

— Как она?

— Неважно... Мама увозит ее на Юг... Теперь она согласна на все... В ней словно что-то сломалось.

— Она очень изменилась?

Розали вся слегка сжалась.

— Ах!..

— До свиданья, сударыня!.. — быстро проговорил Межан и так же быстро направился к выходу.

У дверей он обернулся и, распрямив свои мощные плечи под приподнятой портьерой, добавил:

— Хорошо, что я лишен воображения... Иначе я был бы слишком несчастен...

Когда Розали вернулась в свою комнату, ей стало очень грустно. Как она себя ни разуверяла, как ни утешала себя тем, что сестра еще так молода, сколько ни вспоминала ободряющие слова Жарраса, который упорно усматривал в болезни Ортанс проходящий кризис, в голову ей лезли

черные мысли, не гармонировавшие с праздничной белизной приданого для малютки. Она собрала разбросанные вещички, сложила их, спрятала в ящик и, поднимаясь с колен, заметила лежавшее на комодке письмо. Она взяла его и стала машинально читать, ожидая, что это будет одна из просьб о материальной помощи, с которыми к ней часто обращались в письмах, написанных самыми разными почерками, — эта просьба заставляла ее как раз в тот момент, когда у нее явилось суеверное желание своей милостыней умиловить судьбу. Вот почему она не сразу поняла прочитанное и вынуждена была перечитать строчки, написанные, словно штрафная работа корявым пером школьника, тем молодым человеком, что работал на Гийоша:

«Если вы любите «брандаду», то знайте, что сегодня вечером ее подают, отлично приготовленную, у мадемуазель Башельри на Лондонской улице. Угощает ваш муж. Позвоните три раза и входите без стеснения».

Как ни глупы были эти фразы, какой грязью и коварством они ни пахли, она сразу учуяла правду, и в этом ей помогли возникшие в памяти совпадения и намеки: имя Башельри, которое за последний год так часто произносилось в ее присутствии, загадочные газетные статейки по поводу приглашения этой певички в Оперу, длительное пребывание мужа в Арвильяре, адрес, услышанный из его же уст. В один миг сомнение выкристаллизовалось в уверенность. Да и разве прошлое не освещало для нее настоящего, не обрисовывало его во всей вполне реальной гнусности? Лжец и притворщик — вот он кто. Почему этот человек, всех всегда обманывавший, должен был пощадить ее? Ее купил его вкрадчивый голос, его дешевые ласки. И тут ей пришли на память подробности, от которых она то краснела, то бледнела.

На этот раз ею овладело не отчаяние первого разочарования, исторгшее у нее так много слез. Теперь к обиде примешивалась злоба на себя самое, на свою слабость и безволие, заставившие ее простить мужа, злоба на него — на человека, который опять обманул ее, презрев обеты и клятвы, данные после первого греха. Ей хотелось бросить ему в лицо обвинение здесь, сейчас же, но он был в Версале, на заседании Палаты. У нее мелькнула мысль вызвать Межана, но она тут же почувствовала, что не в силах заставить этого порядочного человека лгать. Силясь подавить в себе бурю противоречивых чувств, стараясь не кричать, не поддаваться нерв* ному припадку, который уже овладевал ею, она в своем свободном пеньюаре, по привычке прижимая руки к талии, принялась шагать взад и вперед по ковру. Внезапно, вздрогнув от безумного страха, она остановилась.

Ребенок!

Он тоже страдал, напоминая о себе матери всеми силами крошечного существа, боровшегося за свою жизнь. Боже мой, только бы он не погиб!.. В тот же месяц беременности, при таких же обстоятельствах... Говорят, что рок слеп, а ведь он иногда подстраивает такие невыносимо жестокие совпадения! И она стала вразумлять себя прерывающимися словами, ласковыми восклицаниями: «Малыш мой!.. Бедный мой малыш!..» — старалась взглянуть на вещи хладнокровнее, чтобы держать себя с достоинством, а главное, не подставить под удар единственное, что у нее еще оставалось. Она даже взялась за рукоделье — то самое рукоделье Пенелопы,^[44] которое всегда помогает парижанке быть чем-то занятой. Прежде чем прибегнуть к неизбежному громогласному разрыву, надо было дождаться Нумы, объясниться с ним или, вернее, убедиться в его вине по тому, как он станет себя вести.

О эти пестрые шерстяные нити, эта аккуратная, бесцветная канва! Сколько признаний они слышат, из скольких сожалений, радостей, желаний составляется сложный, весь в узелках, в кончиках оборванных ниток, узор оборотной стороны женских рукоделий, где безмятежно переплетаются цветы!

Вернувшись из Палаты депутатов, Нума Руместан застал жену, склонившуюся над рукодельем в узком луче зажженной лампы. Эта мирная картина, этот точеный профиль, смягченный начесами каштановых волос, среди сумеречной роскоши стеганых портьер, в комнате, где лакированные ширмы, безделушки из старинной бронзы, слоновой кости, фаянса притягивали к себе теплые, зыбкие отсветы пылавшего в камине огня, поразили его своим резким контрастом слитному гулу в Палате, ярким люстрам, свисавшим с потолка и окруженным пыльной мутью, плававшей над ораторами, словно пороховой дым над полем, где происходят маневры.

— Здравствуй, мамочка!.. Как у тебя тут хорошо!..

Заседание было жаркое. И все по поводу распроклятого бюджета: левые пять часов подряд вцеплялись мертвой хваткой в несчастного генерала д'Эспальона, который умел связать концы с концами, только если произносил что-нибудь вроде «черт вас всех подери». Ну, на этот раз кабинет благополучно удержался. Но посмотрим, что будет после новогодних каникул, когда дело дойдет до просвещения и искусства.

— Они очень рассчитывают на дело Кадайяка, чтобы меня свалить... Выступить будет Ружо... Противник нелегкий... Выдержки у него предостаточно...

— Ружо против Руместана... — добавил он, дернув по привычке

плечом. — Север против Юга... Так лучше. Это будет забавно. Мы с ним схватимся не на жизнь, а на смерть.

Занятый своими мыслями, он долго не замечал, что Розали молчит. Потом подошел к ней поближе, уселся на мягкий табурет, вырвал у нее работу и попытался поцеловать ей руки.

— Что ты так торопишься с вышиваньем?.. Это мне подарок к Новому году? А я уже купил тебе подарок... А ну, угадай!

Она медленно высвободилась из его объятий и молча устремила на него пристальный, испытующий взгляд. На лице его, как обычно в дни бурных заседаний, лежал отпечаток усталости, все черты расплылись, в уголках глаз и губ легли морщинки, выдавая натуру мягкую и в то же время вспыльчивую, подверженную всем страстям и лишённую всего, что помогает совладать с ними. Лица уроженцев Юга похожи на южные пейзажи: и те и другие хороши, только когда залиты солнцем.

— Ты обедаешь со мной? — спросила Розали.

— Да нет!.. Меня ждут у Бюрана... Скучнейший будет обед... Эх, я уже опаздываю! — добавил он, вставая. — К счастью, переодеться не нужно.

Взгляд жены неотрывно следил за ним.

— Пообедай со мной, прошу тебя!

Когда она настаивала, ее мелодичный голос становился жестким, неумолимым.

Но Руместан не отличался наблюдательностью. Дела, дела, ну что тут можно сказать? Ах, кто занимается политической деятельностью, тот не может жить как хочет!

— В таком случае прощай, — многозначительно проговорила она и мысленно добавила: «Значит, такая судьба».

Она прислушалась к стуку колес у ворот, потом аккуратно сложила рукоделье и позвонила.

— Пусть кто-нибудь сбегает за извозчиком... А вы, Полли, подайте мне пальто и шляпу... Я еду в город.

Через несколько минут Розали была готова. На прощанье она окинула взглядом комнату, из которой сейчас уходила и где не оставляла ничего своего, ничего, о чем бы ей стоило пожалеть. Несмотря на холодную парадность желтой атласной обивки, это была всего-навсего меблированная комната.

— Вот эту большую картонку поставьте в экипаж.

Из всего их общего имущества она взяла приданое для малыша.

У дверцы кареты терявшаяся в догадках англичанка спросила,

вернется ли мадам к обеду. Нет, она будет обедать у родителей и, вероятно, останется у них ночевать.

Дорогой у нее все же возникло сомнение, вернее, желание быть добросовестной до конца. А что, если все это неправда?.. Если Башельри не живет на Лондонской улице? Она дала извозчику адрес, — впрочем, без всякой надежды. Но ей надо было убедиться.

Карета остановилась у трехэтажного особняка с зимним садом на самом верху — раньше это было холостяцкое жилье левантинца из Каира, который недавно разорился и умер. Именно такие домики и снимают для тайных развлечений: закрытые ставни, опущенные портьеры, из ярко освещенных подвальных помещений доносится шум и резкий запах кухни. По одному тому, как после трех звонков дверь открылась сама собой, Розали поняла все. Из прихожей за персидской портьерой, подхваченной крученым шнуром, видна была покрытая толстым ковром и освещенная торшерами лестница, где ярко горел газ. Она услышала смех, сделала два шага и увидела то, чего уже никогда потом не забывала...

На площадке второго этажа склонился над перилами Нума, красный, пылающий, без пиджака, держа за талию девицу, — она, тоже очень возбужденная, отбросила распущенные волосы на спину, на мелкие пышные оборочки легкого шелкового пеньюара. Нума кричал разнузданно веселым голосом:

— Бомпар! Тащи «брандаду»!

Вот где надо было видеть министра народного просвещения и вероисповеданий, оптового торговца религиозной нравственностью, защитника благородных принципов — здесь он выступал без маски, без ужимок, здесь он всю распускал свою южную натуру, здесь он не знал удержу, словно на Бокерской ярмарке!

— Бомпар! Тащи «брандаду»!.. — повторила за ним лихая бабенка, нарочно утрируя марсельскую интонацию. А Бомпаром оказался какой-то импровизированный поваренок; он выскочил из кухни с повязанной крест-накрест салфеткой, с большим круглым блюдом, которое держал обеими руками, и инстинктивно обернулся на громкий стук захлопнувшейся парадной двери.

XVIII. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

— Господа из Главной администрации!..

— Господа из Управления изящных искусств!..

— Господа из Медицинской академии!..

По мере того, как служитель в праздничном мундире, в коротких панталонах и при шпаге, голосом, лишенным всякого выражения, докладывал в торжественной тишине парадных покоев о прибывающих, вереницы черных фраков пересекали огромную красную с золотом гостиную и выстраивались полукругом перед министром, который стоял, опираясь на каминную доску. Рядом с ним находились его помощник де ла Кальмет, правитель его канцелярии, щеголевато одетые личные секретари и кое-кто из начальников отделов министерства — Дансер, Бешю. Начальник каждого учреждения или заведения представлял своих подчиненных, а его превосходительство поздравлял тех, кто был награжден орденами или академическими значками, затем награжденный делал поклоны и уступал место другим.

Одни удалялись, другие приближались быстрым шагом, причем не обходилось без толкотни в дверях, ибо было уже поздно — второй час пополудни, — и каждый думал об ожидающем его завтраке за семейным столом.

В концертном зале, превращенном в раздевалку, группы поздравителей нетерпеливо поглядывали на часы, застегивали перчатки, оправляли белые галстуки, — лица у всех были усталые, многие позевывали от скуки, раздражения или голода. Руместана тоже утомил этот торжественный день. Он уже утратил весь пыл, который ощущал в это время в прошлом году, утратил веру в будущее, в реформы и речи свои произносил вяло, продрогнув до костей, несмотря на калориферы и яркое пламя камина. Легкие снежные хлопья, кружившиеся за окнами, падали ему на сердце, как на лужайки сада, и леденили его.

— Господа из Французской комедии!..

Гладко выбритые, важные, они кланялись, как в эпоху Людовика XIV, и в величественных позах группировались вокруг своего старшины, который замогильным голосом представлял членов Товарищества,^[45] говорил об усилиях, о стремлениях Товарищества — Товарищества безо всякого эпитета, без определения, как говорят «бог», как говорят «Библия», словно на свете не существовало никакого другого Товарищества, кроме

этого. Бедный Руместан, по-видимому, совсем опустился, если даже пресловутое Товарищество, в члены которого он вполне годился, — так похож он был на них своим синим подбородком, мясистыми щеками и условно-величавыми движениями, — если даже оно не способно было исторгнуть у него напыщенные театральные фразы в духе его обычного красноречия.

Вот уже неделю, то есть с тех пор как ушла Роаали, он напоминал игрока, который потерял фетиш, приносивший ему удачу. Он испытывал страх, у него вдруг возникло ощущение, что он недостоин улыбнувшегося ему счастья и что оно вот-вот раздавит его. У посредственных людей, которым очень повезло, бывают такие приступы слабости, головокружения, а у него они участились из-за грозившего ему скандала — из-за бракоразводного процесса, которого во что бы то ни стало требовала Розали, невзирая на письма, на просьбы друзей, на его униженные мольбы и клятвы. Для приличия говорилось, что г-жа Руместан перебралась к отцу из-за предстоящего в скором времени отъезда г-жи Ле Кенуа и Ортанс. Но никого это не обманывало, и когда сегодня перед ним дефилировали вереницы поздравителей, несчастный то замечал подчеркнуто-сочувственную улыбку, то ощущал слишком демонстративное рукопожатие и видел, как его беда отражается на всех лицах жалостью, любопытством или иронией. В курсе дела были даже мелкие чиновники, явившиеся на прием просто в сюртуках или даже в пиджаках. В канцеляриях из уст в уста передавались куплеты, где «Шанбери» рифмовалось с «Башельри», и немало жалких переписчиков, недовольных полученной новогодней наградой, напевали их про себя, низехонько кланяясь высшему начальству.

Два часа. А служащие все продолжали дефилировать перед ним, а снег все падал и падал, а человек с цепью на шее вводил и вводил людей уже как попало, не соблюдая иерархического чина.

— Господа из Института правоведения!..

— Господа из консерватории!..

— Господа директора театров, состоящих на государственной стипендии!..

Во главе директоров выступал Кадайяк, словно три его банкротства обеспечивали ему старшинство. Руместану гораздо больше хотелось наброситься с кулаками на этого циничного «показчика», которого он себе на голову утвердил в занимаемой им должности, чем выслушивать его витиеватую речь, полностью опровергавшуюся его же свирепонасмешливым взглядом, и отвечать ему с трудом выдавливаемыми любезностями, наполовину застревавшими в крахмальном галстук.

— Я очень тронут, господа... М-м, м-м, м-м... Развитие искусства... м-м, м-м, м-м... Будем стараться работать еще лучше...

«Показчик», удаляясь, нашептывал окружающим:

— А нашему бедному Нуме крылышки-то подрезали...

Когда поздравители разошлись, министр и его помощники отдали дань новогоднему угощению. Но этот завтрак, в прошлом году прошедший так весело и сердечно, был омрачен грустью хозяина и дурным настроением его приспешников, которые досадовали на него за то, что он и их поставил под удар. Скандальный процесс, совпадавший к тому же с обсуждением в Палате де ла Кадайяка, грозил превратить Руместана в лицо, весьма нежелательное в кабинете министров. Не далее как сегодня утром, на приеме в Елисейском дворце, маршал сказал ему по этому поводу пару слов с грубоватым лаконизмом старого вояки: «Дела паршивые, дорогой министр, дела паршивые...» Господа из Министерства народного просвещения не знали, что именно сказал маршал, ибо он шепнул вти слова Нуме на ухо, стоя с ним у окна, но они понимали, что их главе — а значит, и им тоже — угрожает немилость.

— О женщины, женщины! — ворчал профессор Бешю себе в тарелку.

Г-н де ла Кальмет, тридцать лет просидевший в канцеляриях, меланхолично, на манер Тирсиса, думал о неизбежном уходе на пенсию, а долговязый Лаппара забавлялся тем, что расстраивал Рошмора:

— Виконт! Пора подумать об устройстве где-нибудь на новом месте... Не пройдет и недели, как нам всем — капут.

После тоста, провозглашенного министром в честь Нового года и дорогих сотрудников и произнесенного прерывавшимся от волнения голосом, голосом, в котором звучали слезы, все разошлись. Межан задержал" ся, — он и его старый друг два-три раза прошлись по комнате, но не решились вымолвить ни слова. Потом и он ушел. Как ни хотелось Нуме, чтобы в такой день с ним подольше побыл этот прямодушный человек, перед которым он робел, как перед живым укором совести, но который поддерживал и подбодрял его, он не мог помешать Межану пойти к друзьям, не мог помешать ему поздравлять, делать подарки, как не мог запретить служителю уйти домой и избавиться наконец от шпаги и коротких панталон.

Как он одинок в этом министерстве! Словно завод в праздничный день — топки потухли, машины молчат. И всюду за огромными окнами, внизу, наверху, в его кабинете, где он тщетно пытался что-то писать, в спальне, где его душили рыдания, кружился мелкий январский снег, ваволакивал горизонт, оттенял тишину пустыни.

О горести величия!..

Стенные часы пробили четыре, им ответили другие, петом еще одни — казалось, в обширном безлюдии дворца не было ничего живого, кроме часов. Нума пришел в ужас от мысли, что ему до самого вечера придется быть наедине со своим горем. Ему так хотелось, чтобы его хоть немного согрела чья-то дружба, чья-то ласка. В доме было столько калориферов, столько отверстий, из которых шел жар, в каминах горели целые бревна, но все это не составляло домашнего очага. На миг он подумал о Лондонской улице... Но он поклялся своему адвокату — адвокаты уже начали работать — быть паинькой до конца процесса. И вдруг он спохватился: «А Бомпар?» Почему он не пришел? Обычно в праздничные дни он являлся первый, нагруженный букетами и мешками конфет для Розали, Ортанс» г-жи Ле Кенуа, с выразительной улыбкой доброго Деда — Мороза. Разумеется, все эти сюрпризы оплачивал Руместан, но его друг Бомпар обладал достаточно пылким воображением, чтобы забывать об этом, а Розали, несмотря на свою антипатию к Бомпару, не могла не быть растроганной при мысли о лишениях, на которые должен был пойти бедняга, чтобы проявить столько щедрости.

«А что, если пойти за ним? Мы бы вместе пообедали».

Вот до чего дошел Нума!.. Он позвонил, снял фрак, медали, ордена и пешком отправился на улицу Бельшас.

Набережные, мостовые — все было бело от снега. Но ва Карусельной площадью снега не было ни на земле, ни в воздухе. Он исчез под колесами, катившимися по мостовой, под ногами толпы, кишевшей на тротуарах, перед витринами, у остановок омнибусов. Шум праздничного вечера, крики извозчиков и уличных продавцов, снопы света из витрин, сиреневый огонь лампочек Яблочкова, растворявший в себе желтое мерцание газа и последние отсветы уходящего дня, — все это баюкало горе Руместана, оно словно таяло в уличном оживлении, пока он шел по направлению к бульвару Пуасоньер, где бывший черкес, домосед, как все люди с богатым воображением, проживал уже двадцать лет — с тех пор, как переселился в Париж.

Никто не знал, как выглядело жилье Бомпара, хотя он много рассказывал о нем, равно как и о своем саде, о своей изысканной обстановке, для пополнения которой он ходил на все аукционы в Отель Друо. «Приходите ко мне как-нибудь утром скушать котлетку!..» В таких выражениях он приглашал к себе и не скупился на приглашения, но тот, кто принимал их всерьез, не заставлял хозяина дома, наталкиваясь на данное привратнику распоряжение никого не впускать, на звонки, набитые

обрывками бумаги или с оборванным шнуром. Целый год Лаппара и Рошмор тщетно пытались проникнуть к Бомпару, расстроить хитрости провансальца, тщательно охранявшего тайны своего жилья, — он как-то даже разобрал кирпичи в стене у своей двери, чтобы гостям можно было сказать из-за баррикады:

— Что поделаешь, друзья мои!.. Произошла утечка газа... Сегодня ночью был взрыв.

Поднявшись на невесть сколько этажей, находившись по широким коридорам, не один раз споткнувшись о невидимые в темноте ступеньки, не один раз вторгшись на шумные празднества в комнатах для прислуги, Руместан уже совсем задыхался от втих восхождений, для которых его именитые ноги — ноги человека, и без того достигшего высот, — были теперь уже не приспособлены. Наконец, он наткнулся на большой умывальный таз, висевший на стене.

— Кто там? — раздался знакомый картавый голос.

Дверь открылась медленно, ибо ее отяжеляла вешалка, на которой красовался весь зимний и летний гардероб жильца. Комната была маленькая, и Бомпар использовал каждый миллиметр ее кубатуры, а свою умывальную вынужден был устроить в коридоре. Он лежал в ярко-красном, напоминавшем колпак Данте, головном уборе, который даже как-то взъерошился от изумления при виде столь внятного посетителя, на узкой железной кровати.

— Какими судьбами?

Ты что, болен? — спросил Руместан.

— Болен?.. Этого со мной никогда не бывает.

— Так чего же ты залег?

— Да вот, подвожу кое-какие итоги... — Он пояснил свою мысль: — У меня в голове столько проектов, столько замыслов! Временами я в них путаюсь, не могу разобраться... Только лежа в постели, я могу все это привести в порядок.

Руместан искал глазами, на что бы сесть. Но в комнате имелся всего один стул, служивший тумбочкой и заваленный книгами, газетами, на которые был водружен вихляющийся подсвечник. Он сел у Бомпара в ногах.

— Что это тебя столько времени не видно?

— Да ты шутишь!.. После всего, что произошло, не мог же я встречаться с твоей женой. Сам посуди! Я же тогда очутился с ней лицом к лицу, в руках блюдо с «брандадой»... У меня еще хватило выдержки не уронить его на пол.

— Розали в министерстве уже нет... — уныло произнес Нума.

— Значит, вы так и не помирились?.. Удивительно!

Ему казалось невероятным, чтобы жена Нумы, такая рассудительная особа... Ведь в конце-то концов, что, собственно, случилось? Ерунда все это, право, ерунда!

Руместан прервал его:

— Ты ее не знаешь... Эта женщина неумолимая... Вылитый отец... Северяне, дорогой мой... Это не то что мы — разъяримся, раскипимся, весь наш гнев выльется в жесты, в угрозы, а потом — пшик, конечно... А у них все остается внутри — это, знаешь, ужасно.

Он не сказал, что однажды она уже простила его. Ему во что бы то ни стало хотелось забыться, и он добавил:

— Одевайся... Пойдем со мной обедать...

Пока Бомпар занимался туалетом на площадке лестницы, министр обозревал мансарду, освещенную маленьким оконцем, по которому скользил мокрый снег. Жалость к другу охватила его при виде этой нищеты, сырых панелей, выцветших обоев, железной печурки с пятнами ржавчины, совсем холодной, несмотря на зимнее время. Привыкнув к роскоши и комфорту министерского дворца, он спрашивал себя: как можно жить в таких условиях?

— А ты видел наш сад? — весело крикнул ему Бомпар, возившийся над тазом.

«Садом» он называл голые макушки трех платанов, которые, впрочем, можно было увидеть, лишь взобравшись на единственный стул.

— А мой маленький музей?

Так он именовал несколько сломанных предметов, снабженных этикетками и разложенных на доске: кирпич, трубку-носогрейку из твердого дерева, заржавленный клинок, страусовое яйцо. Кирпич был вывезен из Альгамбры, ножом орудовал, осуществляя вендетты, знаменитый корсиканский бандит, на носогрейке была надпись: «Трубка марокканского каторжника», — наконец, затвердевшее яйцо представляло собой осколок разбитой мечты, все, что осталось, помимо деревянных планок и кусков чугуна, сваленных в углу комнаты, от Инкубатора системы Бомпара, от искусственного разведения страусов. Но сейчас у него есть гораздо более интересная идея, друг мой. Потрясающая идея, она принесет миллионы, но об этом еще рано рассказывать.

— Что это ты там разглядываешь?.. А, это... это мой патент на звание майора... Да, да, майора Айоли.

Общество под названием «Айоли» имело целью угощать раз в месяц

всех живущих в Париже южан чесночными блюдами, чтобы они не позабыли ни аромата, ни акцента своей родины. Организация была в высшей степени мощная: почетный президент, просто президент, вице-президенты, майоры, квесторы, цензоры, казначеи, и все они обладали патентами на розовой бумаге с серебряными полями и выпуклым цветком чеснока. Этот драгоценный документ красовался на стене рядом с разноцветными объявлениями о продаже домов, с расписаниями поездов — Бомпару нужно было постоянно иметь их перед глазами «для поднятия настроения», как он сам простодушно признавался* На них можно было прочесть: «Продается замок, сто пятьдесят гектаров земли, луга, охотничьи угодья, река, пруд, изобилующий рыбой... Небольшое красивое поместье в Турен и, виноградники, поля люцерны, мельница на Сизе... Круговое путешествие по Швейцарии, Италии, посещение Лаго Маджиоре, Борромейских островов...» Это волновало его так, словно на стене висели настоящие красивые пейзажи. Он верил, что побывал в этих местах, что он их знает.

— Черт возьми!.. — сказал Руместан с оттенком зависти к нищему мечтателю, который был счастлив, живя среди всего этого мусора. — И богатое же у тебя воображение!.. Ну что, ты готов?.. Идем скорее... У тебя здесь зверский холод...

Потолкавшись под яркими фонарями среди праздничной бульварной толпы, оба приятеля устроились наконец в отдельном кабинете большого ресторана, где приятно кружило голову от тепла и света; перед ними стояло блюдо устриц и раскупоренная бутылка шатоикема.

— Твое здоровье, друг!.. Желаю тебе счастья в Новом году!

— Да, правда, — сказал Бомпар, — мы ведь еще не расцеловались.

И они обнялись через стол, даже прослезились от умиления. И хотя кожа на лице Черкеса была основательно выдублена, Руместан после этого поцелуя совсем повеселел. С самого утра ему хотелось кого-нибудь поцеловать. И потом они так давно внали друг друга! Перед ними на скатерти словно расстелились тридцать лет их жизни. В легком паре, подымавшемся от изысканных блюд, в искрах дорогих вин им виделись их юные дни, перед ними вставали общие, как у братьев, воспоминания — о прогулках, пирушках, они узнавали свои еще ребячьи лица и щедро пересыпали взаимные уверения в лучших чувствах провансальскими словечками, которые сближали их еще больше.

— *T'en souvenes digo?* Помнишь? В гостинной рядом с нами раздавались переливы звонкого смеха, женский визг.

— К черту бабье, — сказал Руместан. — На свете есть только дружба.

И они еще раз чокнулись. Но разговор принял, однако же, новый оборот.

— А малютка?.. — спросил, подмигнув, Бомпар. — Как она?

— Ну, мы с тех пор не виделись, сам понимаешь...

— Ясное дело... Ясное дело... — многозначительно проговорил Бомпар, придав своему лицу соответствующее выражение.

За портьерой играли на фортепьяно обрывки вальсов, модных кадрилией, то бурно веселые, то нежно томные мотивы опереток. Приятели замолкли и стали слушать, обрывая с виноградной кисти уже немного сморщенные ягоды.

У Нумы все ощущения словно вращались на шпинькё, поворачиваясь то одним своим ликом, то другим, и он принялся думать о жене, о еще не родившемся ребенке, об утраченном семейном счастье и, положив локти на стол, начал изливать свою душу перед Бомпаром:

— Одиннадцать лет совместной жизни, взаимного доверия, нежной любви... И все сгорело, исчезло в один миг... Как это могло случиться?.. Ах, Розали, Розали!..

Никто никогда не узнает, чем она для него была. Да и он сам понял это по-настоящему только после ее ухода. Такая прямота души, такое благородное сердце! И притом настоящие плечи, настоящие руки. Это тебе не кукла, набитая отрубями, как малютка. В них есть и сила, и нежность, и янтарное тепло.

— К тому же, друг мой, как ни говори, в молодые годы нам необходимы неожиданности, приключения... Свидания в лихорадочной спешке, еще более волну* щие, так как мы боимся, что нас вастигнут на месте преступления... Лестницы, по которым с монатками под мышкой сбегаете черев четыре ступеньки, — все это атрибуты любви. Но в нашем возрасте больше всего хочется покоя, то есть того, что философы именуют безопасностью в наслаждении. А это дает только брак.

Он вскочил и бросил салфетку на стол.

— Ну, пошли!

— Куда? — с невозмутимым видом спросил Бомпар.

— Я хочу пройти под ее окнами, как двенадцать лет назад... Вот до чего дошел, дорогой мой, глава Французского университета!..

Под аркадами Королевской площади, где засыпанный снегом сад представлял собой белый квадрат, со всех четырех сторон огороженный решетками, два друга долго прогуливались, стараясь распознать в зубчатом узоре крыш в стиле Людовика XIV, труб и балконов высокие окна особняка Ле Кенуа.

— Подумать только, что она тут, так близко, а я не могу ее увидеть! — со вздохом сказал Руместан.

Бомпар дрожал от холода, ноги у него мерзли, мяса холодную грязь, и он не очень-то понимал, кому нужна эта сентиментальная прогулка. Чтобы прекратить ее, он решил прибегнуть к хитрости: зная, какой Нума зябкий, как он боится любого недомогания, он коварно заметил:

— Ты простудишься, Нума.

Южанин испугался, и они сели в экипаж.

Она находилась в гостиной, где он увидел ее впервые и где на тех же местах стояла все та же мебель, уже достигшая того возраста, когда обстановка, как и темперамент у человека, не обновляется. Разве что появились две-три выцветшие складки в рыжих портьерах, да легкий мутноватый налет на глади зеркал, потускневшей совсем как гладь заброшенных прудов, которую ничто не тревожит. Лица старых родителей, склонившихся под канделябрами о двух рожках над карточным столом, в обществе своих обычных партнеров, тоже казались еще более увядшими. Полные щеки г-жи Ле Кенуа обвисли, лицо председателя стало еще бледнее, и казались еще более глубокими и горечь и горделивый мятеж, затаенные в его синих глазах. Розали сидела возле глубокого кресла, мягкие подушки которого были еще слегка примяты хрупкой фигуркой Ортанс, только что удалившейся на покой. Молодая женщина продолжала читать про себя книгу, которую она читала вслух сестре. Здесь им ничто не мешало — сосредоточенное молчание игроков в вист лишь изредка прерывалось полусловом или негромким восклицанием.

Это была книга, которую она любила с юных лет, книга одного из поэтов — певцов природы; ценить их творчество научил ее отец. От этих строф на Розали пахло ее молодостью, девичеством, она вновь ощущала юную свежесть и глубину восприятия.

Красотке — девице моей.^[46]
Уж зерно, было б веселей
Подольше собирать малину.
На мураве у родинка,
В объятых нежных паренька
Она забыла бы кручину.

Книга выскользнула у нее из рук на колени, последний стих каким-то грустным напевом отозвался в самой глубине ее существа, напомнив ей о

позабытом на мгновение горе. В этом-то и состоит жестокость поэзии: она баюкает, утешает, а потом вдруг от одного какого-нибудь слова вновь открывается почти залеченная рана.

Она вновь видела себя такой, какой была двенадцать лет назад, на этом самом месте, когда Нума ухаживал за ней, приносил ей огромные букеты цветов, когда она во всей прелести своих двадцати весен, еще более яркой от желания нравиться ему, смотрела из этого окна, как он направляется к их дому, и ждала его, как ожидают своей судьбы. Во всех углах и закоулках дома еще жили отзвуки его голоса — теплого, вкрадчиво нежного и всегда готового солгать. Хорошенько порывшись в папке с нотами, лежавшей на крышке рояля, можно было найти дуэты, которые они пели вместе, да и все вещи, окружавшие ее, казались ей сообщниками, помогавшими ему загубить ее жизнь. Она думала о том, чем могла бы стать ее жизнь, протекай она рядом с жизнью честного человека, верного спутника, — пусть это существование было бы не блестящим, без честолюбивых устремлений, пусть оно было бы простым, незаметным, но таким, чтобы два любящих друг друга человека могли мужественно нести горести и скорбь до конца...

Она забыла бы кручину...

Она так глубоко ушла в свои думы, что даже почти не заметила, что партия в вист окончилась и участники разошлись. Она машинально отвечала на прощальные приветствия, полные дружеского сочувствия, она не обратила внимания на то, что ее отец, вместо того чтобы проводить друзей, как это он обычно делал в любое время года и в любую погоду, сегодня принялся шагать взад и вперед по гостиной, а затем, остановившись прямо перед нею, спросил ее таким тоном, что она наконец вздрогнула и очнулась:

— Ну что же, дочка, на чем ты остановилась? Что ты решила?

— Я стою все на том же, отец.

Он подсел подле нее, взял ее руку и попытался говорить как можно убедительнее:

— Я виделся с твоим мужем... Он согласен на все... Ты будешь жить тут, у нас, пока твоя мать и сестра будут находиться в отъезде, и потом, если не сменишь гнева на милость... Но повторяю: процесс — дело немислимое. Я надеюсь, что ты его не начнешь.

Розали покачала головой.

— Ты не знаешь этого человека, отец. Он пустит в ход всю свою хитрость, чтобы опутать меня, снова завладеть мной, обвести меня вокруг пальца, да так, что я сама на это пойду и соглашусь на унижительное, недостойное существование... Твоя дочь не такая женщина... Я хочу полного разрыва, непоправимого, о котором было бы открыто заявлено всему свету.

Г-жа Ле Кенуа убирала в ящик стола карты и фишки. Не оборачиваясь, она мягко вмешалась в разговор:

— Прости ему, дочка, прости!

— Да, легко говорить тем, у кого верный муж, бесхитростный человек, кто не ощущает, как вокруг него неслышно плетется сеть лжи и измены. Я вам говорю, что он лицемер. У него две морали: одна — для шамберийской речи, другая — для Лондонской улицы... Слово вечно расходится с делом... Два языка, два лица... Кошачьи уловки, льстивая повадка его породы... Южанин — что там говорить!..

И тут порыв гнева увлек ее дальше, чем она хотела.

— Я уже один раз простила... Да, это случилось через два года после моего замужества... Я вам об этом не рассказывала, и вообще никто этого не знает... Я была очень несчастна... Тогда мы не разошлись только потому, что он дал клятву... Но он только клятвopреступлениями и живет... Теперь — кончено, кончено раз и навсегда.

Старый юрист больше не настаивал: он поднялся и подошел к жене. Они о чем-то пошептались, как будто поспорили. Станным казался этот спор между таким властным человеком, как г-н Ле Кенуа, и таким обезличенным существом, как его жена.

— Надо ей сказать... Да, надо... Скажи ты...

Не добавив больше ни слова, г-н Ле Кенуа вышел из гостиной, и из гулкой глубины опустевшего дома в торжественную тишину большой гостиной донесся его ровный, привычный шаг.

— Поди ко мне... — скавала мать, ласково потянувшись к дочери. — Ближе, еще блнже...

Она не решилась бы говорить об этом громко... И даже когда они сели и прижались друг к другу, она все еще колебалась.

— Послушай: он сам меня просил... Он просил передать тебе, что твоя участь — это участь всех женщин и что даже твоя мать ее не избежала.

Розали пришла в ужас от этого признания. В чем оно должно было состоять — об этом она догадалась с первых же слов, когда родной старческий голос, дрожащий от слез, почти нечленораздельно начал рассказывать ей печальную повесть, во всем совпадавшую с ее *историей*,

повесть о прелюбодеянии мужа в первые же годы совместной жизни. Так неужели же девиз всех несчастных существ, составляющих супружеские пары, гласит: «Обмани меня, не то я тебя обману», — и мужчина, сохраняя и тут свое превосходство, обманывает первым?

— Довольно, довольно, мама, я больше не могу!..

Ее отец, которым она так восхищалась, который в ее глазах стоял так высоко, нелицеприятный и непоколебимый судья!.. Но в таком случае что же представляют собой мужчины? И на Севере и на Юге все они одинаковы, все они изменники и клятвопреступники... Она не плакала, когда ей изменил муж, но сейчас, когда унизился отец, она почувствовала, как горячие слезы подступают к ее глазам... Вот на что рассчитывали близкие, чтобы поколебать ее решимость!.. Так нет же, тысячу раз нет, — она не простит! Значит, вот что такое брак. Позор же ему и поношение! Нечего бояться скандала и светских приличий, раз мужья только и делают, что бросают им вызов.

Мать обняла ее, крепко прижала к себе, пытаясь утихомирить мятеж этой юной души, оскорбленной в своих верованиях, в своих самых милых сердцу суевериях, — она тихо ласкала ее, словно укачивала ребенка.

— Да, ты простишь... Ты поступишь, как поступила я... Что поделаешь? Такова наша участь... В первый момент я тоже ощутила нестерпимую боль, мне тоже хотелось выброситься в окно... Но я подумала о моем ребенке, о моем бедном маленьком Андрее, который только что родился, а потом вырос и, наконец, умер, любя и уважая своих близких... И ты тоже простишь, чтобы твой ребенок обрел тот же блаженный душевный покой, который вам обеспечило мое мужество, чтобы он не был одним из тех несчастных полусирот, которых никак не могут поделить родители и потому воспитывают в ненависти и презрении друг к другу... Ты подумаешь и о том, что твой отец и твоя мать уже пострадали и что им угрожает новое тяжкое горе.

Подавленная, она умолкла. А потом заговорила снова, но уже другим, торжественным тоном:

— Дочь моя! Все беды проходят, все раны могут зажить... Одно лишь непоправимо — смерть близких людей.

Эти последние слова исчерпали их душевные силы. Но в наступившем молчании Розали ощутила, как вырастает для нее образ матери, вырастает за счет того, что терял в ее глазах отец. Она упрекала себя в том, что так долго недооценивала мать из-за ее кажущейся слабости, скрывавшей жестокие страдания, благородную и кроткую жертвенность. И вот ради нее, и только ради нее, она в самых ласковых выражениях, даже как бы прося

прощения, отказалась от мести, отказалась от процесса.

— Только не требуй, чтобы я к нему вернулась... Это был бы такой стыд... Я поеду с сестрой на Юг... А там посмотрим.

В гостиную снова вошел Ле Кенуа. Увидев, что мать в порыве радости обняла дочь, он понял, что они выиграли дело.

— Спасибо, дочка! — прошептал он, растроганный до глубины души.

Затем, чуть-чуть поколебавшись, он подошел к Розали, чтобы, как обычно, поцеловаться с нею перед сном. Прежде она всегда так ласково подставляла ему лоб, а сейчас она отстранилась, и его поцелуй скользнул по ее волосам.

— Спокойной ночи, отец.

Плечи его судорожно вздрогнули, и, понутив голову, он молча удалился... И на первого судью Франции, который столько раз в течение своей жизни обвинял и выносил приговоры, нашелся наконец судья!

XIX. ОРТАНС ЛЕ КЕНУА

Благодаря неожиданному обороту событий, столь частому в нашей парламентской комедии, заседание 8 января, где карьере Руместана предстояло, по всей видимости, столь плачевно закончиться, оказалось днем его торжества. Когда Нума поднялся на трибуну, чтобы ответить на резко сатирическое выступление Ружо по поводу руководства Оперой, неразберихи в управлении делами изящных искусств, бессмысленности реформ, о которых столько трубили журналисты, состоявшие на жалованье у министерства пономарей, он только что узнал, что жена его уехала, отказавшись от процесса, и эта приятная новость, которая была известна ему одному, придала его ответу какую-то сияющую уверенность. Он говорил то высокомерно, то развязно, то торжественно и даже намекнул на передававшуюся шепотом клевету, на ожидаемый всеми скандал:

— Никакого скандала не будет, господа!

Тон, каким это было сказано, разочаровал на трибунах, заполненных разодетыми дамами, всех любопытных красоток, охотниц до сильных ощущений, явившихся сюда поглядеть, как разорвут укротителя. От запроса Ружо остались одни клочки, Юг обольстил Север, Галлия была еще раз завоевана, и когда Руместан, выдохшийся, взмокший, безголосый, спустился с трибуны, он был до* волен и горд, ибо вся его партия, только что проявлявшая к нему почти враждебную холодность, его коллеги по кабинету, обвинявшие его в том, что он их скомпрометировал, сейчас окружили его с восторженными льстивыми приветствиями. Но, упоенный успехом, он все время помнил, что избавлением от беды он обязан отказу жены от ее иска.

Он чувствовал, что у него гора с плеч скатилась, настроение было отличное, хотелось оживленной беседы, и по возвращении из Версаля в Париж ему вдруг пришло в голову заехать на Лондонскую. О, исключительно на правах друга, чтобы успокоить бедную детку, — ведь ее не меньше, чем Нуму, тревожили последствия запроса, и она так мужественно переносила разлуку, она посылала ему нацарапанные детским почерком такие ласковые письмеца, на которых чернила просушивались косметической пудрой, и в которых она рассказывала ему о своей жизни, день за днем, и призывала к терпению и осторожности:

«Нет, нет не приходи, мой бедненький... Пиши мне, думай обо мне... Я буду тверда».

Как раа в этот вечер спектакля в Опере не было. От вокзала до Лондонской было недалеко. Нума, сжимая в руке ключ, так часто искушавший его в течение этих двух недель, все время думал:

«Как она будет счастлива!»

Он открыл дверь, закрыл ее за собой и вдруг очутился в темноте — газа не зажигали. Эта небрежность придавала домику траурный, вдовый вид, и ему это польстило. Ковер на лестнице заглушал его быстрые шаги. Никем не замеченный, он дошел до гостиной, обитой японским шелком того цвета, который так восхитительно не соответствовал поддельному золоту малюткиных волос.

— Кто там? — донесся с дивана приятный, но недовольный голосок.

— Я! Кто же еще?

Раздался крик, кто-то прыгнул с дивана, в сумерках сверкнула белизна поспешно опущенных юбок, охваченная ужасом певичка вскочила, а красавчик Лаппара, неподвижный, раздавленный случившимся, не имея даже сил привести в порядок свой туалет, устоял на цветочки ковра, чтобы не глядеть на своего патрона. Отрицать что бы то ни было не представлялось возможным. Диван еще дрожал.

— Канальи! — прохрипел Руместан, задыхаясь от ярости, с которой в человеке рычит зверь, охваченный страстным желанием не наносить удары, а кусать и терзать.

Сам не зная как, он очутился на улице, — его вынес из дому страх перед тем, что мог натворить нашедший на него приступ бешенства. Несколько дней назад, в тот же самый час, его жене тоже нанесла удар измена, но только еще более оскорбительный и подлый, еще более жестокий и незаслуженный. Однако об этом он не задумался ни на миг — он кипел негодованием из-за обиды, причиненной ему... Неслыханная гнусность! Лаппара, которого он любил, как сына, эта мерзавка, ради которой он поставил на карту свою политическую карьеру!..

— Канальи!.. Канальи!.. — повторял он вслух на пустынной улице под пробиравшим до костей мелким дождиком, который, впрочем, отрезвил его лучше самых мудрых рас суждений.

— Э, да я же промок насквозь!..

Он побежал к извозчичьей бирже на Амстердамскую и в сутолоке, возникающей в этом квартале из-за близости вокзала, столкнулся с жестким, тугим пластроном маркиза д'Эспальон.

— Bravo, дорогой коллега!.. Я не был на заседании, но мне говорили, что вы напали на них, словно бугай, и давили всех без разбора!

Под зонтом, который он держал прямо, как кирасирский палаш, у

старика чертовски весело горели глаза, а бороденка торчала так лихо, как будто в этот вечер ему здорово повезло в любви.

— Черт побери все на свете! — шепнул он на ухо Нуме таким тоном, каким обычно делаются самые интимные признания. — Вот вы действительно можете похвалиться знанием женщин!

Руместан смотрел на него подозрительно: он полагал, что маркиз иронизирует.

— Ну да, помните наш спор о любви?.. — пояснил маркиз. — Вы оказались правы... Не одни молокососы нравятся красоткам... Я сейчас такую подцепил! — Никогда еще я не был так увлечен... Тысяча чертей и одна ведьма!.. Даже в двадцать пять лет, когда только вышел из училища...

Руместан слушал все это, держась одной рукой за ручку дверцы извозчичьей кареты; ему хотелось улыбнуться старому бабнику, но вместо улыбки у него вышла страдальческая гримаса. Его взгляд на женщин только что, можно сказать, перевернулся вверх дном... Слава, гениальность — какая ерунда! Не этого они у нас ищут... Он чувствовал себя разбитым, он был полон отвращения ко всему на свете, ему сперва хотелось плакать, а потом заснуть, чтобы ни о чем не думать, а главное — не видеть дурацкой улыбки этой негодяйки, которая стояла перед ним растерзанная, и вся ее плоть словно оцетинилась и дрожала от прерванного объятия. Но часы нашей проходящей в треволнениях жизни не ждут, они набегают друг на друга, как волны. Вместо желанного отдыха, на который он рассчитывал, в министерстве его ждал новый удар — депеша, которую Межан распечатал в его отсутствие и теперь в волнении протянул ему:

«Ортанс умирает. Хочет тебя видеть. Приевжай скорее. Вдова Порталь».

У него вырвалось восклицание, в котором сказался весь его чудовищный эгоизм:

— Я теряю преданную мне душу!..

Затем он обратил внимание, что телеграмму подписала не жена, которая присутствует при агонии своей сестры, а тетюшка Порталь. Враждебность ее не смягчилась и, наверно, не смягчится никогда. Но если бы она только захотела, с какой готовностью он возобновил бы совместную жизнь — ведь теперь он отрекся от безрассудных, безумных увлечений, теперь он будет семьянином — честным, почти строгим семьянином. Не думая о содеянном им зле, он упрекал жену за ее суровость, он считал, что она к нему несправедлива. Ночь он провел за корректурой своей речи, но не раз отрывался и набрасывал черновики писем то гневных, то иронических, то рычавших, то свистевших — писем этой мерзавке, Алисе Башельри.

Межан тоже бодрствовал в своем секретариате — у него болела душа за Ортанс, и он искал забвения в непрерывном труде. Соседство с ним подмывало Нуму поведать ему о своем разочаровании, и для него было настоящей пыткой, что он не мог этого сделать: тогда уж надо было признаться, что он там был, расписаться в том, что он попал в смешное положение.

В конце концов он все же не удержался. Утром, когда правитель канцелярии провожал его на вокзал, он наряду с другими поручениями дал ему указание уволить Лаппара.

— Будьте спокойны: он к этому готов... Я имею неопровержимое доказательство самой черной неблагодарности с его стороны... Как подумаю, сколько я ему сделал добра!.. Ведь я даже хотел...

Тут он осекся... Не рассказывать же человеку, влюбленному в Ортанс, что он дважды обещал ее руку двум разным лицам! Не вдаваясь в подробности, он заявил, что не желает видеть в министерстве такого безнравственного человека. Вообще двуличность вызывает в нем безграничное отвращение. Всюду неблагодарность, эгоизм. Право, хочется все послать к черту: почести, дела, бежать из Парижа и стать сторожем маяка на какой-нибудь дикой скале среди волн морских...

— Вы просто не выспались, дорогой патрон... — спокойно заметил Межан.

— Нет, нет... Я не преувеличиваю... Меня тошнит от Парижа.

Стоя на платформе у отходящего поезда, он с презрительным видом повернулся лицом к столице, куда провинция извергает всех своих честолюбцев, ненасытных охотников за счастьем, всю свою накипь, а потом обвиняет большой город в извращенности, в испорченности. Внезапно Нума прервал поток своего красноречия и горько рассмеялся.

— И еще этот! Он мне проходу не дает!

На углу Лионской улицы, на высокой серой стене, прорезанной подслеповатыми оконцами, на высоте второго этажа красовался жалкий трубадур, настолько вылинявший от зимней влаги и от нечистот, выплескиваемых населенным беднотой домом, что теперь он представлял собой лишь отвратительное сочетание синих, желтых и зеленых подтеков, в котором можно было еще разобрать фигуру тамбуринщика в претенциозной победоносной позе. Парижская реклама живо заклеивает одни афиши другими. Но когда афиша таких огромных размеров, как эта, какой-нибудь ее клочок почти всегда вылезает из-под новой. В течение двух недель во всех концах Парижа министру беспрестанно попадались на глаза то рука, то нога, то кончик берета, то задранный носок ботинка — они

преследовали его, угрожали ему, подобно тому, как в провансальской легенде каждый кусок рассеченного и разбросанного в разных местах тела жертвы вызывает о мщении убийце. Но здесь в это холодное утро фигура жертвы предстала ему во всей целостности: зловеще размалеванная, она, прежде чем рассыпаться в прах и развеяться по ветру, обречена была покрываться пятнами грязи разных цветов и оттенков, и это как бы символизировало участь несчастного трубадура, обреченного до конца своих дней болтаться на дне Парижа. Теперь он уже не мог покинуть его, он отбивал на своем тамбурине такт для все пополняющейся фарандолы деклассированных, оторвавшихся от родины безумцев, ненасытных искателей славы, которых ожидают больница, общая могила или анатомический театр.

До костей продрогнув и от страха перед этим видением и от бессонной ночи, Руместан сел в вагон. В окне проплывал унылый пейзаж предместья: железные мосты над мокрыми от дождя улицами, высокие дома — эти казармы нищеты с бесчисленными окнами, на которых были развешены всевозможные лохмотья, человеческие фигуры, появляющиеся на улицах ранним утром, изможденные, угрюмые, безобразные, сжимающие руками грудь, чтобы скрыть ее или согреть, гостиницы с вывесками под самой крышей, лес фабричных труб, выплевывающих из своих жерл низко стелющийся дым. Потом показались первые фруктовые сады пригорода с их черной от перегноя землей, низкие домики из самана, заколоченные на зиму дачи в глубине садилов, кажущихся зимой особенно маленькими, садилов, где голые кусты словно так же сухи, как дерево беседок и трельяжей, не прикрытое зеленью ползучих растений. А еще дальше разбитые дороги с лужами в рытвинах, по которым двигались одна за другой повозки, накрытые мокрым насквозь брезентом или парусиной, горизонт какого-то ржавого цвета и стаи ворон над пустынными полями.

Удручающее зрелище северной зимы, на которую словно жаловались протяжные, отчаянные крики паровоза, заставило Руместана закрыть глаза, но и за смежившимися веками мысли у него были отнюдь не веселые. Сейчас он находился еще слишком близко от этой мерзавки, узы, связывавшие его с ней, уже распускались, но все еще сжимали ему сердце, и он думал обо всем, что сделал для нее, о том, чего стоило ему полгода содержать эту «звезду». В театральной жизни все фальшь, особенно успех, стоящий только денег, за которые его покупают. Расходы на клаку, контрамарки, обеды, приемы, подарки репортерам, все виды рекламы, роскошные букеты, при виде которых растроганная артистка краснеет, обеими руками прижимая их к обнаженной груди, к атласу своего платья...

А овации во время гастролей, шумные проводы в гостиницу, серенады под балконом, непрерывное подстегивание уныло-равнодушной публики — за все это надо платить, и притом очень дорого.

В течение полугода он держал открытым ящик с деньгами, не скупясь на триумфы малютке. Он присутствовал на совещаниях с главарем клаки, с газетчиками, ведавшими рекламой, договаривался с цветочницей, которой певичка со своей мамашей перепродавали букеты, не говоря ему об этом ни слова и по три раза меняя ленты на одних и тех же цветах, ибо этим бордоским еврейкам свойственны были грязная алчность, скопидомство, и они могли целые дни проводить у себя дома в лохмотьях, в ночных кофточках, которые они надевали поверх юбок с оборками, обутые в стоптанные бальные туфли, и чаще всего Нума заставлял их именно в таком виде, — они играли в карты и переругивались друг с другом, словно обитатели циркового фургона. С ним уже давно перестали стесняться, он знал все их ухищрения, все ужимки дивы, ее врожденную грубость жеманной и нечистоплотной южанки. Знал, что она на десять лет старше своего театрального возраста, что, желая закрепить свою улыбку в виде «лука Амура», она каждый вечер, укладываясь спать, приподнимала углы рта и мазала губы помадой.

С этими мыслями он и сам в конце концов заснул, но, смею вас уверить, отнюдь не с улыбкой в виде «лука Амура», напротив — черты лица его осунулись от усталости, отвращения, все тело содрогалось от толчков скорого поезда, который мчался все быстрее, раскачиваясь и с металлическим скрежетом подскакивая на рельсах.

— Баланс!.. Баланс!..

Он открыл глаза, как ребенок, которого зовет мать. Это уже начинался Юг, между гонимыми ветром облаками открывались синие бездны. Оконное стекло разогрелось от солнечного света, за окном среди сосен белели тощие маслины. Во всем его впечатлительном существе южанина наступило некое успокоение, все его помыслы притягивал уже другой полюс. Сейчас он жалел, что так сурово обошелся с Лаппара. Испортить жизнь бедному малому, огорчить целую семью — из-за чего? «Чушь собачья!» — как сказал бы Бомпар. Лишь одним способом можно было это исправить: снять с его ухода из министерства характер опалы пожалованьем крестика. Министр рассмеялся при мысли о том, как в «Офисьель» в списке награжденных появится имя Лаппара с мотивировкой «За особые заслуги». Впрочем, и в самом деле немаловажной заслугой с его стороны было избавить начальника от унижительной связи.

Оранж!.. Монтелимар, родина нуги!.. На платформе заливались

звонкие голоса, фразы сопровождалась быстрой жестикуляцией. Официанты из буфета, продавцы газет, контролеры у входа и выхода — все с вытаращенными глазами куда-то мчались. Это был совсем другой народ, чем на тридцать миль к северу. Рона, широкая Рона, на которой вздувались волны, словно на море, сверкала на солнце, золотившем зубчатые башни Авиньона, где колокола, которые раскачивались здесь со времен Рабле, приветствовали теперь своим чистым звоном великого уроженца Прованса. Нума сел в буфете за столик, — перед ним очутились маленькая булочка, кусок горячего пирога с хрустящей корочкой, и бутылка вина из гроздий Нерты, созревших между камнями, — вина, способного даже речи парижанина придать акцент провансальских равнин.

Но особенно подбодрил его родной воздух, когда он пересел в Тарасконе на боковую ветку, однокольную, патриархальную, проникающую в самое сердце Прованса, и поезд побежал между ветвями шелковиц и маслин, между метелками разросшегося дикого камыша, скользкими по стеклам вагонов. Пассажиры распевали во все горло, состав то и дело останавливался — пропустить стадо, принять запоздавшего или пакет, с которым бежал к поезду мальчик из ближайшего *маса*. Пассажиры обменивались приветствиями, перекидывались парой слов с какой-нибудь фермершей в арльском чепчике, стоявшей на пороге своего дома или занятой стиркой на широком камне у колодца. На станциях поднимались крик и толкотня — вся деревня сбегалась провожать новобранца или девицу, уезжавшую в город в услужение.

— Ну-ну! Мы не прощаемся, девчурка... Будь молодцом, чего там!

Люди плачут, целуются, не обращая внимания на нищенствующего монаха в капюшоне, который бормочет «Отче наш», опираясь локтями о барьер, а затем, так ничего и не получив, перекидывает через плечо свою сумку и в бешенстве удаляется.

— Еще одно «Отче наш» впустую!

Окружающие слышат эти его слова и, так как слезы у них уже высохли, громко хохочут, а громче всех — сам рясофорный.

Забившись в угол купе, чтобы избежать оваций, Руместан наслаждался всем этим весельем, наслаждался видом загорелых горбоносых лиц с выражением то страстным, то ироническим, видом долговязых хлыщеватых парней, юных *като*^[47] с золотистым, как на продолговатых ягодах муската, румянцем, которые, состарившись, превратятся в черных, иссушенных солнцем бабок, словно отряхивающих могильную пыль при каждом взмахе своих морщинистых рук. И — *ух ты!* И — *чего там!* И — *пошел, пошел!* Он вновь обретал свой народ, своих подвижных, нервных

провансальцев — племя коричневых сверчков, вечно торчащих на порогах своих домов и всегда что-нибудь напевающих.

Да и сам он был воплощением этой породы, он уже излечился от отчаяния, охватившего его поутру, от своего отвращения ко всему и ко всем, от своей любви — все это смел первый порыв мистралья, который из всех сил завывал в долине Роны, приподнимая колеса поезда, не давая ему двигаться вперед, все гоня перед собой — деревья, склонявшиеся так низко, словно они хотели убежать, цепь Альпин на горизонте, словно отступавших перед ним, солнце, на которое внезапно набегали облака. А вдалеке уже виднелся город Апс, который то освещался солнцем, то на миг погружался в тень, — его здания теснились под древней башней Антоиинов, словно стадо быков на полях Камарги, сгрудившееся вокруг самого старого бугая, чтобы легче было противостоять порывам ветра.

Под звуки грандиозных фанфар мистралья Нума подъехал к перрону. Семья — как и он сам — считала, что при данных обстоятельствах его приезд надо оставить в секрете и тем самым избежать любительских оркестров, знамен и торжественных депутаций. Встречала его только тетушка Порталь — она величественно восседала в кресле начальника станции, поставив ноги на грелку. Едва она увидела племянника, как румяное и безмятежно спокойное лицо этой полной дамы приняло огорченное выражение и словно как-то вспухло под седыми буклями, протянув племяннику обе руки, она разразилась жалобами и рыданиями.

— Вот беда-то, вот беда!.. Такая красotka!.. И такая славная!.. И такая ласковая!.. Да для нее последний кусок хлеба изо рта вынешь!

«Боже мой! Значит, уже все кончено?..» — подумал Руместан, сразу вспомнив о цели своей поездки.

Внезапно тетка прервала свои причитания, и вполне хладнокровным, даже несколько суровым тоном сказала слуге, позабывшему о грелке:

— Меникль! Скамеечку!

После этого, сразу же взяв тон женщины, не помнящей себя от горя, она принялась подробно перечислять добродетели мадемуазель Ле Кенуа, громогласно требуя от неба и его ангелов ответа — почему вместо этой девочки они не взяли на тот свет ее, и при каждой новой жалобе дергала руку Нумы, на которую опиралась, идя к своей старой карете медленным, как на похоронах, шагом.

На улице Бершер под голыми деревьями мистраль крутил обломанные сухие ветки и кору, швыряя этим жестким мусором в именитого путешественника. Лошади двигались медленно, и на том углу, где носильщики обычно выпрягали их, Мениклю пришлось несколько раз

хлопнуть кнутом — настолько были, видимо, удивлены эти животные всеобщим равнодушием к приезду великого человека.

А Руместан думал только об этой ужасной новости. Схватив пухлые ручки тетушки, утиравшей глаза, он тихо спросил:

— Когда же это случилось?

— Что случилось?

— Когда же скончалась наша бедная малютка?

Тетушка Порталь так и подскочила на набитых волосом подушках:

— Скончалась?.. Господи батюшка! Кто тебе сказал, что она умерла?..

Но тут же добавила, глубоко вздохнув:

— Только она, правда, недолго протянет!

О да, недолго, очень недолго! Теперь она уже не вставала с постели, обложенная кружевными подушками, на которых ее маленькая исхудавшая головка с каждым днем становилась все неузнаваемей; на щеках у нее пылали пятна лихорадочного румянца, под глазами и у ноздрей темнела синева. Руки цвета слоновой кости покоились на батистовых простынях, рядом лежала маленькая гребенка и зеркальце, чтобы время от времени она могла расчесывать свои длинные каштановые волосы. Она по целым часам не промывала ни слова из-за мучительной хрипоты и лежала, устремив взгляд на макушки деревьев, на небо, сиявшее над старым садом Порталей.

В этот вечер она так долго не двигалась, задумавшись в заливавшем комнату алом закатном свете, что сестра ее встревожилась:

— Ты уснула?

Ортанс покачала головой, словно отгоняя от себя что-то:

— Нет, я не спала. И все же видела сон... Мне снилось, что я вот-вот умру. Я была на самой границе этого света и уже наклонялась к тому, да так наклонялась, что еще немножко — и упала бы... Я еще видела тебя и кое-что в комнате, но, в сущности, я уже находилась по ту сторону, и меня особенно удивляла тишина в мире живых по сравнению с шумом в царстве мертвых — это было словно жужжание улья, словно хлопанье крыльев, словно кишение муравейника, словно гул, который море оставляет в глубине крупных раковин. Как будто там, у мертвых, очень людно, еще больше, чем в жизни... И шум был такой громкий, что мне казалось, будто я впервые обрела дар слышать, будто у меня появилось какое-то совсем новое чувство.

Она говорила медленно, звуки вылетали у нее из горла с хрипением и свистом. Помолчав немного, она продолжала с той угасающей живостью, на какую еще может быть способен расстроенный, разбитый музыкальный инструмент:

— Все те же блуждания ума... Первая награда за воображение — Ортанс Ле Кенуа из Парижа!

Послышалось чье-то рыдание, тотчас же приглушенное стуком закрывавшейся двери.

— Вот видишь... — сказала Розали. — Это мама вышла... Ты ее огорчаешь...

— Нарочно... Каждый день понемногу... Чтобы потом ей уже не пришлось так сильно горевать, — прошептала девушка.

По всем длинным коридорам старинного провансальского дома носился мистраль, жалобно свистел под дверьми, порой яростно сотрясал их.

Ортанс улыбалась.

— Слышишь?.. Я это люблю... Кажется, что находишься далеко... в чужих странах! Бедняжечка ты моя! — прибавила она, взяв руку сестры и усталым движением поднося ее к губам. — Какую злую шутку я невольно сыграла с тобой!.. По моей вине твой малыш родится на Юге... Ты, французанка, мне этого никогда не простишь.

Сквозь вой ветра до нее донесся гудок паровоза. Она вздрогнула.

— А, семичасовой поезд!

Как все больные, как все заключенные, Ортанс различала в своем окружении малейшие шумы и звуки — они становились частью ее неподвижного существования, подобно горизонту, который она могла видеть с кровати, подобно сосновым рощам и древней продырявленной римской башне на склоне холма. С этого момента ее охватило беспокойство, какое-то особенное возбуждение, она то и дело поглядывала на дверь. Наконец появилась горничная...

— Ну вот и хорошо!.. — с живостью произнесла Ортанс и улыбнулась старшей сестре. — Выйди на минутку, ладно?.. Я тебя повову.

Розали подумала, что к Ортанс должен айти священник со своей приходской латынью и устрашающими утешениями. Она спустилась в сад — в один ив часто встречающихся на Юге садов, без цветов, с аллеями, окаймленными кустиками самшита, с высокими, не боящимися никаких ветров кипарисами. С тех пор как она превратилась в сиделку, Розали именно сюда приходила дышать свежим воздухом, плакать без свидетелей, разряжать то нервное напряжение, которого стоили ей усилия скрывать свою муку. О, как понятны стали ей слова матери:

«Есть лишь одно непоправимое несчастье — потерять тех, кого любишь».

Все ее горести, ее разбитое женское счастье — все стусевалось. Она

думала только об одном — о том ужасном и неизбежном, что приближалось с каждым днем. Но отчего сейчас ей особенно тяжело? От вечернего часа, от красного уходящего солнца, покинувшего потемневший сад, но еще озаряющего стекла окон, от жалобно стонущего ветра, который дует поверху, так что его слышишь, не ощущая? В этот миг она переживала особенно острую, невыразимую печаль и тоску. Ортанс, ее Ортанс!.. Она ей больше чем сестра, почти дочь, с ней связаны первые радости преждевременно проснувшегося материнского чувства... Сухие рыдания душили ее. Ей хотелось кричать, звать на помощь, но кого? Небо, куда устремляет взор отчаяние, было таким высоким, таким далеким, таким холодным, словно его отполировал ураган. В небе проносилась лишь стая перелетных птиц, но сюда не доносились ни их крики, ни шум крыльев, звеневших, как надутые ветром паруса. Может ли чей-то голос с земли достичь этих немых, равнодушных глубин?

Все же она сделала попытку и, обратив лицо к свету, который поднимался все выше и исчезал даже с конька старой кровли, стала молиться тому, кто счел за благо спрятаться от нас, укрыться от наших страданий и наших жалоб, кому одни доверчиво поклоняются, распростершись на земле, кого другие только ищут, иступленно раскинув руки, кому, наконец, третьи мятежно грозят сжатыми кулаками, отрицая его бытие для того, чтобы простить ему жестокость к людям. Ведь даже это кощунство, это отрицание — тоже своего рода молитва...

Ее позвали. Она бросилась к дому, дрожа всем телом, — она дошла уже до той степени тревоги и страха, когда малейший звук отдается во всех тайниках нашего существа. Больная привлекла сестру к кровати одной лишь улыбкой — ни сил, ни слов у нее сейчас не было. Можно было подумать, что она перед этим очень долго говорила.

— У меня к тебе большая просьба, дорогая моя... Как бы это тебе сказать? Последнее желание приговоренного к смертной казни... Прости своего мужа. Он поступил с тобой гадко, недостойно, но будь снисходительна, вернись к нему. Сделай это для меня, моя старшая, для наших родителей — они так огорчены вашим разрывом, а им очень скоро понадобится поддержка близких, сочувствие и ласка. В Нуме столько жизни, он один сумеет хоть немного подбодрить их... Теперь вашей размолвке конец, ведь правда? Ты простишь?..

Розали ответила:

— Обещаю...

Пожертвовать своей гордостью — это такой пустяк, когда надвигается непоправимое. — Стоя у кровати, она на миг закрыла глаза, чтобы не дать

пролиться на вернувшимся слезам. Чья-то дрожащая рука легла на ее руку... Перед нею стоял он, взволнованный, жалкий, трепещущий от порыва, которому не осмеливался дать выход.

— Поцелуйтесь!.. — проговорила Ортанс.

Роаали подставила лоб, и Нума робко коснулся его губами.

— Нет, нет!.. Не так!.. Обнимитесь... как обнимаются, когда любят...

Он схватил жену обеими руками и крепко прижал к себе с протяжным рыданием, а просторная комната уже погружалась в темноту из жалости к той, что бросила их в объятия друг к другу. Это было последним проявлением ее интереса к жизни. Затем она ушла в себя, рассеянная, безразличная ко всему, что происходило подле нее, не отзываясь на горе расстававшихся с нею — на это ведь и нечего ответить, — и с ее юного личика не сходило выражение глухой, надменной враждебности, свойственной тем, кто умирает, еще пылая жаждой жизни, еще не изведав всех ее разочарований.

XX. КРЕСТИНЫ

Базарный день — самый важный в Апсе — приходится на понедельник.

Задолго до рассвета на дорогах, ведущих к городу, на больших, безлюдных дорогах — Арльской и Авиньонской, где слой белой пыли обычно неподвижен, словно только что выпавший снег, начинается движение и шум: скрип повозок, кудахтанье кур в дощатых клетках, лай бегущих вдоль обочины собак, подобный ливню топот овечьего стада, над которым, словно на гребне вздымающейся волны, колышется длинная рубаха пастуха. Тяжело дыша, спешат за своими волами и кричат на них погонщики, раздаются глухие удары дубин по шероховатым бокам скотины, вырисовываются очертания всадников, вооруженных трезубцами, и все это вливается в городские ворота, своими зубчатыми башнями вонзающиеся в звездное небо, все это растекается по широкому Городскому кругу, опоясывающему спящий город, который в это время суток вновь обретает черты древнего римского или сарацинского города с неровными крышами, с остроконечными, забранными мелкой решеткой оконницами над выщербленными и расшатанными каменными ступенями лестниц. Вся эта смутно кишачая в темноте масса людей и животных без особого шума располагается между серебристыми стволами огромных платанов, выплескивается на полотно дороги, во дворы ближних домов, и от нее плывут теплый запах подстилки, сладкий дух трав и спелых плодов. И, проснувшись поутру, город видит, что им завладел рынок — громадный, оживленный, шумный, словно ночное наводнение подняло и прибило сюда весь сельский Прованс — людей, скот, плоды, зерно.

И тогда взору открывается чудесное, меняющееся в зависимости от сезона зрелище богатств земли. В местах, предназначенных для этого по обычаю незапамятной давности, на лотках или прямо на земле грудями, скирдами громоздятся в несметном количестве апельсины, гранаты, золотистая айва, рябина, зеленые и желтые дыни, стоят большие дорожные корзины, наполненные доверху персиками, инжиром, виноградом, и тут же рядом — мешки с овощами. Барашки, козлята, шелковистые розовые поросята со скучающим видом выглядывают из-за ограды своих загонов. Волы — по двое под одним ярмом — выступают впереди своего покупателя; быки с дымящимися ноздрями стараются оторваться от железного кольца в стене, к которому они привязаны. Подальше — лошади,

некрупные камаргские лошадки выродившейся арабской породы, подсакивают, машут своими темными, белыми или рыжими гривами, бегут, слышав свое имя: «Люцифер!.. Эстерель!..», — поест овса из рук погонщиков, этих настоящих гаучо южноамериканских пампасов, в сапогах выше колен. Потом домашняя птица — куры и цесарки, связанные по две за свои красные лапки: они лежат у ног усевшихся в ряд продавщиц и бьют крыльями о землю. Потом рыбные ряды: живые угри на подстилке из укропа, форель из Сорги и Дурансы, она умирает в радужных переливах своей чешуи. Наконец, совсем в отдалении, сухим зимним лесом торчат между плугами и боронами деревянные лопаты, вилы, грабли, белея еще свежим деревом, с которого только-только содрали кору.

По ту сторону Городского круга, у крепостной стены, выстроились распряженные повозки двумя рядами дуг, брезентовых верхов, высоких остовов, запыленных колес. В свободном пространстве между торгующими рядами и повозками толчется толпа народа, с трудом передвигаясь в тесноте: все окликают друг друга, торгуются, спорят с самыми разными акцентами — провансальским, утонченным и жеманным, который словно требует быстрых движений головой и плечами, оживленной мимики лица, лангедокским, более твердым, жестким, с почти испанской артикуляцией гласных. Время от времени весь этот водоворот фетровых шляп, арльских или венсенских чепцов, вся толчея покупателей и продавцов раздвигается от криков возницы с запоздавшей двуколки, которая может двигаться только шагом, с величайшим трудом пробиваясь сквозь толпу.

В этой толпе очень мало горожан — они полны презрения к вторжению деревенщины, хотя оно способствует и благосостоянию города и его живописности. Крестьяне с утра до вечера бродят по улицам, останавливаются у мастерских шорников, сапожников, часовщиков, смотрят, как на башне ратуши механический человек отбивает часы, разглядывают витрины магазинов, восхищаются позолотой и зеркалами многочисленных кафе, как восхищались пастухи Феокрита дворцом Птолемея.^[48] Одни выходят из аптек, нагруженные свертками и большими бутылками; другие — целая свадебная процессия — заходят к ювелиру, чтобы после искусного торга остановить свой выбор на серьгах с длинными подвесками или шейной цепочке для невесты. Жадная деловитость этих покупателей, их загорелые дикие лица, грубая одежда — все наводит на мысль о каком-нибудь городе в Вандее, захваченном шуанами во время гражданской войны.

Нынче утром, в третий понедельник февраля месяца рынок был особенно оживлен, народу на рынке было не меньше, чем в самые погожие

летние дни, о которых напоминало уже пригревавшее солнце в безоблачном небе. Люди собирались кучками, разговаривали, размахивали руками, но речь шла не столько о купле-продаже, сколько о некоем событии, из-за которого и торговля шла вяло: все взоры, даже большие глаза быков, даже чуткие уши камаргских лошадок были обращены к церкви св. Перпетуи. На базаре распространился вызвавший необыкновенное волнение слух, будто сегодня крестят сына Нумы, маленького Руместана, который родился три недели тому назад — весть о его появлении на свет встречена была с живейшей радостью в А псе и на всем провансальском Юге вообще.

К сожалению, крестины, задержавшиеся из-за траура в семье, должны были по тем же соображениям благопристойности происходить без всякой огласки и связанного с ней шума. И если бы о них не пронюхали старые колдуньи на Бо, которые рассаживаются каждый понедельник на ступенях церкви св. Перпетуи, предлагая покупателям душистые травы и ароматичные сушеные лекарственные растения, собранные на склонах Альпин, церемония крестин так и прошла бы никем не замеченной. Завидев остановившуюся у главного входа в церковь карету тетушки Порталь, старые торговки травами оповестили продавщиц чеснока, обходивших весь городской круг с висевшими у них на руках лоснящимися тяжелыми четками из чесночных головок. Те предупредили торговок рыбой, и вскоре улочка, ведущая на церковную площадь, отсосала с рынка почти всю шумевшую там толпу. Народ тесным кольцом окружил Меникля, а тот в траурной ливрее с черными креповыми лентами на рукаве и на шляпе, приосанившись, восседал на козлах и на все расспросы молча и равнодушно пожимал плечами. Тем не менее все упорно чего-то ждали: под коленкоровыми полотнищами, протянутыми поперек торговой улицы, любопытные теснились и давили друг друга, смельчаки взбирались на тумбы, все взоры были устремлены на двери главного входа, и наконец она отворилась.

Раздалось громкое «ах!», торжественное, четкое, какое можно услышать во время фейерверка. Однако оно сразу же замерло, как только из церкви вышел высокий старик в черном — вид у него был удрученный, крестному отцу не подобающий. Он вел под руку г-жу Порталь, гордую тем, что она стала кумой первого председателя апелляционного суда и что теперь их имена записаны рядом в церковно-приходской книге, но тоже опечаленную недавним, грустным событием и печальными воспоминаниями, навеянными этой церковью. Толпа была явно разочарована при виде этой невеселой пары, за которой следовал, тоже в черном сюртуке и в черных перчатках, великий гражданин Апса,

продрогший от безлюдья и холода на крестинах в церкви, которую освещали четыре свечи и где хор и орган заменял отчаянный крик младенца, ибо латинские фразы, произносившиеся во время таинства, и святая вода, которой полили его темечко, как у ошипанного птенца, произвели на малыша крайне неприятное впечатление. Однако, когда появилась дебелая кормилица, мощная, грузная, до того разукрашенная лентами, что казалось, ей только что выдали премию на сельскохозяйственной выставке, и когда все увидели сверкающий белизной, вышитый, утопающий в кружевах конвертик, который свисал у нее через плечо на ленте и который она поддерживала обеими руками, уныние зрителей рассеялось. Толпа снова издала такой крик, словно в небо взлетела ракета, и этот радостный гром тотчас же рассыпался бесчисленными восторженными восклицаниями:

— *Lou vaqoi!* Вот он!..

Пораженный этим столпотворением, Руместан остановился на высокой паперти, жмурясь от яркого солнца, и с минуту разглядывал эти смуглые лица, эту густую, черную, волнующуюся толпу, от которой к нему поднимался порыв исступленной любви. И хотя он давно привык к овациям, сегодняшняя оказалась одним из самых сильных моментов в его жизни — жизни общественного деятеля; он ощущал горделивое упоение, облагороженное новым для него и уже радостно трепещущим в нем отцовским чувством. Он хотел было обратиться к толпе с речью, но потом решил, что паперть — место для этого не подходящее.

— Садитесь, няня... — обратился он к спокойной бургундке, которая смотрела на толпу широко открытыми от изумления глазами, как у молочной коровы, и пока она залезала со своей легкой ношей в карету, он дал Мениклю распоряжение ехать домой кратчайшим путем. В ответ раздался мощный хор протестующих голосов:

— Нет, нет!.. По Городскому кругу!.. По Городскому кругу!

Это означало, что надо ехать вдоль всего базара.

— Ладно, по кругу, так по кругу! — сказал Руместан, переглянувшись с тестем, которого он хотел избавить от буйного веселья толпы, и карета, тяжело кряхтя всем своим старым остовом, двинулась по церковной улице, потом свернула на Городской круг под громогласное «ура!» народа, который разжигал себя своими же собственными криками и в буйном порыве восторга мешал двигаться и лошадям и колесам. Карета с опущенными стеклами следовала среди приветственных кликов, поднятых шляп, развевавшихся в воздухе носовых платков и время от времени налетавших теплых запахов рынка. Женщины прижимались горячим

бронзовым лбом к окну кареты и, разглядев только чепчик малыша, восклицали:

- Ах ты господи, какой красавец!..
- Вылитый отец, а?
- Такой же бурбонский нос и та же обходительность...
- Ну покажись, ну покажись! Ведь ты уже настоящий мужчина.
- Хорошенький, словно яичко!..
- Малюсенький — в стакане с водой проглотишь!..
- Сокровище ты мое!..
- Птенчик!..
- Ягненочек!..
- Цыпленочек!..
- Жемчужинка!..

И они обволакивали его, облизывали черным пламенем своих глаз. А младенец нисколько их не боялся. Разбуженный шумом, он лежал на подушке с розовыми бантами и смотрел своими кошачьими глазками с расширенными неподвижными зрачками. В уголках его ротика белели капли молока. Он был совершенно спокоен, ему, видимо, нравились лица, заглядывавшие в карету, и все усиливавшиеся крики, к которым вскоре примешались бляенье, мычанье, визг животных, охваченных нервным возбуждением и потребностью подражать людям: они вытягивали шеи, открывали рты, разевали пасти во славу Руместана и его отпрыска. Даже в тот момент, когда сидевшие в карете взрослые затыкали себе уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки, крошечный человечек проявлял полнейшую невозмутимость, и его хладнокровие развеселило даже старого юриста.

— Он просто рожден для форума!.. — заметил г-н Ле Кенуа.

Взрослые надеялись, что, миновав базар, они избавятся от толпы, но она неотступно следовала за ними, и в нее вливались ткачи с Новой улицы, плетельщицы, носильщики с улицы Бершер. Торговцы выбегали на пороги лавок, балкон Клуба Белых наполнялся народом, вскоре на прилегающих улицах показали члены хоровых кружков со знаменами, послышалось пение, заиграли фанфары — совсем как по случаю приезда Нумы, только сейчас все было веселее и непосредственнее.

В самой лучшей комнате дома Порталей, в которой белые панели и шелковая обивка с орнаментом в виде языков пламени насчитывали не меньше ста лет, сказали, вытянувшись на шезлонге и беспрестанно переводя взгляд с пустой колыбели на пустынную, залитую солнцем улицу, с нетерпением ждала, чтобы ей поскорей вернули ребенка. По тонким

чертам ее бескровного лица с явными следами изнеможения и слез, но и с печатью блаженного успокоения, можно было прочесть историю ее жизни за последние несколько месяцев — разрыв с Нумой, смерть Органс и, наконец, рождение ребенка, которое сразу все сгладило. Когда ей дано было это величайшее счастье, она на него уже не рассчитывала — слишком много ударов пришлось ей перенести, и она уже считала себя неспособной произвести на свет живое существо. В последние дни беременности ей даже стало казаться, что она больше не ощущает в своем чреве нетерпеливых толчков маленького пленника. И она из суеверного страха прятала подальше и колыбель и уже готовое приданое для новорожденного, показав тайник только прислуживавшей ей англичанке: «Если у вас спросят одежду для ребенка, вы будете знать, где она находится».

Долгие часы терзаться на ложе пыток, стиснув зубы и закрыв глаза, каждые пять минут издавать душераздирающий крик, от которого никак не удержишься, смиряться с участью жертвы, которая должна дороге платить за любую радость, — все это еще ничего, если в конце испытаний тебе сияет надежда. Но если ждешь величайшего разочарования, последней муки, когда к почти животным крикам женщины должны примешаться рыдания обманутой в своих надеждах матери, — какая это ужасная пытка! Полумертвая, окровавленная, она, теряя сознание, все повторяла: «Он мертвый... мертвый...» И вдруг услышала пробу голоса, первый крикливый вздох, первый призыв к свету, который вырывается у рождающегося ребенка. И с какой переливающейся через край нежностью она ответила на голос ребенка:

— Малыш ты мой!

Он был жив. Ей принесли его. Оно принадлежало ей, это крошечное существо, еще не умевшее глубоко дышать, ничего не смыслившее, почти слепое. Этот комочек плоти вновь привязывал ее к жизни, и ей стоило только прижать его к себе, чтобы весь лихорадочный жар ее тела растворился в ощущении целительной свежести. Нет больше ни скорби, ни горестей! Вот он, ее ребенок, ее мальчик, — она так хотела его, так тосковала о нем целых десять лет, из-за него глаза ей обжигали слезы, едва она бросала взор на чужих детей, — вот он, малыш, которого она заранее целовала, так часто целуя другие розовые щечки! Он был тут, с ней, и она заново переживала и восторг и удивление каждый раз, когда, лежа, наклонялась над колыбелькой и раздвигала кисейный полог над неслышно дышавшим во сне, зябко съезжившимся новорожденным., Ей не хотелось расставаться с ним ни на одно мгновение. Когда его выносили на прогулку, она беспокоилась, считала минуты, но никогда еще не испытывала такой

тревоги, как нынче, в день крестин.

— Который час?.. — спрашивала она ежесекундно. — Как они там долго!.. Господи, когда же наконец!..

Оставшаяся с дочерью г-жа Ле Кенуа успокаивала ее, но сама тоже беспокоилась, ибо этот внук, первый, единственный, стал бесконечно дорог сердцу бабки и деда, стал лучом надежды в их трауре.

Отдаленный шум, который, приближаясь, превращался в рокот, еще усиливал тревогу женщин. Кто-то подходит к окну, прислушивается. Песни, стрельба, крики, колокольный звон. Наконец, англичанка, выглянув на улицу, пояснила: — Сударыня! Это же крестины!..

Да, этот шум, как во время мятежа, этот вой людоедов вокруг столба пыток — это и были крестины.

— О Юг. Юг! — в ужасе повторяла молодая мать. Она боялась, как бы в восторженной суматохе не придушили ее малыша.

Но нет! Вот он, живой, великолепный, вот он размахивает ручонками, тарачит глаза, на нем длинное крестильное платье, на котором Розали сама вышивала фестоны, к которому пришивала кружева, — платьице того, не родившегося первенца.

И сейчас у нее два мальчика в одном, оба — и мертвый и живой — принадлежат ей.

— За всю дорогу он хоть бы раз крикнул, хоть бы раз потянулся к груди, — объявляет тетушка Порталь и в свойственной ей живописной манере начинает рассказывать о триумфальном путешествии через весь город, а в это время в старом особняке, снова дрожащем от оваций, хлопают двери и слуги бегом несутся в сени — там музыкантов потчуют «шипучкой». Гремят фанфары, дрожат оконные стекла. Старики Ле Кенуа ушли в сад, подальше от этого нестерпимого для них веселья. А Нума собирается говорить с балкона, и тетушка Порталь и англичанка Полли спешат в гостиную послушать его речь.

— Барыня! Подержите чуточку малыша!.. — говорит мамка, любопытная, как дикарка, а Розали счастлива, что ей можно побыть одной, подержать на коленях ребенка. Из окна ей видно, как переливается золотое шитье знамен, как смыкается толпа, внимающая речи своего великолепного соотечественника. До нее долетают отдельные слова Нумы, но лучше всего доносится тембр этого чарующего, завораживающего голоса, и ее пробирает мучительная дрожь при воспоминании о том зле, которое причинило ей это всегда готовое на ложь и обман красноречие.

Но теперь с этим покончено. Теперь она неуязвима — ее нельзя больше ранить, нельзя довести до отчаяния. У нее есть ребенок. В одном

этом слове все ее счастье, исполнение всех ее желаний. Обороняясь, точно щитом, тельцем крохотного дорогого существа, которое она прижимает к своей груди, Розали тихонько спрашивает его, низко склонив над ним голову, словно в самом деле ждет от него ответа или пытается уловить некое сходство в еще не оформившемся, похожем на набросок, личике, в еще расплывчатых черточках, которые чьи-то ласковые пальцы словно выдавили на податливом воске, но в которых ей уже видится и чувственный, упрямый рот, и хищный нос авантюриста, и в то же время слишком мягкий квадратный подбородок.

«Что ж, и ты тоже станешь лжецом? И ты всю свою жизнь будешь предавать других и себя самого, разбивать доверчивые сердца, которые ничего дурного не сделали, которые верили тебе и любили тебя?.. И ты будешь отличаться безответственным, жестоким непостоянством человека, выступающего на сцене жизни, как пустопорожний виртуоз, исполнитель легких каватин? И ты будешь торговать словами, не заботясь об их подлинной ценности, об их согласии с твоими помыслами, лишь бы только они блестели да звенели?»

Сложив губы как бы для поцелуя, она прошептала прямо в маленькое ушко, окруженное пушинками волос:

— Ну скажи: ты тоже станешь Руместаном?

На балконе оратор уже взвинчивался, уже разливался соловьем, и от этого высокого парения до Розали долетали только первые слова, потому что он подчеркивал их на южный манер: «Моя душа... Моя кровь... Мораль... Религия... Отечество...» — И все это покрывалось «ура!», звучащим не менее восторженно, чем речь оратора, ибо в ораторе воплощались все достоинства и недостатки Юга, весь Юг, пылкий, подвижный, изменчивый, как море, в котором каждая волна отражает его облик.

Раздалось последнее «ура», затем толпа стала медленно расходиться. Руместан, отирая лоб, вошел в комнату и, упоенный триумфом, неиссякаемой любовью к нему целого народа, от всей души расцеловал жену. Он ощущал в себе доброе чувство к ней, ощущал нежность, как в первые дни, он не испытывал угрызений совести и был свободен от злопамятства.

— Ну?.. Видишь, какое торжество они устроили ради твоего глубокоуважаемого сына?

Стоя на коленях перед диваном, великий гражданин Апса играл со своим ребенком, ловил его пальчики, цеплявшиеся за что попало, ножки, которыми он сучил. Розали смотрела на мужа, и на лбу у нее залегла

глубокая морщина. Она старалась понять эту противоречивую, не поддававшуюся определению натуру. Затем, словно что-то уловив, она живо обратилась к нему:

— Нума! Ты не помнишь местную поговорку, какую на днях приводила тетушка Порталь?.. «Радость на улице...» Как дальше?

— Ах да!.. «Радость на улице — горе в доме».

— Вот именно, — как-то особенно значительно проговорила Розали, а затем, роняя слова одно за другим, словно камни в пропасть, вкладывая в них всю свою жалобу на жизнь, она медленно повторила эту поговорку, в которой изобразила и выразила себя целая порода людей:

— Радость на улице — горе в доме.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Антонины — династия римских императоров, правивших с конца I до начала III века и. в. Этот период ознаменовался хозяйственным расцветом римских провинций и военными победами на границах.

Спартри — изделия из плетеной ткани: ковры, покрывала, попоны и т. п. Их производством славились Марсель и Лион.

Ноэль — народная песня, связанная с праздником Рождества; с XVI века ноэли писали и поэты. Саболи, Никола (1614–1675) — провансальский поэт и композитор. Пытался воскресить поэзию на провансальском языке. О его музыке Доде писал: «Саболи... создал французскую оперу... Сочетая ученость и вдохновение, он разгадал такие глубокие тайны музыкальной гармонии, что спустя примерно девяносто лет после его смерти его мелодии, к которым приспособили латинские слова, пелись во всех парижских церквах; всего лет тридцать назад... вся публика в Итальянской опере приветствовала аплодисментами марш, вдохновленный «Королевским ноэлем» Саболи». Всего Саболи создал 81 ноэль, написав и слова и музыку.

«Королевский марш». — Мелодия этого марша приобрела известность во всем мире после того, как вошла в музыку Бизе к «Арлезианке» Доде.

Инициалы знаменитого французского художника-баталиста Ораса Верне (1789–1863) совпадают по начертанию с вензелем Н. V. — Генрих V, граф Шамборский.

Канефоры — в Древней Греции девушки, несшие во время празднеств в честь богини земледелия Деметры корзины с дарами.

Лагуат — город и оазис в Алжире, в северной части Сахары. Гадамес — город к оазис на юго-востоке Сахары.

«Шаривари»- сатирический иллюстрированный журнал; выходил в Париже с 1832 по 1893 год.

Распространенное провансальское восклицание, означающее: «Черт побери», «Вот досада» и т. п.

10

Я засыплю лошадям овса (провансальск.).

11

Та же фраза, но только исковерканная на французский лад.

Трестальон — главарь одной из монархических банд, появившихся на Юге Франции в 1815 году, после падения Наполеона I, и учинявших кровавую расправу над республиканцами и бонапартистами. В банду Трестальона входили и его сыновья.

Капуцины-неучи — то есть францисканцы-игнорантины, что значит «невежды».

Графы Прованские (род каталонского происхождения) некоторое время владели Провансом. Они долго боролись за власть (1142–1162) с домом Бо — феодальными властителями города Оранжа, род которых возник в IX веке и угас в 1530 году.

Дядюшка Матюрен (умер в 1859 г.) — пользовавшийся широкой известностью во всей Бретани слепой вольщик; в 1847 году был приглашен в Париж и с успехом выступал в театре Амбипо-Комии в спектакле «Хутор среди дрока» (пьеса драматурга Фредерика Сулье).

Шутка, насмешка (провансальск.).

то есть на Мак-Магона, в то время президента республики.

Трант-в-карант — азартная карточная игра.

Фронда (1648–1653) — мятеж крупных феодалов против королевского абсолютизма, поднятый в начале царствования малолетнего Людовика XIV.

Коллеж де Франс — старейшее среднее учебное заведение Франции, основанное в Париже в 1530 году.

Руместан считает, что французы-южане — потомки древних римлян, в то время как северяне — потомки галлов. Территория нынешней Южной Франции была завоевана Римом во II веке до н. в. и население вскоре переняло язык и культуру римлян; Северная Галлия была завоевана Цезарем в 59–51 годах до и. в.

Маниту — у индейцев Северной Америки — великий дух, верховное божество.

«Пророк»- опера Джакомо Мейербера (1849); балет на льду — сцена из третьего акта, изображающая катание на коньках.

«Мирейль»- опера Шарля Гуно (1864) на сюжет одноименной поэмы Фредерика Мистралья.

Фрейссину, Дени (1765–1841) — французский священник, публицист и политический деятель, крайний реакционер. При реставрации был министром просвещения и вероисповеданий.

Белая роза (англ.),

Имеется в виду серенада из первой картины второго акта оперы Моцарта

«Алкеста» — опера Глюка (1767).

Альберт Великий (1193–1280) — средневековый ученый-схоласт и естествоиспытатель; ему приписывали также труды по магии и алхимии.

Я хотела бы умереть (итал.).

Я хотела бы умереть в то время года (итал.).

Шарантон — городок под Парижем, где находится большая психиатрическая больница.

Баярд, Пьер (1476–1524) — французский рыцарь, герой войн с испанцами за власть над Италией; был прозван рыцарем без страха и упрека.

Фрагонар, Жан-Оноре (1723–1806) — французский художник, крупнейший представитель рококо в живописи, создал множество картин, изображающих галантные и любовные сцены.

Тайгетский хребет — лесистые горы в Пелопоннесе (Греция); Шатобриан описал его в книге «Путь, из Парижа в Иерусалим» (1811) — записках о своем путешествии 1806 года.

Фонтан, Луи (1757–1821) — французский писатель и политический деятель, один из идеологов реставрации.

«Бельфорский лев» — памятник работы скульптора Бартольди (1834–1904), установленный в местности Бельфор близ франко-германской границы в память об ее обороне в 1870–1871 годах.

«Марта» — опера немецкого композитора Фридриха Флотова (1812–1883), поставленная в 1847 году.

«Корду» — французское звучание испанского слова «Кордова».

Фамилия Гийош произведена от французского глагола *fuillother*, то есть вычерчивать узор не пересекающихся линий.

то есть спряжения греческого глагола $\chi\tau\chi\iota$ (освобождаю) в залогах действительном («я освобождаю»), страдательном («я освобожден») и среднем («я освобождаюсь»).

Латинский парус — треугольный парус.

43

Сорт шоколадных конфет.

Пенелопа — жена Одиссея. Осаждаемая женихами, она дала им обещание выбрать одного из них, когда закончит ткать покрывало. Однако, верная мужу, она ночью распускала то, что делала за день.

Товарищество — комитет, состоящий из ведущих артистов, который, по уставу театра Французской комедии, руководит им.

последняя строфа из песни рабочего-поэта Пьера Дюпона (1821–1870).

Девушек (провансальск.).

Птолемеи — династия царей эллинистического Египта (IV–I века до н. в.). Доде допускает неточность: роскошью дворца Птолемеев в XV идиллии Феокрита любуются не обычные герои этого поэта — пастухи, а две городские кумушки.